

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1985

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Денисов П. Н. (Москва). Словарь языка В. И. Ленина как новый тип словаря	3
Бондарко А. В. (Ленинград). Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды	13
Краус И. (Прага). Языковая ситуация в странах развитого социализма и проблемы культуры языка.	24

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Боголюбов М. Н. (Ленинград). Хорезмийские календарные глоссы в «Хронологии» Бируни	28
Адрадос Ф. Р. (Мадрид). Индоевропейский, славянский, болгарский (Типологические заметки)	34
Баскаков Н. А. (Москва). Части речи и их функциональные формы в тюркских языках	42
Спивак Д. Л. (Ленинград). Лингвистика измененных состояний сознания: проблемы и перспективы	50
Шагиров А. К. (Москва), Дзидзария О. П. (Сухуми). К проблеме индоарийских (праиндийских) лексических заимствований в северокавказских языках	58
Адмони П. Г. (Ленинград). Грамматика и текст	63

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Михайловская Н. Г. (Москва). Лексика языков народов СССР в современных толковых словарях русского языка	70
Бондарчук Н. С., Кузнецова Р. Д. (Калинин). «Словарь русского языка XI—XVIII вв.» и его значение для изучения истории русского языка	80
Нгуен Куанг Хонг (Вьетнам). Общие принципы и разные подходы к выделению основных единиц языка (Опыт сопоставительного изучения европейской и китайской лингвистических традиций)	89
Лашкарбеков Б. Б. (Душанбе). Становление системы ваханского глагола на трех стадиях языкового развития	97
Воркачев С. Г. (Краснодар). О некоторых модальных операторах (значение безразличия в испанском языке)	109

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Колесов В. В. (Ленинград). <i>Булаховский Л. А. Выбрани праці в п'яти томах</i>	115
Климов Г. А. <i>Schmidz A. Altgeorgisches Elementarbuch</i>	118
Николаева Т. М. (Москва). <i>Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант</i>	120
Садчикова П. В. (Чимкент). <i>Марчук Ю. Н. Проблемы машинного перевода</i>	123
Крысин Л. П., Трескова С. И. (Москва). <i>Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США</i>	126
Десницкая А. В., Домашнев А. И. (Ленинград). <i>Brang P., Zullig M. Kommentierte Bibliographie zur slavischen Sociolinguistik</i>	130
Луценко Н. А. (Донецк). <i>Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола</i>	132

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	138
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева,
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),
О. Н. Трубаев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121049 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 48/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1985 г.

ДЕНИСОВ П. Н.

СЛОВАРЬ ЯЗЫКА В. И. ЛЕНИНА КАК НОВЫЙ ТИП СЛОВАРЯ

В Институте русского языка АН СССР тема «Словарь языка В. И. Ленина» разрабатывается с января 1972 г. За это время проделана большая работа. Созданы 1) картотека Словаря на базе Полного (пятого) собрания сочинений В. И. Ленина в 55 тт. (свыше 2,5 млн. карточек-цитат), 2) словник, 3) словоуказатель (55 авт. л.), в котором приведены все слова Полн. собр. соч. В. И. Ленина с указанием томов и страниц, где каждое слово употребляется; словоуказатель содержит без малого 38 тыс. слов, 4) макет первого тома Словаря языка В. И. Ленина на основе анализа свыше 4 тыс. экспериментальных словарных статей (буквы А—З), т. е. на основе 1/2 всего объема первого тома (50 авт. л.). Анализ всех этих материалов позволяет считать будущий словарь принципиально новым типом словаря в отечественной и мировой лексикографии.

Более сорока лет назад Л. В. Щерба заложил основы теории лексикографии, обеспечив в этой области приоритет нашей науки. По теории лексикографии [общей, русской, английской, немецкой и т. д.; учебной, вычислительной, описательной, нормативной и т. д.; одноязычной, двуязычной (переводной), многоязычной; общелитературной, специальной (терминологической), писательской и т. д.; синхронной и диахронной (исторической); литературной, диалектной, жаргонной и т. д., наконец, статистической (частотные словари)] издаются монографии, защищаются кандидатские и докторские диссертации, читаются спецкурсы в университетах, созываются международные и национальные конференции. Однако до сих пор лексикография остается чем-то вроде падчерицы лексикологии, оспариваются твердо установленные принципы и выводы теории лексикографии, нередко открываются как бы заново азбучные истины этой самостоятельной лингвистической дисциплины. Это приводит к субъективизму и бездоказательной категоричности оценок того или иного конкретного словаря: толково-комбинаторного, сочетаемостного, семантического, частотного и др.

Одним из основных вопросов теории лексикографии является вопрос о различных типах словарей. Термин «тип словаря» понимается в отечественном языкознании по меньшей мере в трех значениях. Первое значение придано этому термину Л. В. Щербой. Оно основано на шести противопоставлениях, выведенных из лексикографической практики, но, главное, соотносенных со свойствами самого языка, языкового материала и речевой деятельности. Именно такая комплексная трактовка теории лексикографии принимается и по возможности развивается пишущим эти строки. Но С. И. Ожеговым термин «тип словаря» был употреблен в ином значении, не в терминологическом, а скорее в общелитературном. В русском литературном языке слова *тип*, *вид*, *разновидность* могут считаться синонимами. Это ожеговское употребление термина «тип словаря» было подвергнуто, на наш взгляд, справедливой критике [1].

С. И. Ожегов полагал, что в русской лексикографии сложились три типа толкового словаря: большой, средний, краткий. Пробразами этих трех типов считались: большого — Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах (М. — Л., 1950—1965) (примерно 120 тыс. слов), среднего — Словарь русского языка в 4-х томах (М., 1957—1961) (примерно 80 тыс. слов — теперь уже вышло второе, незначительно переработанное издание) и краткого — Словарь русского языка С. И. Ожегова (1-е изд. — М., 1949), а также переработанные (примерно 50 тыс. слов)

и посмертные издания (57 тыс. слов). При ожеговском понимании типа словаря, если отнестись только к объему словника и основной тон интерпретации, Словарь языка В. И. Ленина попадает в разряд толковых, филологических, кратких словарей [2]¹. Но нами, как уже говорилось, предложено иное понимание типа словаря, основанное на новаторских идеях Л. В. Щербы. Мы принципиально разграничиваем понятия жанра и типа словаря. Жанры словарей складываются исторически. Они действительно существуют, и существуют в том виде, в каком созданы своими творцами — С. Джонсоном, Н. Вебстером, П. Ляруссом, В. И. Далем, С. И. Ожеговым и т. д. Литературоведческое понимание термина «жанр» нами перенесено в теорию лексикографии. В литературоведении и — шире — искусствознании признается, что построение жанровой классификации не завершено, что понятие жанра многопланово, зависит от многих факторов. В нашей концепции термин «жанр» обозначает понятие, позволяющее, например, в библиотеках сводить в группы, классифицировать реально изданные словари. Легко видеть, что жанры реальных словарей тоже многоплановы, зависят от многих факторов и их целостная система не может быть создана. Тип словаря, в нашем понимании, возводится к термину «типология» как научная классификация, опирающаяся на реально сложившиеся жанры и на наши углубляющиеся знания о составе и строении лексики различных языков. Если жанр и тип словаря разграничивать в вышеуказанном смысле, то С. И. Ожегов отметил развитие в русской лексикографии именно жанра толкового академического (нормативно-системного) словаря в трех разновидностях: большой — с широким охватом исторической перспективы, средней и краткой — с сужением хронологических рамок и усилением нормативности. Употребление С. И. Ожеговым термина «тип словаря», с нашей точки зрения, неудачно. Л. В. Щерба указывал на более существенные признаки типологии словарей.

«Тип словаря», в развитие идей Л. В. Щербы, нам представляется конструктом (абстрактным понятием, сознательной идеализацией) теории лексикографии. Он выводится как статистически достоверная лингвистическая данность, во-первых, на основе анализа сходных жанров в разных лексикографических традициях (европейской и неевропейской, древней, средневековой, новой и новейшей), во-вторых, на основе современных представлений о сущности языка и его научного описания, как-то: представлений о принципах внутреннего устройства языка, особенностях речи, закономерностях исторического развития и реального функционирования основного объекта лексикографии — словарного состава языка и его преломления в речи и речевой деятельности [3]. Вопрос о типах словарей — ключевой для всей теории лексикографии, и здесь необходима строгость в употреблении основных терминов. Жанр может лишь приближаться к типу словаря, являться его более или менее верной копией. С этой точки зрения всякий толковый словарь входит в один тип. Его единица описания — значение слова, его аспект — полисемия. Для жанров словарей разрабатываются классификации (например, [4]). Имеются и более новые зарубежные и отечественные классификации [5, 6]. Но, как нам представляется, общим недостатком классификаций словарей как в диссертационных, так и в монографических работах является неразличение понятий жанра и типа словаря, что делает многие рубрики далекими не только от реальной издательской практики, но и от развития науки о языке. Для типов словарей должна разрабатываться типология как научная классификация, основанная на учете лингвистически релевантных признаков, всегда в известном смысле идеализированная. Вводя понятия жанра и типа словаря, мы уточняем идеи Л. А. Щербы в том отношении, что при всей своей важности типология словарей является всего лишь одной из частей теории лексикографии. Выделим из нашей типологии словарей лишь те моменты, которые дают основание квалифицировать словарь языка В. И. Ленина как новый тип словаря.

¹ Это сопоставление основано на соотношении объема словаря и его словника.

Единство словарного состава языка, так называемое свободное владение родным языком (уверенность чисто субъективная!) позволяет теоретически все типы словарей объединить в единый универсальный тип. Текст словаря — текст особого рода [7]. Универсальная особенность любого словарного текста состоит в том, что он имеет левую (толкуемую) часть и правую (информация об элементах левой части словаря). Левая часть любого словаря — его словник, вообще инвентарь единиц. Теория словников — отдельная часть теории лексикографии, и в этом мы также усматриваем дальнейшее развитие идей Л. В. Щербы. Деление С. И. Ожеговым толковых словарей на большие, средние и краткие относится, таким образом, к теории словников, а не к типологии словарей. Теория словников пользуется количественными методами лексикостатистики и качественными методами семасиологии и лексикологии [8].

Если теперь применить наш вариант теории лексикографии [3, 5] к будущему Словарю языка В. И. Ленина, то можно сказать следующее. Первая его особенность заключается в составе словника. Лингвистически здесь мы имеем дело с тремя величинами, известными нам в разной степени. Первая — словарный запас В. И. Ленина как уроженца Симбирской губернии, как ученика классической гимназии, как выпускника юридического факультета Петербургского университета, как профессионального революционера, политика, мыслителя, публициста.

Если противопоставить этому словарному запасу личности словарный состав всего литературного языка, то мы увидим, что для словарного состава литературного языка имеется лишь одна конструктивная возможность², а именно — приравнять его к словнику Большого академического словаря (БАС). Все другие возможности не обладают свойством конструктивности. Для определения словарного запаса личности вообще нет надежных методов³.

Вторая и более осязаемая лексическая величина применительно к языковой индивидуальности В. И. Ленина — это совокупность всех слов, терминов, фразеологизмов и т. д., засвидетельствованных в его трудах. Назовем эту совокупность лексиконом. Перед нами ленинский лексикон предстает в виде реально документированного лексического состава Полного (пятого) собрания сочинений в 55-ти томах. Ленинский лексикон — конструктивный объект [см. 8].

Известно, что в Полн. собр. соч. В. И. Ленина включено около 9 тыс. ленинских произведений и документов (см. Справочный том, ч. I, с. III), но также известно, что в архивах имеется более 30 тыс. единиц хранения (Фонд документов В. И. Ленина, М., 1970). Документом считается, к примеру, любая маргиналия, состоящая даже из одного единственного слова.

В ходе обсуждения Словаря языка В. И. Ленина в 1975 г. предлагалось расширить источники за счет Ленинских сборников и других материалов, что привело бы к расширению лексикона⁴. Теперь можно было бы привлечь в качестве дополнительного источника недавно завершенную многотомную Биографическую хронику В. И. Ленина, его расшифрованные Записные книжки и другие новые материалы, опубликованные в 1975—1983 гг.

Понятие лексикона В. И. Ленина важно для нас в другом отношении. Если первая лексикографическая величина — реальный жизненный словарный запас индивида — может быть лишь реконструирована, то, например, лексикон А. С. Пушкина, Г. В. Плеханова, Л. Н. Толстого, А. В. Луначарского и т. д. как лексический состав их сочинений есть конструктивная лексическая величина, ориентированная на читательскую

² В смысле конструктивного направления в математике (см. [8]).

³ В частности, конструктивных подходов нет к реальному словарному запасу великого писателя или философа прошлого. И на современном материале конструктивных работ в этом направлении чрезвычайно мало (см., например, [9]). По данным Я. И. Вильтовской, примерный объем лексикона 12-летнего подростка (пятиклассника) включает около 30 тыс. слов. Методики выявления словарного запаса индивида часто не представляются достаточно надежными.

⁴ См. хроникальную заметку Е. Л. Лилеевой в [10].

Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах	Картотека словаря языка В. И. Ленина
—	<i>путанее</i> (ср. степень от <i>путаный</i>) (11,68)
<i>путание</i> (отглагол. сущ.)	—
<i>путаник</i>	<i>путаник</i> (16, 183) <i>путаник-мажист</i> (18,383)
—	—
<i>путаник-мужичонко</i> (в цит.)	—
<i>путанина</i>	<i>путаница</i> (4,357)
<i>путаница</i>	<i>путано</i> (нареч.) (11,26)
<i>путано</i> (нареч.)	<i>путанность</i> (7,46) — <i>путаность</i> (11,69)
—	<i>путать</i> (5,154)
<i>путать</i>	<i>путаться</i> (19,46)
<i>путаться</i>	

аудиторию и определяемая характером творчества Пушкина, Плеханова, Луначарского и т. д. Для лексикона характерна прежде всего избирательность. Можно сказать, что избирательность лексикона характеризуется отрицательно (т. е. теми словами индивидуального словарного запаса, которых писатель или философ сознательно избегает в своих сочинениях) не в меньшей степени, чем положительно (т. е. теми словами, которые писатели или мыслители вводят в свои произведения, а мы, лексикографы, естественно, берем их «на карандаш»).

Творческий лексикон, конечно, связан с жизненным словарным запасом личности, но между ними имеются принципиальные отличия. Так, исследователи языка В. И. Ленина предполагают, что активное употребление В. И. Лениным слов *путаный*, *путаник*, *путанность* (*путаность*)⁵ и других производных этого гнезда (с общим числом употреблений свыше пятисот) объясняется его происхождением из Симбирской губернии, хотя и эти слова в составе ленинского лексикона приобрели исконно не свойственное им в общелитературном языке политическое и философское звучание [11].

Сопоставим гнездо слов *путать*, *путаться*, *путаный* и т. д. в общелитературном языке и в языке В. И. Ленина (см. табл.).

Мы видим, что емкость ленинского гнезда не уступает емкости гнезда, зарегистрированного в БАС, а в отдельных производных (например, отвлеченное существительное *путанность*) и формах (*путанее*) превосходит гнездо общелитературного языка. Но главные расхождения находятся в смысловом объеме этих слов и их сочетаемости с другими словами.

Например, сочетания БАС (выделены из оправдательных примеров) таковы: *путаная интрига*, *речь*; *путаное письмо*; *путаные слухи*, *мысли*, а сочетания у В. И. Ленина гораздо разнообразнее: *путаный язык* (20, 340), *протест* (49, 149), *план* (11, 209), *лозунг* (11, 197), *анализ* (9, 185), *идеализм* (18, 40), *агностицизм* (18, 243), *субъект* (47, 41), *философ* (18, 173), *буржуазный демократ* (20, 394), *материалист Дюринг* (18, 182), *примиренец-троцкист* (48, 71), *Konfusionsrat «путаный советник»* (16, 282), *путаная фраза* (30, 228), *мысль* (8, 79), *терминология* (18, 41), *резолуция* (47, 2), *позиция* (48, 154), *точка зрения* (18, 57), *система* (45, 432), *философия* (18, 71), *энергетика* (как отвлечение идеализма. — Д. П.) (18, 289), *«муниципализация»* (16, 243); *путаное фразерство* (9, 267), *словесное украшение* (18, 52), *письмо* (9, 105), *воззвание* (32, 198), *проектирование* (15, 187), *предприятие* (17, 118); *путаные слова* (13, 20), *взгляды* (33, 192), *мысли* (19, 245), *посылки* (11, 69), *выводы* (11, 69), *либеральные лозунги*, *задачи и интересы* (15, 61), *попытки* (18, 281), *люди* (36, 360), *головы* (41, 26), *посредники* (24, 309).

Общее отличие ленинской сочетаемости: 1) перевод слова *путаный* в политические и философские контексты, 2) регулярная метонимия,

⁵ При цитировании примеров из работ В. И. Ленина первая цифра указывает том, вторая (через запятую) — страницу.

отражающаяся в возможности соединения прилагательного *путаный* с обозначениями лиц: *философ* (18, 173), *демократ* (20, 394), *советник* (16, 282), *люди* (36, 360), *посредники* (24, 309), 3) общее возрастание числа семантических подклассов, допускаемых к соединению со словом *путаный*, 4) явно более высокая по частотности и по синтаксической гибкости употребительность слов данного гнезда в сравнении с усредненной общелитературной частотностью и синтаксической гибкостью употребления.

С другой стороны, вкрапления иностранных слов и выражений, собственные имена, гибридные слова [*quasi-искровцы* (8, 448), *рыцарь-Kleinbürger* (1, 408), *lapsus'ы* (18, 177) и т. п.], стилистически сниженная лексика являются лингвистически релевантными составными частями ленинского лексикона, т. е. сознательно культивируемыми компонентами ленинского языка и стиля.

Сознательность построения и стилистико-тематическая обусловленность индивидуальных творческих лексиконов, задаваемые предметом описания, характером оценок и т. д., их стилистическая ориентация и их обусловленность общим пониманием своего творчества заставляют считать писательские лексиконы сложнейшим объектом анализа, лишь частично отражаемыми словарями, без проникновения во все тонкости текста.

Ж. Вандриес писал: «Не должно смешивать словарь писателя (реальный жизненный словарный запас в наших терминах.— *Д. П.*) со словарем его произведений (в наших терминах с индивидуальным творческим лексиконом.— *Д. П.*). Словарь книги всегда составной: в нем мы всегда найдем рядом со словами высокого стиля слова стиля низкого, рядом с техническими терминами слова обиходные. В словаре любой книги всегда смешиваются несколько словарей: к собственному словарю писателя, употребляемому им в своем обиходе, присоединяются различные другие словари — архаичные, научные, диалектальные, вульгарные, обогащающие его стиль и часто являющиеся главной его ценностью» [12]. Л. П. Якубинский, как и Ж. Вандриес, говорит о малой ценности чисто цифровых сопоставлений индивидуальных творческих лексиконов и иных лексических совокупностей [13]. Мы же придерживаемся точки зрения, согласно которой различение жизненного словарного запаса и творческого лексикона личности имеет глубокий лингвистический смысл, в частности, под углом зрения новизны типа словаря личности по сравнению с академическим толковым словарем всего общенародного литературного языка. На этом пути исследований можно встретить много неожиданного.

Первым и приблизительным отражением индивидуального ленинского лексикона является словник Словаря языка В. И. Ленина. С построения словника в 1981 г. в нас стала расти и укрепляться убежденность в необходимости новизны ленинского словаря именно в типологическом отношении. Здесь уместно напомнить еще одно справедливое замечание Л. В. Щербы о том, что любой словарь — это компромисс по тем или иным соображениям практического порядка. В теории лексикографии типология словарей — не самоцель. Мы не являемся сторонниками механического дробления словарных типов по случайным признакам. Тип словаря завершает историческую линию развития жизнеспособного словарного жанра.

По любому счету и при любом отношении к статистике лексикон произведений великого человека — величина конечная. Это одно проводит резкую грань между словарем литературного языка целого народа и словарем лексикона отдельно взятой личности.

Словарь языка В. И. Ленина, по нашему мнению, по соображениям как теоретического, так и практического порядка должен дополнять справочный аппарат к Полн. собр. соч. В. И. Ленина. Имеющийся справочный аппарат к Полн. собр. соч., разработанный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, представляет собой результат многолетней кропотливой исследовательской работы. Он включает в себя именной и предметный указатели, списки иноязычных выражений и русских по-

слов, комментариев, примечания и многое другое — все это позволило нам не включать в ленинский лексикон многие собственные имена и некоторые другие разряды слов, так что словарь Словаря языка В. И. Ленина, представляя собой алфавитный перечень заглавных слов будущего словаря, меньше лексикона Полн. собр. соч. В. И. Ленина. И это закономерно.

Рассматривая словарь статистически, обнаруживаем многие свойства, которые оказывают существенное влияние на возможности построения правой (интерпретационной) части Словаря языка В. И. Ленина. Являясь частью лексикона (изъяты собственные имена, гибридные слова, слова некириллического письма и некоторые другие разряды слов), словарь Словаря содержит около 38 тыс. слов и превосходит словники всех известных нам писательских словарей. Даже со скидкой на относительный характер прямых цифровых сопоставлений писательских словарей словарь Словаря языка В. И. Ленина, являясь частью его лексикона, свидетельствует о необычайной широте интересов В. И. Ленина.

Богатство ленинского лексикона иллюстрируется следующими данными. Делим условно словарь на три зоны: малочастотную, среднечастотную и высокочастотную. Редкие слова (частоты 1—5), образующие малочастотную зону и ярче других свидетельствующие о лексическом богатстве ленинского языка, составляют 55,6% всего словаря. Их общее число — 20 775 слов. Высокочастотных слов (частоты свыше 500) сравнительно мало: 854 слова, или всего 2,3% общего числа.

Нами лично разработано 250 словарных статей на букву А (А — **Аккредитив**). Этот фрагмент алфавита составляет 1/4 объема буквы А (всего на букву А чуть больше 1000 слов). Из этих 250 экспериментальных словарных статей 80 слов имеют частоту, равную единице, т. е. доля слов с частотой 1 раз достоверно отражает их общую долю во всем словнике, а именно: 1/3 от общего числа слов.

Принято считать, что редкие слова наиболее ярко свидетельствуют о богатстве индивидуального языка и стиля творческой личности. Всмотримся внимательно в эти 80 самых редких слов на отрезке А — **Аккредитив**. Видно, что слова *абсолютно-индивидуальный* (12, 102), *абсолютно-необходимый* (34, 180), *абстрактно-идеологический* (17, 418), *абстрактно-политический* (45, 373), *абстрактно-теоретический* (3, 27), *абстрактно-школьный* (8, 221), *абстрактно-юридический* (15, 103), *авенариусовско-маховский* (18, 58), *аграрно-буржуазный* (21, 306), *аграрно-исторический* (8, 86), *агрессивно-буржуазный* (44, 408), *административно-государственный* (39, 462), *административно-организационный* (54, 373), *административно-полицийский* (14, 337), *адски-трудный* (47, 223), *азиатско-продажный* (14, 25), *азиатско-деспотический* (25, 267), *акимовски-мартовский* (8, 180) являются характерной чертой ленинского лексикона, отраженной в массиве самых редких слов словаря. Общие словари, например, БАС в 17-ти томах, рассматривают все слова как бы в неопределенной частотной зоне, хотя А. М. Бабкин признавал, что в этот словарь проникли слова, представленные в картотеке всего одним-двумя примерами. Наличие статистической перспективы (указание в Словаре языка В. И. Ленина абсолютных частот встречаемости слов) подчеркивает новизну будущего словаря.

Характерными для языка и стиля В. И. Ленина из анализируемого списка самых редких слов должны быть также признаны такие вокабулы, как, например, *аблакатствовать* (30, 231), (ирония на народно-разговорной речевой основе); *авгур* (18, 79) (наследие античности); *Акакий Акакиевич* (5, 327) (использование литературных образов); *австрофилы* (26, 81) *австрофильство* (26, 81) (использование словообразовательного потенциала языка); *авиасмесь* (50, 355), *автопуг* (44, 81), *автопулемет* (51, 50), *агиткампания* (54, 339), *агиткартошка* (42, 171), *агитпропотдел* (54, 233) (неологизмы первых лет революции).

Разумеется, среди редких слов оказывается большинство слов, не отмеченных словарями и энциклопедиями конца XIX — первой половины XX в. По подсчетам Е. Л. Лилевой, таких слов в словнике около 4 тыс.

Заглавное слово словника	Абсолютная частота	«Адреса» (первая цифра — номер тома ПСС, через запятую — номера страниц, через точку с запятой — номер тома и т. д.)
<i>и</i>	—	—
<i>ибо</i>	—	—
<i>Иван Федорович Шпонька</i>	1	14,155
<i>иго</i>	> 100	—
<i>идти</i>	> 3000	—
<i>иже</i>	4	14,320; 20,129; 49,20,238
<i>издольщина</i>	6	27,142,143,149,151,163
<i>изм</i>	7	10,5; 18,150,157,170,357,372; 42,207
<i>изнереливать</i>	2	39,24; 55,261

Примечание: *и*, *ибо* — слова неполной выборки; *иго* (> 100), *идти* (> 3000) — высокочастотные слова, как и слова с неполной выборкой, «адресов» в словоуказателе не имеют; с указанными ограничениями, практически не влияющими на общую информативность словоуказателя, получается десятикратный выигрыш в объеме (50 авт. л. вместо 500 авт. л. при полном расписывании «адресов»).

В этом также проявляется новизна типа словаря: данные общих и писательских словарей комплементарны по отношению друг к другу, и, взятые вместе, они глубже отражают словарный состав языка соответствующего периода.

Разграничение понятий реального жизненного запаса слов и индивида, его книжно-письменного лексикона и собственно алфавитного словника лингвистически существенно потому, что в первом случае (жизненный запас слов) лексика индивида представлена во всех ее лингвopsихологических связях и опосредствованиях, во втором (лексикон) к этим связям и опосредствованиям добавляется социальный момент: учет читательской аудитории, тематика произведений, общий круг интересов творческой личности, стилистические требования, например, функция воздействия, и многое другое. В третьем случае (в алфавитном словнике) многие естественные связи рвутся, и именно в этот момент выступает в полной мере проблема типа словаря как единства левой и правой части. Левая часть (словник) дала, что толковать. В правой части надо решить, как толковать.

Элементарное, но радикальное решение в свое время было предложено Л. В. Щербой — давать большие контексты. В этом плане задача уже решена. Словоуказатель Словаря языка В. И. Ленина представляет собой словник в левой части и индексы абсолютной частотности плюс перечень «адресов» слова в Полн. собр. соч. в правой части. Можно представить себе фрагмент словоуказателя в следующем виде (см. выше).

В ходе работы над темой «Словарь языка В. И. Ленина» было проанализировано свыше 200 писательских словарей. Установлено, что в практике лексикографии (особенно после перехода на ЭВМ) за словари языка писателя нередко выдаются алфавитные и/или частотные словники, а также словоуказатели. Если присоединиться к этой минималистской программе, характерной для мировой писательской лексикографии, то можно сказать, что окончание работы над словоуказателем Словаря языка В. И. Ленина завершает разработку темы «Словарь языка В. И. Ленина».

Если идти дальше, то мы приходим к принципиально новому типу словаря. Универсальный тип словаря по отношению к лексикону великого человека должен был бы отразить его во всем наборе составляющих единиц вместе со всеми многообразными связями слов и фразеологизмов между собой и со всеми их опосредствованиями в круге знаний, в круге чтения и общей культуры, другими словами, в круге всего жизненного опыта индивида, который (опыт) обусловлен конкретными условиями национальной и мировой культуры, знанием родного и иностранных языков, пониманием своей жизненной «сверхзадачи» и т. д.

Частный, не универсальный тип словаря ориентируется на алфавитный или иным способом организованный и ограни-

ченный словарь, давая в правой части информацию, существенную для отражения какого-либо системного свойства словарного состава языка (или лексикона личности). Эти системные свойства (аспекты) лексики общеизвестны: значение слова и полисемия слов (толковый словарь), синонимия слов (синонимический словарь), антонимия слов (антонимический словарь), стилистическая окраска слов (стилистический словарь), смысловые группировки слов (тематический, понятийный, идеографический, семантический словари); фразеологический состав языка (фразеологические словари); термины (терминологические словари с энциклопедическим уклоном) и т. д.

Более глубокое системное изучение лексики выявляет новые типы словарей. Традиционный жанр любого академического толкового словаря трактует полисемию слов, дает стилистические пометы, указывает грамматические формы и орфоэпические нормы, включает в себя элементы фразеологических и терминологических словарей. Используя синонимические сближения и антонимические противопоставления в дефинициях, он фактически содержит в себе элементы словаря синонимов и антонимов. Другими словами, традиционный жанр академического словаря в чем-то напоминает тип универсального словаря.

Типология словарей не может игнорировать практику словарной работы и предусматривает комбинированные, или комплексные типы словарей, которые отражают комплекс системных свойств лексики. То, что тесно связано в лексической системе, должно быть связано в словаре комплексного типа, так как теория лексикографии создается как обобщение жизнеспособных жанров словарей, а также технических приемов и правил лексикографической работы, вполне оправдавших себя на практике (простота, экономность, стандартность описания и т. п.).

Словарь языка В. И. Ленина первоначально задумывался как толковый словарь, ориентированный на индивидуальный лексикон и рассчитанный на широкий круг читателей. Толковый словарь — центральный тип, по мысли Л. В. Щербы. Анализ словарных дефиниций (дефиниционный анализ) показал, что толковый словарь еще и потому занимает центральное место в типологии словарей, что он в дефинициях содержит семантические множители, т. е. имплицитно заключает в себе всю лексико-семантическую систему языка.

Лексикографическая дефиниция — вершина словарного искусства. Лексикографическая дефиниция не тождественна логическому определению. Она дает правила подведения фактов действительности и логических понятий под те или иные значения слов. Она, обобщая случаи употребления слова в текстах, отвлекается от частных и удерживает в себе только лингвистически релевантные признаки значения слова. Она синтезирует «языковой материал» в «языковую систему». Дефиниция не исчерпывает всех свойств слова. Она должна подкрепляться лексическими рядами, показом сочетаемости, предложениями и цитатами. В Словаре языка В. И. Ленина предусматриваются и дефиниции, и лексические ряды, и предложения, и цитаты. Эти элементы словарной статьи образуют единый интерпретационный аппарат Словаря. В сознательном переходе к многоаспектному интерпретационному аппарату мы видим новизну типа Словаря языка В. И. Ленина.

В Словаре языка В. И. Ленина дефиниции дифференцированы по лексическим пластам ленинского лексикона [14]. При некоторых условиях (достаточное число карточек-цитат, общелитературный характер слова, его многозначность) дефиниции ленинского словаря следуют за дефинициями академических толковых словарей. Спорным остается вопрос о минимальных дефинициях («намекающих определениях»), которые короче дефиниций академических толковых словарей на один-два семантических признака, не существенных для отграничения значений многозначного слова, но существенных в системе всего ленинского лексикона. Так, слово *баба* и слово *дама* среди своих значений имеют общее для них обоих значение «женщина». Лапидарность и неуточненная синонимичность такого толкования делает слова *баба* и *дама* тождественными друг другу

в указанном значении. Верно ли это по отношению к ленинскому лексикону? Пожалуй, нет, хотя сочетаемость, речения, цитатный материал иллюстрируют особенности употребления этих двух слов в указанном значении. Минимизация общепринятых филологических определений значений слов — заманчивый, но и обманчивый путь. Решить этот вопрос может лишь постепенное накопление опыта составительской и редакторской работы над первым томом Словаря языка В. И. Ленина.

Другим полюсом дефиниций является расширение общепринятых филологических определений значений слов за счет неопределенного числа «элементов энциклопедизма», говоря проще, за счет энциклопедических сведений, не релевантных с точки зрения объема лексического значения слова как величины, меньшей в сравнении с объемом и содержанием тех понятий, которые могут быть подведены под данное лексическое значение слова.

По данным А. И. Киселевского, энциклопедическая статья делится на семантическое определение (обычно первое предложение или первый абзац статьи), сопоставимое с лексикографической дефиницией, и относительно открытый текст, линейно ничем не ограниченный, не регулируемый ни системой лексических значений языка, ни системой существенных признаков логического определения, а зависящий лишь от точки зрения авторов и редакторов энциклопедии на место и роль описываемой реалии (явления) или понятия в современной науке, культуре и т. п. [15].

Проведя сравнение методом А. И. Киселевского совпадающих однословных вокабул по энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция» (М., 1977) и словнику (словоуказателю) Словаря языка В. И. Ленина, нам удалось установить следующее. В энциклопедии содержится примерно 80 статей, имеющих заглавием имя существительное нарицательное. Подавляющая часть статей энциклопедии посвящена собственным именам героев Октября, местам революционной славы (топонимике), названиям боевых кораблей, воинских частей, газет и т. п. Следовательно, еще раз подтверждается наш тезис о новизне типа ленинского словаря. Эта новизна растворена во всех его компонентах: словнике, фразеологии, индексах частотности, лексических рядах, иллюстративном материале, толкованиях и т. д.

Абсолютное большинство из 80 однословных вокабул энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция» имеется в ленинском словоуказателе: *анархист* (20, 107), *большевики* (36, 202), *борьбисты* (39, 370), *братание* (31, 352), *дашнаки* (37, 525), *двоевластие* (31, 145), *декрет* (53, 261), *керенки* (37, 178), *комбеды* (37, 180), *комиссар* (54, 382), *матросы* (9, 202), *мещочничество* (35, 176), *продотряды* (50, 145), *совхозы* (39, 447) и мн. др.

Расхождения единичны. По данным нашей картотеки, у В. И. Ленина не встретились слова, зарегистрированные в энциклопедии: *«свинцы»*, *джадидизм*, *младобухарцы*, *младохивинцы*, *мусависты* и некоторые другие. С другой стороны, в работах В. И. Ленина встречаем слова (в том числе — относящиеся к тому же времени), которых нет в энциклопедии. Исследования А. И. Киселевского и наши собственные наблюдения дают все основания сближать семантическое определение энциклопедии с лексикографической дефиницией соответствующего слова в Словаре языка В. И. Ленина.

Но язык имеет свои выразительные и изобразительные средства, которые дают такую яркую информацию о реалиях и понятиях, которую не может дать энциклопедия.

В энциклопедии, естественно, имеется ряд слов, показывающих расстановку классовых и политических сил в России 1917 г.: *анархисты*, *большевики*, *буржуазия*, *дворянство*, *духовенство*, *интеллигенция*, *кадеты*, *казачество*, *крестьянство*, *купечество*, *матросы*, *меньшевики*, *помещики*, *профсоюзы*, *Советы*, *солдаты*, *эсеры* и т. п. Конечно, эти слова получают в энциклопедии семантическое определение, близкое к лексикографической дефиниции, плюс некоторый реальный комментарий.

В Словаре языка В. И. Ленина они получают соответствующее тол-

кование и энциклопедическое пояснение. Но разве можно отрицать ярчайшую семантическую и фактографическую информативность, например, такого ряда слов, как *интеллигентик* (8, 376), *интеллигентшишка* (22, 209), *интеллигентщина* (19, 169) и, в особенности, таких образований, как *интеллигент-индивидуалист* (8, 350), *интеллигент-истерик* (36, 518), *интеллигент-манилов* (2, 422), *интеллигент-мещанин* (14, 379), *интеллигентик-мещанин* (37, 287), *интеллигент-сверхчеловек* (36, 9), *интеллигент-меньшевик* (19, 46), *интеллигент-эсер* (16, 381) и т. д.; *интеллигентски-анархический* (9, 6), *интеллигентски-оппортунистический* (9, 6), *интеллигентски-импрессионистский* (34, 411), *интеллигентски-мишурный* (14, 345), *интеллигентски-обывательский* (15, 185), *интеллигентски-пошлый* (35, 192), *интеллигентски-чиновничий* (16, 408). Разве эти ряды слов не лучше сухих энциклопедических цифр и процентов свидетельствуют о трудных путях русской интеллигенции на переломе двух эпох — от России царской к России социалистической? Аналогично яркую дополнительную характеристику получает русское дворянство в таких ленинских образованиях, как *дворянчик* (4, 393), *дворянчик-наглец* (40, 176), *дворянчик-дуэлянт* (36, 106), *дворянчик-офицер* (22, 173), *дворянин-крепостник* (22, 302), *дворянин-тунеядец* (23, 130), *дворянин-черносотенец* (23, 251), *дворянски-буржуазный* (2, 456), *дворянски-бюрократический* (17, 322), *дворянски-полицейский* (5, 75) и др.

Из сказанного вытекает единственный вывод. Словарь языка В. И. Ленина — новый тип словаря в мировой и отечественной лексикографии. Он уникален прежде всего ввиду уникальности личности В. И. Ленина. Это обстоятельство накладывает неизгладимый отпечаток на исходный объект словаря — ленинский лексикон, отражающийся в словнике и во всей структуре словарной статьи. Уже сейчас дифференцированный подход к толкованиям слов дал новые типы словарных статей [см. 14], открыл новые перспективы в исследовании лексических значений в их соотносительности с реалиями и понятиями ленинского времени. Повторим, что в настоящее время Институт русского языка АН СССР располагает картотекой (фактически полным конкордансом), частотным словником, словоуказателем (потенциальным конкордансом). Эти исходные материалы могут считаться вполне достаточными для раскрытия языка В. И. Ленина, и наш путь лежит дальше — к созданию полного филологического словаря языка В. И. Ленина с элементами энциклопедизма и с дифференцированным подходом к толкованию слов различных лексических пластов. Конечно, это путь поисков, путь в неисследованные области семасиологии, лексикологии, теории лексикографии, истории русского литературного языка, исторической стилистики. Это — новый путь, это — путь к новому.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миллина Н. М. Анализ толковых словарей немецкого языка. — Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М. Тореза, 1960, т. 23.
2. Филин Ф. П. О Словаре языка В. И. Ленина. — ВЯ, 1974, № 6, с. 9—10.
3. Денисов П. Н. Лексика русского языка и основы ее описания. М., 1980, с. 27.
4. Апажеев М. А. Лексикография и классификация словарей русского языка. Нальчик, 1971.
5. Денисов П. Н. Основные проблемы теории лексикографии: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1976.
6. Цылин А. М. К вопросу о классификации русских словарей. — ВЯ, 1978, № 1.
7. Денисов П. Н. Об универсальной структуре словарной статьи. — В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977.
8. Денисов П. Н. О конструктивном подходе к созданию системы учебных словарей русского языка для иностранцев. — Ruský jazyk, 1977—1978, №№ 1—3.
9. Вильтовская Я. И. Исследование объема и состава лексикона подростка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Минск. 1980.
10. ВЯ, 1975, № 4.
11. Денисов П. Н. Индивидуальный стиль В. И. Ленина и общелитературный язык. — Русская речь, 1979, № 4, с. 5—7.
12. Вандриес Ж. Язык. М., 1937, с. 177.
13. Якубинский Л. П. О диалогической речи. — В кн.: Русская речь. I. Пг., 1923, с. 113.
14. Денисов П. Н. Богатство языка. В. И. Ленина. — Русская речь, 1983, № 2.
15. Киселевский А. И. Языки и метаязыки энциклопедий и толковых словарей. Минск, 1977.

БОНДАРКО А. В.

ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СООТНОШЕНИЯ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ

К постановке вопроса. В языкознании давно уже укоренилось понятие «система». Однако в лингвистической теории не получило распространения понятие той же степени абстракции, которое бы обобщало разные типы окружений языковых объектов-систем. Между тем ясно, что все языковые системы и подсистемы функционируют и развиваются не в вакууме, а в определенных разновидностях языковых и речевых окружений. Вне соотношения с понятием, охватывающим все многообразие окружений систем в языке и речи, само понятие системы в лингвистике оказывается изолированным и статичным.

Лингвистическое истолкование понятия среды подготовлено длительной традицией изучения языковых системных объектов в их разнообразных окружениях. Естественная логика развития лингвистических исследований приводит к интеграции всех частных языковых и речевых окружений в обобщенном понятии среды. Эта линия обобщения находит опору в философском принципе системности, определяющем рассмотрение системы во взаимодействии с внешней средой [1].

Обращение к понятию «среды» имеет принципиальное значение для объяснения языковых систем. «Объяснению служит введение объясняемого явления в контекст окружающих его (в пространстве и времени) фактов...» [2]. Ни одна частная система в языке не может быть понята и объяснена, если ее анализ ограничивается внутрисистемными отношениями. Это относится и к языку в целом. Исследование приобретает необходимую объяснительную силу лишь в том случае, если изучение внутрисистемных отношений дополняется анализом отношений между системой и ее средой. Так, свойства грамматической категории как системы и закономерности ее функционирования могут быть поняты лишь при том условии, если будут раскрыты ее отношения: а) к лексическим значениям слов, б) к лексико-грамматическим разрядам, в) к другим грамматическим категориям слова и синтаксическим конструкциям, с которыми связана данная категория, г) к элементам окружающего контекста и речевой ситуации. Все эти отношения суть отношения между грамматической категорией как системой и ее средой.

Особый аспект соотношения системы и среды в языке — аспект генезиса и исторического развития языковых единиц и категорий во взаимодействии с изменяющейся и развивающейся средой. В частности, речь идет об отношении грамматической категории к той лексико-грамматической среде, в которой она зародилась и развивалась. Так, различные концепции происхождения славянского глагольного вида фактически включают вопрос о том, как и почему в лексико-грамматической среде аспектуальных разрядов, связанных с предельностью/непредельностью и определенностью/неопределенностью действия, зародилось грамматическое ядро вида. К данному кругу проблем относятся все исторические процессы грамматикализации, включающие зарождение и формирование грамматических категорий и единиц в лексической и лексико-грамматической среде.

Согласно теории системных исследований, система как множество элементов с отношениями и связями между ними, образующими определенную целостность, проявляет и формирует все свои свойства во взаимодействии со средой [3]. Взаимозависимость системы и среды рассматривается

как один из основных системных принципов, наряду с такими свойствами системы, как целостность и иерархичность [4]. Заметим, что в системных исследованиях понятие среды намечено лишь в самых общих чертах. В частности, недостаточно ясны аспекты соотношения системы и среды, связанные с признаками открытости/закрытости систем. Критерии определения этих признаков в общетеоретическом плане не выявлены (см. об этом [5, 6]).

Связи объекта с окружающей средой выдвигаются на передний план при исследовании систем с точки зрения их функций. Функциональный принцип предполагает рассмотрение целого как результата взаимодействия системы со средой. Само понятие функционирования (поведения) объекта включает его связи с окружающей средой [7]. Это относится и к функционированию языковых системных объектов.

Говоря о языковой единице как системе, мы имеем в виду целостные объекты (лексемы, грамматические формы, синтаксические конструкции и т. п.), представляющие собой упорядоченные множества содержательных элементов (содержательные целостные единства, имеющие определенную структуру), соотносённые с множеством элементов формального выражения. Системами являются не только языковые единицы, но также классы, категории и группировки, характеризующиеся различной степенью целостности. Они представляют собой разные типы объединений целостных объектов (в дальнейшем изложении учитываются существующие истолкования системы применительно к языку [ср. 8, 9], однако основное внимание сосредоточено на лингвистической интерпретации понятия среды).

Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке как исходной системе трактуется нами как множество языковых (в части случаев также и внеязыковых) элементов (в рамках более широкой системы, вмещающей исходную, а также в различных смежных сферах), играющее по отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым эта система выполняет свою функцию.

Языковые и речевые явления, охватываемые понятием среды, хорошо известны в лингвистике (ср. суждения о контексте и речевой ситуации, о социальной обусловленности употребления слов, форм, конструкций и т. п.). В настоящей статье речь идет не о замене известных терминов каким-то новым, а об интеграции и обобщении отдельных окружений, давно изучавшихся в разных сферах науки о языке¹.

Понятие среды не сводится к той более широкой системе, в которую включается данный целостный лингвистический объект. Во-первых, к среде относятся не все элементы более широкой системы, а лишь те из них, которые представляют собой обуславливающее и обусловливаемое окружение исходной системы. В этом смысле среда имеет избирательный характер. Во-вторых, среда данной языковой единицы или категории обычно включает элементы разных систем, не обязательно связанные друг с другом. Их объединяет лишь то, что все они так или иначе взаимодействуют с исходной системой. В частности, окружение той или иной языковой единицы в парадигматической системе и ее окружение в речи (контекст) — это разные типы среды, не образующие единой системы.

Система и среда в их соотношении — это не самодовлеющие понятия. Они подчинены функции. Взаимодействие системы и среды направлено на реализацию той или иной функции. Отдельная изолированная частная система не может обеспечить реализацию функций, выполняемых в процессе общения, прежде всего функции передачи смысла высказывания. Для этого необходимо сочетание и взаимодействие данной частной системы с другими. В этом взаимодействии множества частных систем и их эле-

¹ Соотношение объекта и среды в аспекте общей системологии интерпретируется в работах Г. П. Мельникова [10, 11]. Заслуживают внимания суждения о среде (в частности, семантической и социальной), высказанные М. М. Маковским при анализе лексико-семантических систем в связи с социолингвистическими факторами [12, с. 40—46, 163—189]. В целом же понятие среды еще не стало органической частью лингвистической теории языковой системы.

ментов переплетаются роли системы и среды. Среда — понятие системно-функциональное. То, что мы называем средой, включает определенные частные системы, но по отношению к системе, являющейся основной, исходной в данной ячейке системно-структурной организации, они играют роль обуславливающего и обусловленного окружения, благодаря которому взаимодействующая с этим окружением исходная система может выполнять свои функции.

О системно-языковой (парадигматической) и речевой среде. Понятие «среда» применительно к языковым единицам и категориям охватывает два типа окружений: системно-языковые (парадигматические) и речевые. Имеются в виду: 1) окружение языковой единицы (класса, категории) в парадигматической системе языка, 2) окружение данной единицы в речи, т. е. контекст и речевая ситуация. Обращение к понятию среды позволяет интегрировать под единым углом зрения оба ряда окружений, обычно изучаемые раздельно. По существу подведение этих двух глубоко различных типов окружений (и типов отношений к окружениям) под единое обобщенное понятие представляет собой основной и решающий шаг анализа (и вместе с тем синтеза), ведущий к понятию среды в его лингвистической интерпретации.

Системно-языковой (парадигматический) тип среды и соответствующий тип отношения к исходной системе представлен, в частности, в соотношении грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов. Последние могут воздействовать на грамматические парадигмы, определяя их полноту или неполноту. В этой связи можно указать на соотношение категорий числа (система) и разрядов исчисляемых/неисчисляемых существительных (среда), соотношение категории степени сравнения (система) и разрядов качественных и относительных прилагательных, а также качественных и обстоятельственных наречий (среда). Ср. также зависимость системы видов от разрядов предельных/непредельных глаголов и связанных с ними способов действия. Все факты такого рода могут быть интерпретированы как представляющие парадигматический тип соотношения грамматических подсистем и их лексико-грамматической среды.

Парадигматический тип связи системы и среды выявляется на разных уровнях строя языка (ср. соотношение лексической единицы как частной системы с другими лексическими единицами, относящимися к тому же семантическому полю). Тот же тип парадигматических отношений (частная система — ее среда в рамках более широкой системы) представлен в сфере синтаксиса. Так, предложение включается в более широкую систему связанных друг с другом синтаксических конструкций, где все элементы, взаимодействующие с данной частной синтаксической системой, представляют собой ее среду.

Реальные процессы функционирования языковых единиц включают их взаимодействие с обоими указанными типами среды. Так, значения видовых форм испытывают на себе влияние семантики предельности/непредельности (что связано со средой в ее парадигматическом аспекте). Вместе с тем категориальные значения видовых форм подвергаются воздействию аспектуального контекста.

Как уже было сказано, понятие речевой среды охватывает две ее разновидности — контекст и речевую ситуацию. Последняя разновидность включает внеязыковые социальные факторы и их отражения в сознании говорящего и слушающего (ср. такие социолингвистические понятия, как социальная установка, статус и ролевые отношения участников коммуникативного акта [13, с. 69—86], социальная детерминация модели порождения речи [14]).

Говоря о системно-языковой среде как среде парадигматической, мы не случайно не назвали речевую среду синтагматической. Признак синтагматичности может быть отнесен к контексту (где синтагматические отношения выступают во взаимодействии с парадигматическими), но не к речевой ситуации. Вместе с тем признак синтагматичности важен для характеристики различий между контекстом и речевой ситуацией, т. е. внутренних различий в сфере речевой среды.

Трактовка контекста и речевой ситуации как двух разновидностей речевой среды, соответствующая давней практике сближения указанных понятий, основана на общности их функций по отношению к исходному системному объекту в сфере речи. Рассмотрим высказывание: *Иду я вчера по улице...* Воздействие элемента контекста *вчера* на значение формы настоящего времени аналогично воздействию речевой ситуации, исключаящей отнесенность действия к моменту речи и предполагающей его отнесенность к прошлому (ср. высказывание без элементов типа *вчера*: *Иду я по улице...* и т. п., где указанную функцию выполняет одна лишь речевая ситуация).

Помимо всего прочего контекст и речевую ситуацию сближает то, что в обоих случаях разная по своим источникам информация (контекстуальная и ситуативная), воздействуя на значение языковой единицы в конкретном акте ее функционирования, участвует в формировании смысла высказывания.

Вместе с тем рассматриваемые разновидности речевой среды существенно отличаются друг от друга: контекст представлен языковыми единицами и их сочетаниями, тогда как речевая ситуация выходит за пределы языка. По данному признаку контекст включается в понятие внутриязыковой среды (хотя и представляет ее речевую реализацию), а речевая ситуация относится к среде внеязыковой. Заместим, что внеязыковая среда не сводится к речевой ситуации: она включает не только ситуативные переменные, но и константные факторы социальной обусловленности языка как системы (ср. явления, охватываемые такими понятиями, как языковая и речевая общность [13, с. 69—75]).

Итак, речь может идти о двух членениях, проводимых на разных основаниях. Первое членение: среда системно-языковая (парадигматическая) — речевая (с внутренним разделением на контекст и речевую ситуацию). Второе членение: среда внутриязыковая (с внутренним разделением на системно-языковые парадигматические окружения и контекст) — внеязыковая (включающая речевую ситуацию).

Поскольку основания указанных членений различны, эти членения не противоречат друг другу. Так, контекст, с одной стороны, характеризуется как одна из разновидностей речевой среды, а с другой — как одна из разновидностей среды внутриязыковой (в первом случае контекст противостоит, вместе с речевой ситуацией, системно-языковым парадигматическим окружениям, во втором же случае он, вместе с системно-языковой парадигматической средой, противостоит среде внеязыковой, в частности, речевой ситуации). В целом для конкретного лингвистического анализа окружений наиболее существенным представляется их членение на окружения системно-языковые (парадигматические) и речевые.

О структуре среды. Языковая среда не является аморфной. Элементы среды, окружающей языковую единицу, — это, в свою очередь, частные системы, входящие в системы более общие и характеризующиеся определенной структурой. Поскольку состав компонентов среды определяется не с точки зрения ее автономных признаков, а со стороны исходной системы, среда может быть разнородной, т. е. включать элементы гетерогенных окружений, не образующих единой системы с единой внутренней структурой. Так, функционирование грамматических категорий (например, времени, наклонения, лица), рассматриваемых как исходные системы, осуществляется, с одной стороны, во внутриязыковой среде смежных грамматических и лексических явлений, а с другой — в среде, включающей внеязыковые социальные факторы. Элементы внутриязыковой и внеязыковой среды могут быть связаны друг с другом, но все же они не образуют единой гомогенной системы с единой однородной структурой.

Если система по самой своей сущности представляет собой целостное образование, то среда не характеризуется обязательным признаком целостности (хотя как частный случай целостная среда возможна). По разным признакам и разным аспектам взаимодействия исходная система может быть связана с разными и при этом разнородными плоскостями среды (ср. различие внутриязыковой и внеязыковой среды, о котором уже

шла речь выше). Ориентация на исходную систему, фокусировка со стороны системы, отсутствие обязательной автономной системно-структурной целостности — это важный дифференциальный признак среды в ее отношении к исходной системе. Здесь заложено различие в уровне (статусе) системности между исходной системой и ее средой. Если исходная система представляет собой целостную языковую единицу, категорию, группировку, т. е. характеризуется «сильной системностью», то среда может включать элементы разнородные и не связанные обязательно друг с другом, поскольку состав этих элементов определяется прежде всего их отношением к исходной системе. Среда может характеризоваться признаками раздробленности, рассеянности отдельных ее сфер, т. е. признаками слабой системности.

Принцип иерархии уровней в языковой системе общеизвестен. Тот же принцип действителен, на наш взгляд, и по отношению к среде: каждая частная языковая система определенного уровня (уровня фонемы, морфемы, слова, предложения) включается в более широкую систему того же уровня, элементы которой, взаимодействующие с данной частной системой, являются ее средой. Таким образом, среда в данном смысле имеет системно-структурную уровневую организацию, сопряженную с уровневой организацией частных систем в языке.

Вместе с тем среда отнюдь не обязательно относится к тому же аспекту языка, к которому принадлежит соответствующая система. Таковы соотношения грамматических систем и лексической среды, а также лексических систем и грамматической среды.

Наряду с соотношениями в рамках одного и того же уровня (фонемы, морфемы, слова, предложения) широко распространены разноуровневые соотношения системы и среды. Так, синтаксические системы на уровне предложения взаимодействуют с лексической средой, относящейся к уровню слова. Морфологические категории взаимодействуют с синтаксическими конструкциями, выступающими в роли среды. Межуровневые и разноаспектные парадигматические связи системы и среды дополняют, но не отменяют основной принцип уровневой иерархической организации среды в ее сопряженности с уровневой иерархией частных языковых систем.

Зависимость структурных свойств среды от ее отношения к исходной системе проявляется в членении «микро-/макросреда». Микросреда включает те элементы окружения исходной системы, которые непосредственно взаимодействуют с ней, тогда как макросреда охватывает более широкие и отдаленные области языковых и речевых явлений, затрагиваемых данной системой или опосредованно воздействующих на нее. Так, по отношению к категории времени в русском языке в микросреду входят элементы актуальности, таксиса и объективной модальности. К макросреде в данном случае относятся элементы таких полей, как залоговость, определенность/неопределенность, локативность. Поля количественности и качественности могут находиться как в ближайшем (непосредственном), так и в отдаленном (опосредованном) взаимодействии с видом и с актуальностью в целом. Здесь, как и в других случаях, проявляется неопределенность и подвижность границ между микро- и макросредой. Между крайними элементами этих сфер находится зона постепенных переходов.

Анализ микросреды в ее отношении к исходной системе связан с обращением к периферии языковых систем как к особому предмету исследования, существенному для понимания динамики системности в языке. Понятие макросреды также связано с периферией системы, но уже в более широком смысле: речь идет о периферии комплекса «исходная система — ее среда», о пересечениях с другими комплексами того же рода. На периферии языковых подсистем особенно наглядно проявляется неравномерность системных отношений в языке, где сферы наиболее интенсивных связей между языковыми единицами, классами и категориями сочетаются с зонами слабых связей и относительной изоляции отдельных элементов. Ср., например, изолированное положение в видовой системе современных славянских языков (на периферии этой системы) разрядов однонаправленных/ненаправленных глаголов движения типа *бежать* — *бегать*, *ехать* —

ездить, идти — ходить. Подобные факты представляют особый интерес с точки зрения анализа развития языковых подсистем, включая возможные диахронические перегруппировки элементов системы и среды, изменения границ между отдельными комплексами «система — среда» и т. п.

Границы между исходной системой и ее микросредой не всегда могут быть проведены однозначно. Так, одушевленность/неодушевленность имен существительных и переходность/непереходность глаголов в русском языке рассматриваются нами как оппозиции лексико-грамматических разрядов [15]. Однако эти оппозиции обладают и некоторыми признаками грамматических категорий [16]. Здесь можно видеть переходные явления между периферией системы грамматических категорий и парадигматической микросредой, представленной наиболее грамматикализированными оппозициями лексико-грамматических разрядов. Для границ макросреды также характерна размытость, постепенность переходов, в данном случае — от периферии среды исходной системы к другим системам с их средой. Так, неопределенна граница между периферийными способами действия (элементом среды по отношению к категории вида) и словообразовательными разрядами, не имеющими явных связей с видом (ср., например, словообразовательный тип глаголов со значением «повторно, заново, иногда по-новому, иначе совершить действие, названное мотивирующим глаголом» — *переезжать, перегруппировать, переучить* и т. п. [см. 17]).

Понятия микро- и макросреды относятся как к системно-языковым окружениям, так и к окружениям в речи (ср. известные понятия ближайшего и широкого контекста).

Относительность репрезентации системы и среды. Понятие среды приобретает определенный смысл лишь в отношении к той или иной исходной системе, в данном конкретном биноме «система — среда». Так, применительно к высказыванию — сверхфразовому единству среду составляют взаимодействующие с ним элементы более крупных фрагментов текста и текста в целом. В этих пределах размещаются элементы микро- и макросреды с постепенными переходами между ними. Однако в качестве исходной системы может рассматриваться не отдельное сверхфразовое единство, а комплекс таких единств — соответственно сдвигаются границы между системой и средой. В конечном счете как исходная система может интерпретироваться текст в целом [ср. 18, 19]. В этом случае в роли среды выступает «ситуация текста» в комплексе с обуславливающими ее социальными и социально-психологическими факторами.

Та или иная группировка языковых средств, которая по отношению к исходной системе включается в сферу среды, сама может рассматриваться (в другой связи) как исходная система, имеющая свою среду. Эти отношения создают сложную сеть переплетений ролей системы и среды в языке и речи.

Многое зависит от того, что берется за исходный пункт — грамматика или лексика. По отношению к грамматическим единицам и категориям в роли среды часто выступают лексические явления. Имеются в виду разнообразные проявления воздействия лексики на структуру и функционирование грамматических единиц: лексические ограничения, лексически обусловленная вариативность грамматических значений и т. д. С другой стороны, по отношению к лексическим единицам, классам и группировкам как системам в качестве среды могут выступать не только лексические, но и грамматические явления. Как известно, функционирование лексических единиц может быть обусловлено и ограничено определенными синтаксическими конструкциями. Последние в таких случаях выступают в роли среды.

Относительность репрезентации системы и среды может проявляться и в рамках грамматики. Приведем пример, иллюстрирующий в то же время многообразие разновидностей среды. Грамматическая категория в определенном типе ее функционирования может представлять собой своего рода позицию для функционирования другой категории. Например, тот или иной временной план может рассматриваться как позиция для функционирования видов. Так, в плане настоящего актуального возмож-

но употребление глаголов несовершенного вида (НСВ), тогда как план настоящего неактуального допускает и употребление совершенного вида (СВ), хотя и ограниченное. Как особые позиции, определяющие ряд особенностей функционирования форм СВ и НСВ, могут рассматриваться разные наклонения и типы модальных конструкций, включая конструкции с отрицанием, а также активные и пассивные конструкции. В подобных случаях взаимодействие грамматических категорий принимает особую форму: данная категория представляет собой систему, функционирующую в тех условиях, которые предоставляются другими грамматическими категориями и связанными с ними конструкциями, выполняющими по отношению к данной категории роль среды. С другой стороны, эти грамматические категории и синтаксические конструкции могут рассматриваться — в иной связи — как исходные системы в их отношении к тем или иным окружениям.

Вместе с тем в биноме «система — среда» далеко не все относительно. При взаимодействии частных систем проявляются некоторые устойчивые отношения системы и среды, зависящие от объективных признаков иерархии частных систем в их взаимосвязях. В определенной сфере языковых явлений одна частная группировка языковых средств, обладающая признаками большей стабильности, целостности, регулярности функционирования, явно выраженной внутренней системно-структурной организации, по этим объективно существующим признакам сильной системности, а также функциональной нагруженности и специализации выполняет роль исходной системы по отношению к другим группировкам языковых средств, которые находятся на более низкой ступени системной и функциональной иерархии.

Соотношение той или иной частной системы в языке и ее среды онтологически более жестко детерминировано в тех случаях, когда исходная система представляет собой «естественный» целостный лингвистический объект, т. е. объект с органичной целостностью. Ср., например, такие объекты-единицы, как словоформа, словосочетание, предложение в их отношении к контексту как среде. В тех же случаях, когда сама исходная система представляет собой объект с не столь явно выраженной целостностью (таковы, в частности, многие функционально-семантические поля, лексико-семантические группы и т. п.), отношение «система — среда» становится менее жестким и определенным, появляется возможность разных его истолкований (по разным признакам, учитываемым исследователями).

Принимая во внимание активную роль гносеологической стороны, следует вместе с тем подчеркнуть первостепенную значимость объективных онтологических признаков соотношения системы и среды в каждом фрагменте системы языка и речи. Приведем пример. Способы действия могут рассматриваться исследователем как исходная частная словообразовательная система со своей средой (включающей определенные словообразовательные разряды и лексико-семантические группы). И все же в языках, где имеется категория вида, именно эта категория объективно играет роль основной, исходной системы в сфере аспектуальности, а способы действия попадают в число элементов среды. Таким образом, в подобных сферах языковых явлений существуют определенные объективные тенденции в распределении элементов по их принадлежности к системе и среде.

Комплекс «система—среда» и функционально-семантические поля. Для функционального подхода к строю языка особенно важен динамический аспект соотношения системы и ее окружения. Само понятие «функционирование языковых единиц» включает взаимодействие системы и среды. В теории функциональной грамматики отсюда вытекает постановка вопроса о тех единствах в строе языка, которые включали бы как данную грамматическую форму или категорию, так и ее среду. Такими единствами, на наш взгляд, являются функционально-семантические поля (ФСП)².

² Говоря о ФСП, мы имеем в виду двусторонние содержательно-формальные единства, формируемые грамматическими единицами, классами и категориями вместе с взаимодействующими с ними разнородными языковыми средствами.

По отношению к грамматическим единицам, рассматриваемым в составе ФСП, среду в ее парадигматическом аспекте представляют языковые средства (грамматические, лексико-грамматические, лексические), взаимодействующие с данной единицей, т. е. воздействующие на эту единицу как систему и испытывающие на себе ее воздействие. Так, категория степеней сравнения прилагательных и наречий как система интегрирует взаимодействующие с нею элементы среды в рамках поля компаративности — семантико-функционального целого, вмещающего как данную систему, так и ее среду. Иначе говоря, взаимодействие системы и среды представляет собой важнейший интегративный фактор для формирования данного поля. То же относится и к другим ФСП.

Понятие среды по отношению к грамматическим единицам и категориям в составе ФСП пересекается, но не совпадает с понятием периферии. Последнее понятие предполагает аспект иерархии компонентов поля с точки зрения признаков наиболее специализированного и регулярного характера выражения той семантической категории, которая лежит в основе данного ФСП. Когда же речь идет о среде, то имеется в виду аспект вычленения в окружении грамматических единиц и категорий всего того, что на них воздействует и испытывает на себе их воздействие. В рамках полицентрического поля (ср., например, поле таксиса, членящееся на сферы зависимого и независимого таксиса) понятие среды охватывает не только периферию данной подсистемы, но и другие компоненты того же поля, в том числе и центральные. То или иное языковое средство в рамках данного ФСП может рассматриваться, с одной стороны, как компонент периферии поля, а с другой — как один из элементов среды по отношению к центральной исходной системе, причем эти характеристики в одних отношениях совпадают лишь отчасти, а в других отношениях дополняют друг друга. Взаимодействие системы и среды создает условия для реализации функций, охватываемых данным полем. Грамматические системы (одна или несколько), выступающие в роли центра взаимодействия и интегрирующие лексико-грамматические и лексические элементы среды, вместе с этой средой образуют ФСП.

В основе взаимных связей грамматических или максимально грамматикализованных частных систем в составе ФСП и других его элементов (в частности, лексико-грамматических и лексических), выступающих в роли среды, лежат фундаментальные семантические категории (аспектуальность, темпоральность, модальность, залоговость, локативность и т. д.). Представляя собой семантические инварианты, выступающие в различных вариантах, выражаемых языковыми средствами в составе ФСП, эти семантические категории обуславливают самую возможность функционального объединения структурно разнородных средств.

Связи системы грамматических единиц, классов и категорий с их лексико-грамматическим и лексическим окружением в рамках ФСП расширяют рамки грамматики. В ее сферу вовлекается все то, что взаимодействует с собственно грамматическими системами в области лексики и контекста.

Заключительные замечания. Понятие среды в его лингвистической интерпретации создает предпосылки для введения в проблематику системности в языке некоторых дополнительных вопросов. Вот некоторые из них: какие свойства данной языковой единицы, категории или группировки как системы проявляются и какие создаются во взаимодействии с системно-языковыми (парадигматическими) и речевыми окружениями; какая сторона взаимодействия единицы и ее окружения является в каждом конкретном случае ведущей, определяющей — сторона системы или сторона среды.

Могут быть поставлены и более общие вопросы, в частности: к каким результатам в целостной языковой системе (системе систем) приводит сложное переплетение и взаимодействие отдельных частных систем и их среды; может ли система языка в целом иметь равномерно регулярный и последовательный характер типа логически выдержанной «правильной» и жесткой схемы, если одни элементы общей системы в ее пределах выпол-

няют роль ее центральных опорных пунктов, а другие — роль их среды (в ряде случаев данная единица в одних ее связях может играть роль исходной системы, а в других представляет собой один из элементов среды по отношению к другой единице, категории или группировке (в процессе исторического развития языковой системы эти роли могут меняться); каковы закономерности формирования и функционирования центральных и периферийных компонентов частных и более общих систем в языке; каковы отношения между периферией системы и средой и т. д.

Существенно изучение взаимодействия системы и среды в историческом аспекте. Следует обратить внимание на различие между «порождающим фоном» (порождающей средой) и средой, обуславливающей уже возникшую и развивающуюся систему. Речь идет, в частности, о генезисе и историческом развитии грамматических категорий.

Те языковые средства, которые в процессе формирования данной грамматической категории играли роль «порождающей среды», в дальнейшем, на разных этапах развития стабилизирующейся категории-системы, могут сами изменяться во взаимодействии с нею. Эти средства становятся одним из элементов среды, обеспечивающей функционирование данной категории и в той или иной мере воздействующей на ее дальнейшее развитие. Так, глагольный вид, возникнув в общеславянский период в среде наиболее обобщенных способов действия и их группировок (порождающей среде), далее функционирует и развивается в тесной связи со способами действия, которые выступают в роли среды, обуславливающей функционирование и дальнейшее развитие видовой системы в славянских языках. При этом сама категория вида включается в число тех языковых средств, которые не только являются одной из частных систем, окруженных своей средой, но и играют роль среды для функционирования и исторического развития других грамматических категорий (таких, как время, наклонение, залог). Таким образом, среда в ее взаимодействии с языковыми системными объектами является одним из факторов формирования и исторического развития языковых единиц и категорий как систем.

Взаимодействие грамматической системы языка с лексико-грамматической и лексической средой при возможности исторических изменений (в частности, грамматикализации и лексикализации) свидетельствует об относительной открытости грамматической системы.

Разные внутриязыковые подсистемы по-разному взаимодействуют со средой. Специфическими особенностями в этом отношении отличаются, например, подсистемы морфологические, с одной стороны, и лексические, с другой. Необходимо осмыслить с точки зрения соотношения «система — среда» тот круг явлений, который давно изучается под углом зрения различий в степени проницаемости морфологических и лексических подсистем. Особого внимания заслуживают различия в отношениях «система — среда» в сферах языкового содержания и выражения. Во всех случаях, однако, сохраняется значимость общего понятия «среда», поскольку оно служит основанием для сравнения всех частных разновидностей языковых и речевых окружений.

Возникает вопрос: что является средой по отношению к языку в целом? Говоря в данной связи о социальных факторах, необходимо избежать упрощений и схематизма. Социальные факторы, связанные с языком, не могут быть сведены к функции внешней среды (см. справедливые суждения по этому поводу в [12, с. 124]).

Следует различать и вместе с тем соотносить а) языковые факты, рассматриваемые в социальном контексте, и б) социальные факты, анализируемые с учетом их соотношенности с языковыми явлениями [13, с. 70]. Первые охватываются понятием системы, вторые же относятся к социальной среде. То же следует сказать о фактах языковой системы, рассматриваемых в психологическом (психолингвистическом) контексте, и психологических фактах, соотносенных с элементами системы языка, но входящих в сферу среды.

«Человеческий фактор» заключен не только в функционировании элементов языка в речи и в речевой среде, но и в самой языковой системе.

Это относится, в частности, к лексическим и грамматическим значениям, отражающим мир с точки зрения человека. Так, отношение к моменту речи говорящего отражено в самой системе форм времени, ориентированных на этот исходный пункт. Точка зрения говорящего заключена во всех системах форм, репрезентирующих грамматические категории актуализационного типа, — таких, как время, наклонение, лицо. Факты подобного рода давно отмечались языковедами. Так, И. А. Бодуэн де Куртене, говоря о том, что в языковом знании отражаются те или иные отношения общественной жизни, природы и т. д., подчеркивал роль «принципа эгоцентризма» в значениях лица и времени [20]. Позиция говорящего представлена особым образом и в неактуализационных категориях. Так, различие в значениях активной и пассивной конструкций во многом связано с подходом говорящего к ситуации, заключающей элементы «субъект — действие — объект», либо со стороны субъекта — производителя действия (*Еще сильнее эту мысль выразил Л. Толстой*), либо со стороны объекта (*Еще сильнее эта мысль выражена Л. Толстым*). Отражение позиции говорящих и слушающих в языковой системе — это тот элемент значений языковых единиц, который в наибольшей степени подвержен воздействию со стороны социальных и психологических факторов внешней среды в процессах речи.

Воздействие элементов социальной среды в речи вполне согласуется с доступными для такого воздействия содержательными элементами в самой языковой системе. Ср., например, употребление форм 1-го л. мн. числа при обращении к собеседнику: — *Куда двигаем?* — *А куда надо, туда и двигаем*, — отрезал чернявый (Ф. Абрамов, Сан Саныч.); — *Александр Дмитриевич, я сейчас получила у математика «отлично»*. — Ага, — услышала я голос Расчепея, — *То-то! Можем, если захотим* (Л. Кассиль, Великое противостояние). В данном случае актуализируется такой элемент социальной среды, как статус и ролевые отношения участников коммуникативного акта. Потенции подобного употребления рассматриваемых форм заложены в самой системе языка: значение формы 1-го л. мн. числа включает говорящего в семантический комплекс «имеющие отношение к действию». Это и открывает возможности для варьирования эмоционально-экспрессивных оттенков, зависящих от внешней среды (ср. отношения участников коммуникативного акта в первом примере, отношения взрослого и подростка во втором, отношения врача и пациента в случаях типа *Как мы себя чувствуем?* и т. п.).

Динамическая форма существования языковых подсистем в процессах мыслительно-речевой деятельности включает в себе психологический аспект и взаимодействует с социально-психологическими элементами вне языковой среды. В частности, при внутреннем программировании высказывания этап первоначального формирования речевого смысла и последующие стадии его становления включают выбор тех или иных средств, связанных с такими семантическими признаками, как будущее, необходимость, адресат, волеизъявление говорящего. При этом как сами комплексы семантических признаков, актуализируемых в высказывании, так и избираемые говорящим языковые средства с их значениями, уже включающими «человеческий фактор», испытывают на себе воздействие внеязыковой среды.

Таким образом, социальные и психологические аспекты находятся как бы внутри самой языковой системы в реальных динамических формах ее существования. Именно на этом фоне следует рассматривать взаимодействие языковой системы с теми факторами, которые коренятся во внешней (нередко лишь относительно внешней) среде.

Особой сложностью характеризуются соотношения системы и среды в сфере семантического содержания. В этой сфере «языковое» и «внеязыковое» находятся в отношениях взаимного проникновения. Здесь трудно провести резкую грань между тем, что принадлежит системе языка, и тем, что относится к мышлению. В этой области (как, впрочем, и в других) слишком прямолинейные интерпретации соотношения системы и среды представляются неоправданными.

Для современной лингвистической теории характерно осознание значительно большей сложности языковой системы по сравнению с прежними представлениями и некоторыми до сих пор бытующими схемами. Эту тенденцию в осмыслении системности языка и речи отражает и наша интерпретация соотношения системы и среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Б. Г. Философский принцип системности и системный подход.— ВФ, 1978, № 8.
2. Берг А. И., Бирюков В. В. Познавание сложных систем и проблема нетранзитивности научного объяснения.— В кн.: Философско-методологические основания системных исследований. Системный анализ и системное моделирование. М., 1983, с. 20.
3. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 19.
4. Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 610.
5. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974, с. 211—224.
6. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978, с. 167.
7. Марков Ю. Г. Функциональный подход в современном научном познании. Новосибирск, 1982, с. 3, 14.
8. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1978.
9. Мельничук А. С. Понятия системы и структуры языка в свете диалектического материализма.— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.
10. Мельников Г. П. Системный подход в лингвистике.— В кн.: Системные исследования. 1972. М., 1972, с. 187—191.
11. Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978, с. 18—34.
12. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке. Опыт исследования антиномий в лексике и семантике. М., 1980.
13. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. Теории, проблемы, методы. М., 1976.
14. Теоретические проблемы речевого общения. М., 1977.
15. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976, с. 184—189, 238—241.
16. Лопатин В. В.— ВЯ, 1979, № 2.— Рец. на кн.: Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976.
17. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980, с. 365.
18. Реферовская Е. А. Лингвистические исследования структуры текста. Л., 1983.
19. Лингвистические вопросы алгебраической обработки сообщений. М., 1983, с. 96—112.
20. Бодуэн де Куртене И. А. Язык и языки.— В кн.: Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963, с. 79—81.

КРАУС И.

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКА

На первом рабочем совещании представителей комиссий по выполнению международной целевой программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» [Либлице (ЧССР), 1981 г.] [1] подчеркивалась потребность описания и обобщения методологических принципов марксистского языкознания, которые должны лежать в основе изучения общих и специфических черт национальных языковых ситуаций в исторически конкретный период развития.

Первые теоретические исследования системы литературного языка в социолингвистическом плане появляются в советской лингвистике двадцатых годов и почти одновременно в Чехословакии в связи с выступлением прогрессивной части лингвистов против пуризма в чешской кодификационной практике [2, 3]. Оба эти направления нашли многочисленных последователей в социалистических странах: вопросы литературного языка и языковой коммуникации приобретают все большее практическое значение не только для языкознания, но и для общества в целом [4]. Причины этого кроются в демократизации воспитания и культуры, в массовом распространении научных и технических знаний. Знание литературного языка становится необходимой частью трудовой деятельности всесторонне развитого человека эпохи социализма. По-новому формируется отношение людей к литературному языку и к его основным функциям. Все это в значительной мере влияет на языковую культуру в социалистических странах и практически способствует разработке теоретических принципов культуры речи. Благодаря тесному взаимодействию интеграционных и дифференциационных тенденций в современной науке постоянно совершенствуется методология социолингвистики и психолингвистики, стилистики и теории текста, теории массовой коммуникации и науки о журналистике, риторики и теории интерпретации.

В то время как изучение языковой культуры сосредоточивалось ранее преимущественно на специфических чертах национальных языков и их общественных функций, в настоящее время основное внимание уделяется разработке общих принципов, единого понятийного аппарата и международно признанной терминологии [4]. Особая заслуга в этом принадлежит социалистическим странам, в которых существуют оптимальные условия для активного участия граждан в общественной коммуникации и воздействия на ход развития языковых явлений. Поэтому справедливо полагать, что опыт социалистических стран в теории и практике языковой культуры окажется плодотворным и для развивающихся стран в соответствии со степенью развития их литературных языков и с ростом культурного уровня их носителей.

Основопологающим для изучения вопросов языковой культуры является понятие языковой ситуации [5, 6]. Языковую ситуацию мы понимаем как сложный динамический процесс коммуникации в пределах определенной общности. При этом особое значение приобретают, с одной стороны, общественные условия коммуникации и ее культурные традиции в том или ином национальном языке, а с другой — свойства национальных языков и форм их существования, характерные для данной языковой общности. Наряду с этим важно учитывать особенности языков межнационального общения, а также тех языков, с которыми та или иная общность людей находится в политических и культурных отношениях. В связи с этим сле-

дует подчеркнуть важность обучения иностранным языкам и степени их владения членами языковой общности. В рамках социалистических стран особенно важна роль русского языка как языка международного общения и языка, на котором издается самое большое в мире количество национальной и переводной литературы [7, 8].

Целесообразно различать национальную (например, чешскую) и государственную (например, чехословацкую) языковую ситуацию, далее языковую ситуацию, определенную географически (например, европейскую), или такую, которая обусловлена политическим и идейным сотрудничеством (например, языковую ситуацию стран развитого социализма). Языковую ситуацию стран развитого социализма, таким образом, следует понимать как диалектическое единство языковых черт, обусловленных исторической и структурной спецификой отдельных национальных языков, с одной стороны, и сходств, вытекающих из внешних условий их синхронического существования — с другой.

В связи с анализом языковых ситуаций в работах лингвистов социалистических стран большое значение приобретает понятие «национальный язык». Дело в том, что в результате демократизации социалистического общества уменьшается автономный статус литературного языка и, наоборот, углубляются взаимные контакты между литературными и нелитературными формами существования языка в пределах литературного языка, особенно в его устном варианте, но также и в нелитературных языковых формах: традиционные местные диалекты все больше теряют свою структурную ограниченность и вытесняются интердиалектными формами. Последние впоследствии находят широкое применение в устной коммуникации, что в свою очередь оказывает воздействие на литературную норму (иногда интердиалектные языковые единицы и формы даже приобретают литературный статус).

Все сказанное дает возможность по-новому оценить стратификацию национального языка. В работах словацкого лингвиста Я. Горецкого выделяется наряду с традиционно вычленяемой литературной нормой так называемый стандарт, отличающийся от литературной нормы произношением, лексическими неологизмами и разговорным синтаксисом [9]. В чешской языковой ситуации понятию стандарта в известной степени отвечает литературный разговорный язык, который является как бы фильтром, посредством которого некоторые явления обиходно-разговорной нормы входят в систему литературного языка. В польской лингвистике соответственно различают разговорный и толерантный варианты литературной нормы, в советском языкознании последних лет уделяется большое внимание противопоставлению разговорности и кодифицированности устной речи [10]. Теоретические работы по этой теме отражают общее стремление к демократизации литературного языка в странах развитого социализма.

Внутренняя динамика литературного языка обуславливает определенные изменения «культивированности» речи. Например, в чешской языковой ситуации, за исключением торжественных и официальных речей, отступления от литературной нормы вполне приемлемы. Таким образом, «культивированность» речи надо понимать шире, чем соблюдение литературной нормы.

Важным общественным фактором, действующим на изменение современной литературной нормы в странах развитого социализма, является деятельность людей, которые участвуют в общественно-политической жизни. Именно сами говорящие вносят в официальную речь свои личные навыки из сферы обиходного общения; вместе с тем в своей речевой практике они подражают речевым моделям научных, административных, ораторских и публицистических текстов. Следует при этом подчеркнуть, что процесс взаимодействия литературных и нелитературных норм и стилей представляет интерес не только для лингвистов. Этот процесс является составной частью общей культуры всесторонне развитой личности эпохи зрелого социализма. В этой связи можно сказать, что интерес к вопросам языковой культуры углубляется по мере того, как люди приобретают в ходе своей

деятельности новые коммуникативные и общественные роли. Поэтому огромное значение имеет не только решение теоретических вопросов языковой культуры, но также и популяризация последних, которая исходила бы из конкретных потребностей общественного развития.

Каковы сейчас те актуальные черты языковой культуры в социалистических странах, которым желательно уделить внимание? Первый круг проблем касается языковой кодификации. Уровень кодификации, однако, зависит не только от состояния нормы и от адекватности ее описания, но также от анализа фактического функционирования кодификационных правил, т.е. от соблюдения кодификации носителями литературного языка.

Кодификационная деятельность предполагает переплетение двух противоположных свойств литературной нормы — устойчивости и изменчивости, т.е. представляет собой то, что В. Матезиус называл «эластической стабильностью» литературного языка [2, с. 378 и сл.]. Кодификация всегда является более поздней по отношению к норме, поэтому она должна подвергаться периодическим изменениям. В этой связи важно требование перспективной кодификации, т.е. способности предвосхищать развитие нормы. Именно поэтому наряду с изучением вариантности нормы лингвисты уделяют большое внимание разработке вариантности кодификации [11—13; 5].

Важно отметить, что кодификация фиксирует далеко не все явления нормы. Дело не только в том, что кодификация подвергается обычно только литературная норма: было бы также бесполезным и практически невозможным кодифицировать языковую норму в целом. Следует обратить внимание на то, какие аспекты кодификации в определенные исторические периоды приобретают наибольшее значение. Если рассматривать нормативную практику в продолжительной исторической перспективе, то можно увидеть, что центром языковой регуляции в средние века являлись свойства ораторского и делового стиля, система тропов и фигур, с началом книгопечатания — орфография, в риторике XVI—XVIII вв. — связность текста и композиция, в гуманистический период — словарь и грамматика, в эпоху Возрождения, когда впервые можно говорить о кодификации в современном смысле — опять графика и грамматика, особенно морфология. В наше время внимание кодификаторов большинства социалистических стран обращается на рационализацию орфографии, на орфоэпию, словообразование, на особенности заимствованной лексики, на порядок слов. Можно ожидать, что в будущем появится интерес к кодификации явлений сверхфразового синтаксиса. Иная ситуация у так называемых младонисемных языков, где регуляция разных уровней языка проходит почти одновременно. Некоторые вопросы кодификации выходят далеко за рамки компетенции лингвистов. Я имею в виду область терминологии, транскрипции и транслитерации, аббревиатур и фирменных названий, синтаксиса специальных текстов (например, патентов) и т.д.

В работах чешских лингвистов разработаны два основных принципа кодификации. Во-первых, это научность кодификации, т.е. подробный анализ языкового материала, его теоретическое осмысление, а также изучение опыта прошлых кодификаций. Во-вторых, это социолингвистическое исследование того, как носители языка относятся к кодификации, как ее соблюдают. Оба эти принципа имеют также свой прогностический аспект, т.е. исследование возможностей дальнейшей кодификационной деятельности.

В заключение хотелось бы наметить проблематику еще одной области языковой культуры, а именно культуры речевой коммуникации.

1) Целью культуры коммуникации является воспитание творческого подхода к подбору языковых средств, рекомендация, но не узаконение тех или иных языковых и стилевых норм. Вместе с тем она включает и стандартизацию, т.е. регуляцию композиционных, графических и некоторых других свойств текста. В отличие от кодификации, которая отличается универсальностью, стандартизация носит более частный характер; она касается специальных жанров научной и деловой коммуникации

(в последнее время она все чаще вызвана требованиями машинной обработки текста).

2) Культура коммуникации принимает во внимание не только текст в готовом виде, но также весь процесс стилизации и интерпретации. Именно умение интерпретировать, т. е. понять и объяснить смысл текста, особенно важно для современной коммуникации, где все большую роль играет переработка исходной, первичной информации, умение сделать ее доступной разным адресатам. Интерпретация имеет место в публицистике при объяснении фактов политической, экономической и культурной жизни, в науке, особенно при подготовке рецензий и всякого рода библиографических документов, в области делового стиля и т. д. Значение интерпретации увеличивается по мере того, как возрастает количество информации, фиксированной в форме письменных и устных текстов [14, 15].

3) Методологически важно различие между культивированием языковых средств и культурой коммуникации. Культура языковых средств предполагает лишь вспомогательное использование данных других научных дисциплин (например, социологических и статистических методов при изучении узуса или реакции носителей языка на явления нормы). Наоборот, культура коммуникации более тесно связана с особенностями соответствующей коммуникативной сферы. Можно различать частные разделы культуры языковой коммуникации, охватывающие художественную литературу, научные тексты, публицистику и т. д.

В настоящей статье мы остановились главным образом на явлениях, подчеркивающих сходство языковых ситуаций стран развитого социализма, и старались показать общие тенденции языковой культуры в этих странах. Однако цель научной программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» будет заключаться и в том, чтобы показать также специфические черты этой проблематики, вытекающие из исторических и языковых особенностей стран, принимающих участие в программе. Только сопоставление общих и частных достижений в области языковой культуры может представлять основу дальнейшей успешной работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Петр Я.* О реализации программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе». — ВЯ, 1982, № 5.
2. Пражский лингвистический кружок. Сб. статей под ред. Кондрашова Н. А. М., 1967.
3. Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Berlin, 1976, № 1; 1982, № 2.
4. Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha, 1979.
5. *Jedlíka A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1978.
6. *Scharnhorst J.* Zum Status des Begriffs «Sprachsituation». — Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1980, Bd. 33, № 5.
7. *Дешериев Ю. Д.* Социальная лингвистика. К основам общей теории. М., 1977.
8. *Михайловская Н. Г.* О теоретических и практических задачах изучения русского языка как средства международного общения. — ВЯ, 1983, № 5.
9. *Horecký J.* K teorii spisovného jazyka. — Jazykovedný časopis, 1981, 32.
10. *Земская Ю. А., Ширяев Е. Н.* Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная? — ВЯ, 1980, № 2.
11. *Dokulil M., Kuchař J.* Zur Norm der Literatursprache und ihrer Kodifizierung. — In.: Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege, Berlin, 1982, № 2.
12. *Kraus J., Kuchař J., Štich A., Šticha F.* Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. — SaS, 1981, № 3.
13. *Скворцов Л. И.* Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
14. *Демьянков В. З.* Понимание как интерпретирующая деятельность. — ВЯ, 1983, № 6.
15. *Филатов В. П.* К типологии ситуаций понимания. — ВФ, 1983, № 10.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БОГОЛЮБОВ М. Н.

ХОРЕЗМИЙСКИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ГЛОССЫ В «ХРОНОЛОГИИ» БИРУНИ

При хорезмийских названиях месяцев, отражающих зороастрийские, Бируни привел глоссы на хорезмийском языке. Стамбульская рукопись «Хронологии» [1] в данном отношении полнее тех, которые учтены в издании этого сочинения, осуществленном Эд. Захау [2]. В ней находятся двенадцать глосс, тогда как в издании Эд. Захау при V, VI и VII месяцах они отсутствуют. Ниже интересующий нас список воспроизводится в транслитерации (непунктированные буквы помечены чертой снизу):

а) по стамбульской рукописи (Ст.) —

- I. rwčn' fw n'ws'rjy
- II. 'rdwšt fw šyrj 'nk'm
- III. hruwd'd fw ncyry
- IV. cyry f'r'z'k
- V. hmd'dfw xndbk
- VI. 'xšryuwry q'fr'n'y y'xr'n
- VII. 'wmry fw str'jyrwj
- VIII. b'n'xun f'xšur'n r'cyryk
- IX. 'zw fr qymyck'berfyn
- X. rym/d qw n'fk'nj 'nk'm
- XI. 'šmn fw nrd 'nk'm
- XII. 'sbnd'rmjy fw xšwm

б) по изданию Эд. Захау (Зах.) —

- I. rwčn' fw n'ws'rjy
- II. 'rdwšt(1) fw syrc 'nk'm
- III. hrwd'd fw ycyry (2)
- IV. jryy f'r'z'k (3)
- V. hmd'd
- VI. 'xšrywry
- VII. 'wmry
- VIII. y'n'xn (4) f'xsr'n(5) r'čybk (6)
- IX. 'rw fw fymyck'berfyn
- X. wθmr fw n'fk'nj (7) 'nk'm
- XI. 'šmn fw yrd (8) 'nk'm
- XII. 'sbnd'rmjy fw xšwm.

Разночтения (Зах.): 1. 'rdwst, 2. fw ycyry, fw ycyry, 3. f'rz'k, 4. y'f'xn, 5. f'xšrb'n, 6. r'cybk, 7. wθmr fw n'fk'nj, 8. fw brd.

Установлено, что 'nk'm данного списка (в чтении angām из др.-иран. *han-gāma-) значит по-хорезмийски «праздник» [3], а также, что n'ws'rjy является одновременно названием I месяца хорезмийского календаря и новогоднего празднества. Для xšwm приведено название XII месяца — 'xšwm, содержащееся в хорезмийских надписях на оссуариях Ток-Калы [4] и отвечающее им название XII месяца согдийского календаря — 'γšwmyč. Моргенштерне [5], сравнив ycyry, исправленное им на rcyry, с jryy, соответствующим персидскому названию IV месяца — Tir, Tir-māh, предложил для *rcyry (< pa-čire) значение «(Месяц,) предшествующий Тиру». Слово fw, вводящее глоссу, воспринято как союз «или» [6].

¹ Арабские цифры в круглых скобках отсылают к разночтениям.

Остальной материал глосс остается не разобранным. Его разбору посвящена эта статья.

Первый месяц зороастрийского календаря называется по-персидски Фарвардин (Farvardīn). Это общепринятое название. Но в стихах, написанных размером, не допускающим скопления подряд трех долгих слогов, например, у Дакики, Рудаки, Фирдоуси, этот месяц называется Фарвадин (Farvadīn). Вполне вероятно, что второй вариант не является следствием искусственного изъятия «r». Саму исходную форму могла составлять пара frawartīnām и fawrtīnām. При диссимиляции r — г второй вариант fawrtīnām порождает переходную ступень *frawatinām. Отсюда закономерными являются звучания Farvardīn и Farvadīn. Возможно и хорезмийские rwrsp' и rwsn' разных рукописей, т. е. rōrcinā и rōcinā, также следует считать регулярными дериватами исходной пары frawartīnām и fawrtīnām.

В девяти случаях глоссы вводит слово fw (в искажении — fr, q, qw), которое не встречается в хорезмийских материалах. Если с учетом согдийских названий месяцев I n'wsrbyč, V и VI-yntyč, XII 'šwsmuč остановиться на сочетаниях gw(r)sp' fw n'ws'rjy, hmd'd fw xndyk (так в м. xndbk), 'sbnd'rmjy fw xšwm, то контекстуальным значением fw оказывается «или»: Rō(r)cinā или Nāwsārjī и т. д. Союз «или» в хорезмийских материалах представлен написаниями — w', wb', w'b'. Противоречат присвоению fw значения «или» словосочетания, содержащие 'nk'm «праздник»: 'rdwšt fw syrg' 'nk'm, gymžd fw n'fk'nc 'nk'm, 'šmn fw nrd/yrđ 'nk'm. В этих словосочетаниях fw имеет неоспоримое обстоятельственное значение: «(Месяц) Урдибишт, в нем праздник syrg», «(Месяц) Ормузд, в нем праздник n'fk'nc», «(Месяц) Бахман, в нем праздник nrd/yrđ».

В хорезмийском языке обстоятельственный член предложения, вводимый предлогом f-, может быть предвосхищен или повторен местоименным наречием w('), например: z'fk w' c'yt fy w'c «глубоко в него вошел, в (это) дело», f' mδ'n w' c'yt «в середину, туда он вошел», c'yl'w fhdyθ «они вошли в него, в разговор», c'βrduw fyuck 'y xsyn «он вложил ее туда, в книгу (эту) вещь». Есть пример на сочетание предлога f- с наречием 'wθ «там» — 'fk f'wθ ftm nyβ, перс. tu dar ānjā bār-ē nabūdī «ты там вовсе не был». Такое же сочетание предлога f- с местоименным наречием w(') представлено в разбираемом здесь предикативе fw; его значение — «в нем (происходит)», «на него (приходится)».

Ниже приводим разбор хорезмийских глосс в порядке следования месяцев.

I. Поскольку n'ws'rjy обозначает как праздник, так и первый месяц года, gw(r)sp' fw n'ws'rjy может иметь два значения: 1. Ро(р)цина(н) (т. е. Фарвардин), в нем Новогодний (праздник) и 2. Ро(р)цина(н), на него (приходится) месяц) Навсардзи.

II. В древнеперсидском календаре второй месяц называется ōθga-vāhaga «(Месяц) весеннего празднества» [7]; в согдийском календаре он носит название ɣwryznuç xwarižnič < *waharyazna-, что также означает «(Месяц) весеннего празднества». В древнеиранском сезонном календаре первый период года, maīduōi zaṛəmau- «Весенний период», продолжительностью в 45 дней, завершался празднеством, которое приходилось на середину второго месяца года. Эти сопоставления позволяют, поменяв точки, вместо šurg/syrg прочесть sprc/psrc. Название II месяца в этом чтении неотделимо от родственных слов, образованных от др.-иран. sar(a)d- «год» (ср. хорезм. srçuk «годовалый») с наречием pa-, и обозначающих «весна» — сак. pasālā, пушту p(a)sarlay, мундж. psīdroh, ср.-перс. 'ps'l(n), н.-перс. ābsāl, ābsālān (долгота первого гласного вторична), ср. nekīh i gētīg ēdōn humānāg čiyōn abr i paδ afsālān rōz āyēδ (М.-х. 1, 99) «блага мира — это как бы облако, которое появляется в весенний день», hamētābaδ zi čarx-i sabz Аyyūq — ču ātāš bar sahifa-ābsāl-ē (Nāsir-i Xusrāw) «Пылает Капелла на зеленом небосводе — Как костер где-то в саду по весне», ham ān šaypūr bar saδ rāh nālān-i — basān-i bulbul andar ābsālān (F. Gurgānī) «Тоже и трубы на сотню ладов напевают, как весной соловьи». Др.-иран. pa-sar(a)d- отражается в Систанском названии 3-го месяца —

*ws'l и в бухарском s'fwl, если в последнем переставить слог fw в начало слова — *fws'l (fusāl).

Хорезм. *sprc/*psrc — род. падеж ед. числа от *sprδk/*psrδka — им. сущ. жен. рода «весна». Глосса 'rdwšt fw *sprc/*psrc 'nk'm значит «(Месяц) Урдибиhiшт, в нем праздник весны».

Моргенштерне, объясняя афг. p(a)sarlay, мундж. psīdroh «весна» < <upa-sar(a)d-, считал со ссылкой на осет. sārδ «лето», что это слово значит «(сезон), предшествующий лету». Но при наличии перс. ābsāl(ān) «весна», хорезм. *sprc/*psrc 'nk'm «праздник весны», сак. pasālā «весна» < <(u)pa-sar(a)d- во всех этих языках дериваты sar(a)d- имеют значение «год» (не «лето») — перс. sāl, хорезм. sirδ (ср. согд. srd «год», согд.-бух. nwsrδ), сак. sāl-. Осет. sārδ «лето» стоит обособленно, и его значение, скорее, вторично по отношению к общеиран. *sar(a)d- «год». Др.-иран. *(u)pa-sar(a)d- понималось как «пора, находящаяся в начале года».

III. Моргенштерне, сравнив усугу с сугу «(Месяц) Тир», исправил усугу на рсугу и по аналогии с p(a)sarlay < upa-sar(a)d-, которое он объяснял как «(сезон,) предшествующий лету», придал рсугу в чтении ра-čirē значение «(Месяц,) предшествующий Тиру». Поскольку хорезм. усугу в таблице непосредственно предшествует сугу «(Месяц) Тир», то само по себе это толкование кажется безукоризненным. И тем не менее оно вызывает возражения. Перс. absal, афг. p(a)sarlay, хорезм. *sprc/*psrc, сак. pasālā продолжают др.-иран. (u)pa-sar(a)d-. Едва ли, однако календарный термин типа *(u)pa-tir- мог возникнуть в древнеиранский период. Его нельзя отнести и к собственно хорезмийским неологизмам, поскольку в хорезмийском языке, судя по имеющимся материалам, предлог p-/f- не участвует в такого рода словообразовании.

Последовательность псугу/усугу в чтении ṛiččiriy/ṣiččiriy является глагольной формой 3-го л. мн. числа наст. времени изъявительного наклонения с окончанием -iy (< др.-иран. *-gai, а.ест. -ge) от основы 'čy-ičči- «испытывать жажду» от др.-иран. *tršya-, др.-инд. trṣyati. Хорезм. iččiriy значит «они испытывают жажду». Нунация/йотация в iččiriy — результат внешнего сандхи.

В глоссе псугу/усугу отмечена характерная черта III месяца, оканчивавшегося в дни летнего солнцестояния: hwrd'd fw псугу/усугу «(Месяц) Хурдад, в нем испытывают жажду (люди, животные, растения)».

IV. Глосса f'r'z'k при перестановке f'/f в чтении āβrāzāka является инфинитивом, в чтении āβrazak — причастием наст. времени от основы āβraz- (из ā-brāza-) «сверкать, сиять; пылать, гореть»; āβrazāka (ж. р.) в субстантивированном употреблении значит «пыл, жар(а)»; āβrāzāk (прич. наст. вр.) «пылающий, сверкающий, палящий». Глосса сугу (fw) f'r'z'k в значении «(Месяц) Тир, (в нем) жара/(в нем) пылающее, сверкающее, палящее (солнце)» переключается с названиями IV месяца в древнеперсидском календаре — Gaṃarapaда «(Месяц) жаркой поры», и в согдийском — ps'k, ps'k'nč < *(u)pa-sauk- «Палящий, Знойный»; ср. перс. tābistān «лето» (букв. «пора жары»).

V. Как было отмечено выше, хорезм. xndbk, т. е. xndyk (паузальная форма), совпадает с компонентом xand названий V и VI месяцев согдийского календаря: V 'šn'k'y'ntyč «Малый Ханд» и VI mz'yū'ntyč, RBk'yntyč «Большой Ханд».

Согдийские V и VI месяцы приходятся на третий период древнеиранского сезонного календаря, который называется Paitiš-hahya-, т. е. Paitišahya-, что значит «С урожаем, С зерном, Урожайный, Злачный» при авест. hahya- «урожай, зерно», hahuš- «плод, польза», др.-инд. saśa- «пища, трава», saśuā- «урожай зерна». В позиции hahu- в согдийском и хорезмийском ожидается основа *hax-; причастие наст. времени *haxant- с регулярной утратой начального слога ha- дает ханд- в значении «дающий урожай, урожайный»: 'šn'k'y'ntyč «Малый урожайный» (июль—август); mz'yū'ntyč, RBk'yntyč «Большой урожайный» (август—сентябрь). Не ясно, является ли хорезм. hndyk названием периода или апеллятивом, и поэтому переведем глоссу hmd'd fw xndyk описательно: «(Месяц) Мурдад, в нем Хандик (урожайный период)».

VI. Помимо *mz'yūyntyč* и *RBkūntyč* «Большой Ханд (урожайный)» шестой месяц согдийского календаря называется также *xz'n'nč* «Посвященный Хазану». Это позволяет заменить в глоссе *y'xg'n* на *y'xz'n* и принять глоссу в следующем прочтении: *'xšgywry f(w) 'frn'ry y'xz'n*. Бируни в «Книге вразумления начаткам науки о звездах» [8] по поводу «Хазан» написал следующее: «Что такое хазан? Говорят, что хазан не согдийская церемония, хотя ее применяют согдийцы, это тохарский обычай. Тохарцы видели в нем знак похолодания погоды. Хазан для знати происходит в восемнадцатый день шахривар-маха, а для простых людей — во второй день михр-маха, оба эти праздника в честь начала выжимания виноградного сока». Хорезм. *'frn'ry afrināriy* «они благословляют, они славословят», ср. согд. *''rgun-*, *''rgun-* «благословлять». Перевод глоссы: «(Месяц) Шахривар, в нем славословят Хазан».

VII. Седьмой месяц начинался в канун осеннего равноденствия, на исходе 180 дня года. Поскольку в хорезмийском календаре, как и в согдийском, Пятерица прибавлялась к XII месяцу, то на первый день VII месяца этих календарей приходилась середина года. Бируни отметил, что у согдийцев первый день VII месяца называется *Nymstrōh Nimsarđa* «Полугодичный» [2, с. 244].

Последовательность *str'jyrgw* состоит из двух частей: *str'ju rwj*, где *rwj* передает зап.-иран. *rōš* «день». Вставив в *str'ju* опущенные писцом буквы *st* и заменив *g* на *w*, получим последовательность *stwšt'ju*, хорошо поясняющуюся из зап.-иран. *sad-u hāstād* «сто восемьдесят» и хорезм. *sīd aštāc* «сто восемьдесят». Возможно, *stwšt'ju rwč* «сто восьмидесятый день» является хорезмийским воспроизведением западноиранского (парфянского) календарного наименования (через согдийское посредство: **stw'št'tčy?*). Перевод глоссы *'wmry fw *stwšt'ju rwj* — «(Месяц) Михр, в нем сто восьмидесятый день (года)».

VIII. Здесь предлагается читать *y'b'xn f' xšwθ'n w'suyk*. В этой хорезмийской фразе находятся следующие формы: *сuyk* — инфинитив от *су-* (*ciyu-*) «входить» < **ati-i-*; *xšwθ'n* (ж. р.) «стойло» < *fšu-dānā-*, ср. н.-перс. *gāvdānī* «стойло»; *f' xšwθ'n f-ā xšūbān-* «в стойло»; наречие *w'*, в котором повторен при глаголе *сuyk* обстоятельственный член предложения *f' xšwθ'n*: *f' xšwθ'n w' сuyk* значит «в стойло, в него приход», иначе — «возвращение в стойла». В древнеиранском сезонном календаре период *Ayāθgrīma* «Приход (скота с летовья)» длился 30 дней и приходился на VII месяц — др.-перс. *Bāgayādiš*, согд. *βyk'nyč*, перс. *Mihragān*. В Хорезме *f' xšwθ'n w' сuyk* «приход в стойло» происходил, следовательно, в месяце *y'b'xn*, Абане (октябрь—ноябрь), который в древнеперсидском календаре назывался *Varkašāna* «Листопад».

Наречие *fw* отсутствует после названий месяцев IV и VIII. Поскольку в обоих случаях слово, следующее за названием, начинается с буквы «f», нужно думать, что *fw* опущено переписчиком.

Глоссу *y'b'xn (fw) f' xšwθ'n w' сuyk* переводим «(Месяц) Абан, (в нем) приход (скота) в стойла».

IX. Изменив пунктуацию и произведя замену *g/w*, читаем глоссу следующим образом: *'gw fw ftmyck'nc wfyn*. В ней определяем: *ftmyck'nc* «первые» — мн. число муж. рода от *ftmyck'nk*, формы с суф. *-(k)'nk* от *ftmyck* «первый»; *wfyn* (или **wfrn*) — мн. число на-*ina* от **wafra-*, авест. *vafra-*, согд. *wfr'*, *wfrh*, сак. *baurā* «снег»; *ftmyck'nc wfyn* «первые снега». Перевод глоссы: «(Месяц) Азар, в нем первый снег». Хорезмийскому языку свойственно употребление имен, обозначающих вещества, во множественном числе, ср. множественное историческое и собирательное у следующих слов: *сwb* «вода», *'худ* «пот», *čl* «моча», *hwny* «кровь», *xwsy* «зола», *xwfsy* «молоко», *gysy* «ячмень», *wгбс* «цветки, цветенье», *w'пунус* «шерсть».

X. Нет семантических оснований связывать *n'fk'nc* с хорезм. *n'f* «город» и *n'f(y)k* «пуговина». По структуре *n'fk'nc* походит на хорезм. *zmk'nc* (ж. р.) «зима», а по звучанию напоминает название X месяца древнеперсидского календаря *Ānāmaka*.

За древнеперсидской транскрипцией *'n'mk* (элам. *ha-na-ma-kaš*, *ha-*

па-та-га) утвердилось прочтение Ф. Юсти — *Apāta* «Безымянный» в смысле «Месяц не названного по имени, т. е. высшего божества». В зороастрийском календаре X месяц посвящен Творцу — *Daθušō*, хорезм. *Rumžd* (< *Ahuramazdā*-), и это как бы поддерживает этимологию от *pātan*- «имя». Но иранской религиозной практике не свойственно подобно рода табуирование верховного божества. Принято также на основании эламского написания *ha-na*-, предполагающего начальный долгий, читать *Apāta* в смысле «(Месяц) с именем, именитый». На вопрос о том, чем первый зимний месяц заслужил такое имя, ответа не находится. По-видимому, *n'mk* восходит не к *pātan*- «имя», а к какому-то другому понятию.

В согдийском календаре IX и X месяцы, т. е. предшествующий зимнему солнцевороту и следующий за ним, называются *βwγ-yš*. Известны три глагольных корня *baug*:- ¹*baug*- «наслаждаться», ²*baug*- «открывать, отпущать» и ³*baug*- «сгибаться, склоняться, поворачиваться». Согд. *βwγ* < ³*baug*-, ср. др.-инд. *bhoga* «поворот, изгиб» связывает оба месяца с наблюдаемым движением солнца, при этом одно из названий X месяца — *myšβwγ-yš* (*myš* — *miθra* «солнце») означает именно «Солнцеворот».

К ³*baug*- примыкают по значению др.-иран. *pat-* «сгибаться, склоняться; идти, двигаться», н.-перс. *patāz* «поклон», ср.-перс. *ānāb*:- *ānāft*-, *ānām*:- *ānāft*- «отвести, повернуть». Как производное от *pat-* др.-перс. *Apataka*- может значить «(Солнце)ворот», являясь аббревиатурой на -ka-. Учитывая перебой m/b, объединим хорезм. *n'fk'nc* (род. п. жен. р.) с др.-перс. *Apataka*-. При этом глосса *rumžd fw n'fk'nc 'nk'm* получает следующий перевод: «(Месяц) Ормузд, в нем праздник (солнце)ворота».

XI. Явление йотации/нунации начального гласного наблюдается как в собственно хорезмийских словах — *n'z*, *y'z* «я» < *azam*; *nyz*, *yyz* «змея» < *azi*-, так и в заимствованных — *ym'm* «имам» < *imām*; *ym'mk* «чалма» из *'amta*ma; *ysyg* «пленный» — *asir*. Йотированный гласный находится в глаголах: *y'sw*- «удалиться» — *a-šyawa*:- *y'xb ky h'yuc sy mynk fy mksk'sr y'sw'ryn* *Muq.* 87.7 = перс. *an šab ki hajjiyān az Minā ba Makka ravand* — «в ту ночь, когда паломники отправятся из Мина в Мекку»; *yf*- «поймать» < *ar*:- *yfn'h 'y xrdnd δ'r* (*Muq.* 360,1) «я поймал его, беглеца». Йотирована основа презенса глагола «быть» из *ah*:- *ym*, *y'h*, *yt*, *ymn*, *yf*, *yl*. С йотацией/нунацией выступает основа презенса глагола *'šy*- «испытывать жажду» в глоссе III месяца: *ysuge/ncugu* «они испытывают жажду» (см. выше, III). В имени существительном, названии праздника *urd/nrd* в глоссе *'xmn* (так вместо *'šmn* рукописей) *fw urd/nrd 'nk'm*, также определим йотацию/нунацию исходной формы *'rd*. Хорезм. *'rd* — **rd* — *ryd* «праздник» < авест. *ratu*- «время»: *trs'k'nk 'rd* (*Muq.* 11,6) «христианский праздник (о пасхе)»; *'rd mk'r* (*Muq.* 414,8) «они справили праздник»; Бирюни сообщает, что в первый день XI месяца *'xmn* отмечался *'rθmyn ryd* «праздник *'rθmyn*», который называли также *'rθmyndk'nyk*. Возможно, именно этот праздник подразумевается в глоссе *'xmn fw urd/nrd 'nk'm* «(Месяц) Бахман, в нем праздник Ард (*ṛArd*, *ʔArd*)», т. е. он имел помимо собственного имени и общее — «Праздник». Если на месте *urd/nrd* прочитать *urg/nrg*, то форма без йотации/нунации *'rg* близка началу *'rθ* в названиях *'rθmyn*, *'rθmyndk'nk*. Нельзя не учесть еще одно сравнение. Подобно *'rd* — **rd* — *ryd* «праздник» и другим двухсложным словам тройной состав имеет «сто»: *sd* — *syd* — *'zd*, в сочетаниях — *šyzd šizd* «триста», *cf'rizd ciβārizd* «четыреста», *'xzd uxhizd* «шестьсот», *'βdzd aβdizd* «семьсот», *'štzd āštizd* «восемьсот». Чтение *yzd/nzd yizd/nizd* может представить компонент ряда *'zd*—*sd*—*syd*, его субстантивированную форму, выступающую в качестве названия праздника *ʔIzd*, *ṚIzd*. Эта хорезмийская форма находит себе параллель в названии праздника *Sada*, который персы празднуют 10 Бахмана. Так что предложим здесь и вторую возможность осмысления глоссы *'xmn fw Yzd/Nzd 'nk'm* — «(Месяц) Бахман, в нем праздник Йизд/Низд (= перс. Саде)».

XII. В зороастрийском календаре XII месяц посвящен богине Земли и назван ее именем — авест. *mañhō spəntayā armatōiš* «месяц Добродетельной

Щедрой», которое составляют эпитеты — др.-иран. *šuantā- ārmati- «добродетельная щедрая»: авест. spanta ārmatiš (V 18,64) «земля», пехл. spand (ā)rmat zamīk «спандармат-земля», согд.-ман. z'yu spnd'rmt «земля-спандармат», хорезм. spnd'rm(y)d «земля», «мир», сак. śśandā «земля». В месяце 'sbnd'rmjy заканчивается годичный солнечный цикл. В этой конечной позиции месяца как раз и заключена надежная основа для установления значения его характеристики, данная в глоссе 'sbnd'rmjy fw xšwm («Месяц) Исфанд, в нем xšwm». Форма 'xšwm выступает как название XII месяца в хорезмийских надписях из Ток-Калы. В согдийском календаре XII месяц называется 'xšwmuč, xšwm.

Хорезмийская и согдийская формы могут быть представлены в виде морфологического варианта к сак. kšupa- «отрезок времени», в датировках — «период правления продолжительностью в один год», тумш.-сак. xšapa-, бактр. xšapa/xšuna, кхоршти kšupa- «regnal period», которые восходят к и.-е. *sek-/*kes- (ср. русск. *час*) «сечь, отсека́ть, засека́ть (время)» и др.-иран. хš- с наращением -en- [9]. Хорезм., согд. xšom продолжает этот же корень хš- с наращением -aw-: xšaw- — xšauma(n)-. Др.-иран. *xšauma(n)- при таком объяснении являлся астрономическим термином, которым назывался полный годичный солнечный цикл. По мере распространения 12-месячной календарной системы этот термин утвердился в Согде, Хорезме в качестве названия последнего месяца солнечного года. В глоссе 'sbnd'rmjy fw xšwm, возможно, xšwm сохраняет свое основное значение: «(Месяц) Исфанд, в нем (исполняется, завершается) Хшом (годичный солнечный цикл)».

Восстановленный текст хорезмийских глосс и их перевод:

I. rw(r)cn' fw n'ws'rjy — «Фарвардин(= март—апрель), в нем новогодний (праздник) / на него (приходится) новогодний (месяц)».

II. 'rdwšt fw psrc 'nk'm — «Урдибихишт (= апрель—май), в нем праздник весны».

III. hwrđ'd fw ycyry/ncyry — «Хурдад (= май—июнь), в нем испытывают жажду (люди, животные, растения)».

IV. cyry (fw) 'βr'z'k — «Тир (= июнь—июль), в нем жара/сверкающее (солнце)».

V. hmd'd fw xndyk — «Мурдад (= июль—август), в нем урожайная пора».

VI. 'xšrywry fw 'frn'ry y'xz'n — «Шахривар (= август—сентябрь), в нем славословят Хазан (начало выжимания виноградного сока)».

VII. 'wmry fw stw 'št'čy rwč — «Михр (= сентябрь—октябрь), в нем сто восьмидесятый день (года)».

VIII. y'b'xn fw 'xšwθ'n w'syuk — «Абан (= октябрь—ноябрь), в нем приход (скота с летовья) в стойла».

IX. 'rw fw ftmyck'nc wfyn — «Азар (= ноябрь—декабрь), в нем первый снег».

X. gymžd fw n'fk'nc 'nk'm — «Ормузд (т. е. Дей, = декабрь—январь), в нем праздник (солнце)вороты».

XI. 'xmn fw yrd/nrd (yzd/nzd) 'nk'm — «Бахман (= январь—февраль), в нем праздник Ард (или Азд = перс. Саде)».

XII. 'spnd'rmjy fw xšwm — «Исфанд (= февраль—март), в нем Хшом (конец годичного солнечного цикла)».

ЛИТЕРАТУРА

1. Фотокопия стамбульской рукописи «Хронологии». — Библиотека ЛО ИВ АН СССР, шифр ФВ 123, л. 27 (список хорезмийских названий месяцев и сопровождающих их глосс).
2. *Sachau Ed.* Chronologie orientalischer Völker von Albêrûnî. Leipzig, 1878, S. 47.
3. A fragment of a Khwarezmian dictionary by the late W. B. Henning. Ed. by MacKenzie D. N. London, 1971, p. 29.
4. *Лившиц В. А.* Хорезмийский календарь и эры древнего Хорезма. — Палестинский сборник. Вып. 21 (84). Л., 1970, с. 168.
5. *Morgenstierne G.* An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927, p. 60.
6. *Лившиц В. А.* «Зороастрийский» календарь. — В кн.: *Бикерман Э.* Хронология Древнего мира. М., 1975, с. 330.
7. *Brandenstein W., Mayrhofer M.* Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, 1964, S. 147.
8. *Беруни Абу Райхан.* Избранные произведения. Т. VI. Ташкент, 1975, с. 144.
9. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.

АДРАДОС Фр. Р.

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ, СЛАВЯНСКИЙ, БОЛГАРСКИЙ

(Типологические заметки)

Типологические исследования — сравнительно новая область в языкознании. Значительно более многочисленны исследования по исторической грамматике, чем по типологии как индоевропейского или общеславянского, так и отдельных славянских языков. Поэтому если ставится задача изучения этих языков с типологической точки зрения — даже если это краткий набросок, подобный предлагаемому ниже, — следует использовать материал, почерпнутый либо из исторических грамматик, либо из описаний конкретных языков.

Если идеи, которые я поддерживаю в ряде книг и статей (из последних упомяну прежде всего [1—4]), правильны, в истории индоевропейского, видимо, имела место моносиллабическая и нефлексивная фаза, когда главную роль играли ударение и порядок слов; вслед за этим индоевропейским I, по всей вероятности, наступила фаза индоевропейского II, сравнительно хорошо представленная в анатолийском. Речь идет о флексивном языке, в котором не выражена оппозиция «мужской род — женский род», отсутствуют глагольные наклонения, нет противопоставления основ в глагольном словоизменении, а выражение множественного числа в имени еще не полно. В индоевропейском III противопоставляются индийско-греческий тип (индоевропейский III-a), обладающий богатыми формами морфологии, и северный тип (III-b), к которому относится славянский. В рамках славянского различные языки и диалекты в отдельные периоды своего развития обнаруживали абсолютно разные лингвистические типы. Хотя славянский и балтийский близки в определенных отношениях, ясно, что первый обладает специфическими особенностями как в области фонетики (тенденция к снятию количественных оппозиций, формирование противопоставления светлых гласных темным и твердых согласных — мягким, открытые слоги), так и в области морфосинтаксиса (развитие категорий одушевленности и вида; характер глагольной системы в целом). Представляется также, что один из славянских языков, а именно болгарский, почти утративший флексию в имени и местоимении и сохранивший сложную систему глагольного словоизменения (простые основы и перифрастические формы), развился в направлении, близком к испанскому, итальянскому и французскому. Русский, напротив, пошел по другому пути. Разные ветви индоевропейского достигали иногда типологических состояний, [весьма сходных или сходных частично. Так, английский, в противоположность немецкому, развился в том же направлении, что болгарский и романские языки, но пошел дальше, т. е. в нем сильному разрушению подверглась не только именная система, но и глагольная. Факты, подобные приведенным, создают любопытную картину (ср. отмечаемое многими исследователями типологическое сходжение болгарского языка с балканскими, принадлежащими к разным языковым семьям). Черты сходства и различия можно обнаружить не только в языках одной семьи или подгруппы, но и в неродственных языках.

Как индоевропейист, интересующийся историей развития славянских языков с самой ранней эпохи, я позволю себе здесь обратиться к выявлению некоторых общих линий их типологии в широких временных и пространственных рамках индоевропейской семьи. Подчеркну прежде всего, что генетический подход глубоко отличен от типологического и что их не следует смешивать. Так, историческое объяснение общих черт в славян-

ском и балтийском, не всегда общих для всех этих языков, типологию не интересует. Я затрагивал эти вопросы в моей статье, на которую уже ссылался [4] и в которой я рассматривал точки зрения А. Мейе, В. Георгиева, В. Порцига, А. Зенна, О. Семереньи и др.; много данных можно найти в работе Х. Бирнбаума [5]. Независимо от того, являются ли выявленные языковые черты главными или второстепенными (их нередко находят в германских и даже иранских языках), непременно обнаруживается типологическая основа, общая для обоих ареалов. Именно эти факты нас здесь и интересуют. При описании следует строго придерживаться изложения фактов без стремления к обобщениям, не поддающимся доказательству. Современное состояние типологических исследований исключает всякий догматизм при рассмотрении взаимосвязей между разными сторонами типологии одного языка или группы языков.

Для краткости остановимся лишь на двух сторонах — «артикуляциях», по выражению А. Мартине, — звуковой и смысловой. Нет сомнения, что фонологическая система славянского обладает своими четко выраженными особенностями. Однако едва ли есть возможность определить, каковы ее связи с морфологической системой. Действительно, фонологическая система, общая по основным признакам для славянского в целом, оказывается в равной мере возможной при такой развитой и живой именной флексии, как русская, и такой максимально редуцированной, как болгарская. Эта система может включать очень богатую парадигму прошедших и будущих времен в болгарском и одновременно — в других языках — такую глагольную парадигму, в которой претерит сведен к «перфекту» (сложное время), а будущее предстает как прежнее настоящее.

Сказанное не мешает нам в ряде случаев установить отношения взаимной зависимости между определенными фактами звуковой и смысловой систем и даже между разными сторонами последней. Так, в болгарском взаимозависимость между явлениями утраты склонения и развития системы предлогов, а также тенденция к установлению твердого порядка слов очевидны. В качестве параллели можно назвать аналогичные процессы в старофранцузском. Обратимся еще к одному примеру: отношение между идентичной системой окончаний презенса и претерита и четкой структурацией системы оппозиций основ презенса и претерита в балтийских языках. Мы будем придерживаться следующей процедуры: сначала опишем языковую систему как более или менее отчетливую совокупность подсистем, а затем сравним ее на основании полученных данных с системами других языков. Именно так мы приходим к понятию «типа», учитывая, что типы вовсе не являются простыми и ограниченными по числу. Напротив, в них обнаруживается целый ряд отклонений, подобно тем, о которых мы упоминали выше. Колебания или наложения (*overlappings*) имеют место в языках разных типов, принадлежащих иногда к отдаленным ветвям одного и того же генеалогического древа. Они встречаются и среди языков, которые исторически восходят один к другому. Возвращаясь к индоевропейскому, мы можем обнаружить во флективных II и III фазах следы I фазы, дофлективной: несклоняемые формы первого компонента сложных слов, формы с нулевыми окончаниями, позднее вошедшие в парадигмы, и т. п. В индоевропейском III (флективном и политематическом) выявляются следы II фазы (монотематической): глаголы, спрягающиеся с одной основой (греч. *eimí* и *phēmí*), основы I и II балтийского и славянского, сохраняющие идентичные формы или подвергшиеся вторичной дифференциации в результате фонетических процессов (примеры см. в [6]). Воссоздать систему языка и составить его типологическую характеристику, видимо, легче путем частичных приближений, чем на основе полного и исчерпывающего определения, которое, по нашему мнению, мы еще не в состоянии предложить. Можно не только последовательно выявить различные фонетические и морфосинтаксические черты и дать характеристику их отношений, но и провести исторический анализ сменявших друг друга систем, что позволит показать, в какой степени эволюция ведет к появлению типологически сходных черт в структурно различных языках. Наконец, мы можем отвлечься от истории и сравнивать эти типоло-

гии с более или менее близкими типологиями отдаленных языков, с учетом или без учета генетических отношений. При этом совершенно не важно, идет ли речь просто о фактах параллельного развития из близких исходных точек или о взаимном влиянии в контактирующих языках (например, балканских).

Поскольку предлагаемая статья касается индоевропейского, славянского и болгарского, нам представляется необходимым использование метода последовательного сопоставления стадий развития некогда единой языковой давности. Речь идет о различных и, так сказать, произвольных отрезках на оси времени. Нас интересует прежде всего исследование отдельных срезов, а затем уже — последовательных переходов от одних из них к другим. Добавим, что в рамках нашего изложения нас будет интересовать главным образом морфосинтаксический аспект. Хотя примеров будет приведено немного, они имеют большое значение для понимания нашей концепции. Фонологии в статье отводится лишь вспомогательная роль.

Не буду пытаться доказывать здесь свои положения относительно развития индоевропейского и места, которое в этом развитии занимают балтийские и славянские языки, особенно последние [6—14]. Мне хотелось бы лишь указать на существование балто-славянского «типологического ядра» (*noyau typologique*) общей основы (каково бы ни было историческое объяснение этой общности черт в рамках индоевропейского III-b). Речь идет о тематической флективной структуре индоевропейского, в котором число глагольных основ было сведено к двум и которому не были известны определенные инновации индоевропейского III-a или индийско-греческого.

Я настаивал когда-то на том, что индоевропейский III-b ведет свое происхождение от племени или группы племен, которые переместились из-за Урала к западу (тохарский — к востоку) несколько позже, чем племена более южные, которые также перемещались к западу вдоль побережья Черного моря и дошли до южных отрогов Карпат на Балканском полуострове. Балты и славяне составляли «арьергарды» северной группы, которая подвергалась различным влияниям, т. к. находилась в контакте с южной группой народов, впоследствии получивших название фрако-фригийцев, македонцев, греков. Примерно со второго тысячелетия до н. э., т. е. со времени своего появления на Балканах и в Греции, балты и славяне оказались в контакте с предками индоиранцев. Это отразилось прежде всего в фонетике (ср. явления типа сатемности) и в лексике. В то же время, как известно, нельзя не учитывать взаимное влияние балтов и славян и контакты тех и других с германцами.

Если сравнивать славянский и балтийский, обнаруживается целый ряд поразительных совпадений, объяснимых исторически. Эти совпадения в совокупности и дают то, что мы назвали общим «типологическим ядром». Частично сохраняясь и частично изменяясь в каждой из двух указанных ветвей языков, это ядро становится составной частью данных языковых систем. Именно типологическое «ядро» оказалось местом столкновения, наложения и взаимодействия этих систем. При этом происходят сдвиги и в других и.-е. языках: речь идет прежде всего о языках типа III-b, а в некоторых отношениях — о языках типа III-a и даже типа II (анатолийского). Последнее не должно нас удивлять, если мы вспомним о том, что архаизм может проявиться и в области неархаичной. И, действительно, такие особенности, как политематическая флексия, слияние (частичное) глагольных окончаний 2-го и 3-го л. ед. числа, отсутствие основы перфекта, которая восходила бы к одному и тому же корню, а также отсутствие конъюнктива, залоговой оппозиции и т. д., являются, по нашему мнению, архаичными для анатолийского и балто-славянского.

Рассмотрим теперь некоторые из основных особенностей балто-славянской системы. Последний термин мы используем в очень широком значении, т. е. допускаем, что соответствующие черты могут отсутствовать в том или другом из обоих ареалов или быть обнаружены в языках неблизкородственных (германских, например). Конечно, термины «общебалтий-

ский» и «общеславянский» тоже неопределенны (последний вовсе не является эквивалентом того, что называют древнеболгарским или церковнославянским). Это известно каждому компаративисту и становится еще более очевидным, когда речь заходит о типологии. Укажем только, что некоторые черты проявляются иногда либо в одном из двух ареалов (балтийском или славянском), либо в обеих ветвях одновременно, другие же в них или превалируют, или отсутствуют вовсе.

Для меня безразлично, являются ли черты, о которых мы будем говорить ниже, общими для других языковых ветвей, например, греческой, иранской, германской, или это архаические элементы индоевропейского III, инновации или просто факты параллельного развития. В этой связи сошлюсь на библиографию, приводимую Х. Бирнбаумом [5] и Ф. Френкелем [15]. Как бы то ни было, в индоевропейском III выделяется балтославянский языковой тип, характеризующийся определенным числом признаков. Это прежде всего более или менее общая фонологическая система, характерные особенности которой следующие: сохранение (за частными исключениями) количественных различий в вокализме, смешение *ā* и *ō*, с одной стороны, *ā* и *ō* — с другой (конечные результаты, правда, различны), тенденция к упрощению дифтонгов; сохранение свободного с точки зрения локализации ударения, а также музыкальное ударение (в славянском наблюдаются многочисленные исключения); отсутствие смычных аспират и наличие сложной системы целевых и аспират типа сатем; вокализация сонантов принимает формы, которые в значительной степени совпадают (ср. особую реализацию индоевропейского *s* после *i*, *u*, *r*, *k*). Все это либо совпадает с общими тенденциями развития индоевропейского, либо с тенденциями ряда языков сатем, или западных языков, либо, наконец, иногда просто обусловлено архаизмами.

Если обратиться к системе имени (существительного, прилагательного и местоимения), то станет очевидно, что и здесь общие черты многочисленны. К ним относятся: наличие в балтийском и общеславянском (и даже в некоторых современных славянских языках, русском, например) сложной семипадежной системы склонения при полном слиянии форм генитива и аблатива. По традиционным воззрениям это — архаизм. С моей точки зрения и в соответствии с мнением моего ученика Ф. Вильяра [16] это, скорее, факт развития (независимого или проходившего под индоиранским влиянием). Речь идет о более древней стадии, отличавшейся редукцией флексии. Во всяком случае данная общность балтийского и славянского бесспорна, и, если отнести ее к наиболее архаичной фазе существования последнего, то совпадение становится еще более поразительным, особенно в области структуры склонения. Отметим, наконец, и такое совпадение, как окончание *-m* косвенных падежей.

Далее мы наблюдаем тенденцию к обособлению прилагательного от имени, в противоположность тому, что отличало индоевропейский. Эта тенденция реализуется путем создания определенной формы прилагательного; к тому же типы компаратива, сформировавшиеся в обеих ветвях языков, близки. Прилагательное стремится обособиться от причастия, в том числе от причастия настоящего времени. Общие черты наблюдаются также в склонении местоимений: тенденция к снятию гетероклизии (разносклоняемости), например, в номинативе 1-го л. мн. числа и в указательных местоимениях с основой на *to-*, выравнивание форм косвенных падежей во мн. числе местоимений, обозначающих пол, и т.д. Таким образом, перед нами богатое формами склонение имен существительных, прилагательных и местоимений, четко выраженная тенденция к формальному их разграничению.

Значительно более существенные факты отмечаются, однако, в глаголе. Черты общности здесь весьма убедительны: это — наличие политематического спряжения, отсутствие оппозиции «активный — средний залог» (пассив отсутствует); слабое развитие конъюнктива и опатива (последний элиминируется как таковой). Перфект как независимая основа не выделен, оппозиция 2-го и 3-го л. ед. числа, как и первичных и вторичных окончаний, не установилась. В отношении последних признаков

между балтийским и славянским отмечаются, конечно, и существенные различия, но в целом это — две близкие системы. Глагол обладает двумя основами, которые соотносятся одна с другой: это могут быть основы, первоначально составлявшие единую, позднее «расщепившуюся», или две основы, различающиеся своим вокализмом и суффиксом. Я подробно описал в [17] наиболее важные особенности славянской системы, где, как известно, ко второй основе (основе образования аориста и инфинитива в отличие от первой основы, образующей настоящее время) прибавляется иногда характерный элемент аориста или имперфекта. В этих основах широко используются элементы ларингального происхождения *-i-*, *-a-*, *-e-*, *-u-*, которые впоследствии стали выражать разные значения способа действия (статива, итератива и др.) или получили отыменный характер. В балтийском и славянском наблюдаются элементы общности развития видовой системы (во всяком случае в отношении начальной стадии).

Близость рассматриваемых групп языков была еще большей до тех пор, пока балтийский сохранял сигматический аорист. Отражение этого состояния мы находим в следующих категориях: сигматический футурум (следы его сохранились, по крайней мере, в славянском), более или менее сходные сложные формы имперфекта, инфинитив и др. Таков кратко перечень признаков, составивших в сумме языковой тип, общий для балтийского и славянского, т. е. вполне индоевропейский языковой тип, в котором лучше сохраняется морфология, чем фонология, но отсутствуют некоторые категории индоевропейского, где обнаруживается тенденция к формальному разграничению имени существительного и прилагательного (и, разумеется, местоимения) и к созданию системы спряжения презенса/претеритум, что дополняется взаимно связанными категориями вида и способа действия, а также другими формами, восходящими к претериту. Были представлены индикативное наклонение и недифференцированный залог, а кроме того формы императива, инфинитива и нескольких причастий.

Итак, именно описанный языковой тип мы считаем ядерным для балтийского и славянского, хотя и та и другая ветви изменили его или дополнили в результате различных процессов развития или утрат. Остановимся подробнее на славянском.

Можно различать, с одной стороны, общеславянский в том значении, которое мы придавали этому термину выше, а с другой — более или менее общие элементы развития славянских языков, которые в дальнейшем легли в основу различных славянских языков и диалектных групп. Типология славянского, на которой я хочу остановиться, будет, таким образом, более или менее общей, в зависимости от подхода: иногда речь пойдет о тенденциях, которые не всюду реализовались, иногда же мы будем говорить о более поздних изменениях, присущих реальным славянским языкам, в отличие от общеславянского ¹.

Итак, именно в фонологии балто-славянская система находит отражение в славянском в наибольшей степени: прежде всего в виде компактной и реализованной системы и вместе с тем в виде тенденций, которые достигли кульминаций в некоторых более или менее широких областях и в более или менее позднюю эпоху.

Вокалическая система общеславянского отличается компактностью и стройностью, она охватывает гласные долгие, краткие, сверхкраткие (еры), носовые, причем все они выстраиваются в ряды темных или твердых, светлых или мягких. В качестве особенности этой системы можно рассмотреть количественные характеристики к качеству гласных, бедность дифтонгами (частично сохранившуюся в балтийском), открытые гласные и т. д. Сопутствующие признаки определяют консонантизм (ср. наличие рядов твердых и мягких согласных и др.). Та же стройность отличает фонологическую систему и в развитии, отражая ряд тенденций, к которым относятся: утрата количественного различия между краткими и долгими

¹ Мы используем только непосредственно интересующие нас данные, содержащиеся в исторических и описательных грамматиках [18—25] или в общих работах, в том числе М. Брауна и Р. Якобсона.

гласными, утрата носовых гласных, перестановка плавных, чередование групп *tj*, *dj*, редукция безударных гласных, развитие слоговых плавных, утрата свободного и музыкального ударения и т. д. Перечисленные факты и некоторые другие не отмечаются в некоторых ареалах или реализовались в них по-разному, способствуя установлению границ разных диалектных областей.

В морфосинтаксисе следовало бы различать три категории явлений: а) свойственные общеславянскому, б) общие для всех позднейших славянских языков, в) общие для отдельных языков или для их диалектных ареалов. Общеславянские черты могут отсутствовать, могут появляться и развиваться, нередко на диалектном уровне, а в ряде случаев становятся отправной точкой в развитии нового типа, частично накладывающегося на прежний. Ограничиваясь некоторыми общими чертами, остановлюсь на четырех из них. Все четыре принадлежат к числу типологических черт, общих для балто-славянского, но либо вовсе не отражают развитие балтийского, либо отражают его в слабой степени и, следовательно, характерны именно для славянского.

1) Замена (частичная) оппозиции родов оппозицией «одушевленность — неодушевленность». Известно, что форма генитива употребляется вместо аккузатива при одушевленных именах мужского рода и что это употребление распространилось на одушевленные имена вообще, а в некоторых языках — и на местоимение.

Факт неразличения родов во множественном числе существительных и прилагательных в русском и болгарском относится сюда же; так же обстоит дело с тенденцией к развитию нового личного рода в болгарском и некоторых западных языках. Примечательно, что одновременно в славянских языках проявляется тенденция к упрощению и объединению именных парадигм в соответствии с родовым типом. Новая и старая категории перекрещиваются точно так, как прежняя форма множественного числа перекрещивается с формой числа, которая развивается на базе старого коллективного.

2) Дифференциация прилагательных и тенденция к утрате неопределенного прилагательного. Здесь мы подходим к фактам, которые отражают период после общеславянского. Несмотря на наблюдаемую дифференциацию прилагательных — сербохорватский и словенский сохраняют обе формы прилагательных — неопределенные прилагательные сокращают свое употребление (ограниченное предикативными конструкциями); наблюдается распространение окончаний определенных прилагательных, неопределенные же позднее становятся несклоняемыми.

3) Развитие видовой системы. На базе индоевропейских средств (специальные значения составных глаголов, употребление некоторых суффиксов) славянские языки развили сложную видовую систему, в которой каждой форме совершенного вида соответствует форма несовершенного и, наоборот, при помощи различных морфологических средств реализуется оппозиция «совершенный вид — несовершенный вид». Эта система в основном представлена уже в общеславянском. Здесь она более сложна, поскольку оппозиция «совершенство — несовершенство» накладывается на оппозицию «аорист — имперфект» (аорист обычно перфективный, имперфект — имперфективный), а также на оппозицию времен (в презенсе и претерите). Эта видовая система и ее пересечение с временной системой, включая будущее время, наряду с некоторыми фонологическими чертами и сохранившимся общим характером индоевропейского архаизма являются особенностью славянского.

Глагольная система, естественно, имеет тенденцию к изменению, в частности, к сокращению: некоторые языки лишаются аориста и имперфекта, другие развивают нейтральные видовые формы типа перфекта, третьи, напротив, переносят видовую оппозицию в будущее время, создавая здесь формы, реализующие противопоставление по категории вида.

4) Новая система перифрастического спряжения. Наряду с формами, унаследованными от предшествующих эпох, славянский развил перифрастические формы, которые сосуществуют с первыми или заменяют их:

ретроспектив или перфект, три предпрошедших, кондиционал, имперфективный футурум (эти формы неодинаково представлены в конкретных языках). В одних случаях речь идет о пополнении старой славянской системы, в других — о стремлении отойти от нее путем создания форм, не связанных с категорией вида, в третьих, наконец, о создании новых категорий (кондиционала и ретроспектива).

В отличие от архаического индоевропейского, еще лишенного многих категорий и форм, славянский создал развернутую систему, включающую именное склонение с формально выделенным прилагательным, оформил подчинение времен плана прошедшего второй основе, которая находится в строго определенных отношениях с первой. Иными словами, к категориям, унаследованным от языка-источника, славянский прибавил новые, которые в зародыше уже были представлены в индоевропейском на самых древних стадиях его развития (категории одушевленности, внутренняя характеристика действия и т. п.). Одновременно усовершенствовалась его прежняя система: появились новые перифрастические формы времени и наклонения, новые категории (например, ретроспектив) и т. д.

Славянский, как и балтийский, это — архаическое наследие индоевропейского III-b; он представлен языками северных племен, которые поселились на Восточноевропейской равнине и в дальнейшем вступали в разносторонние контакты, подвергаясь разнообразным влияниям. В результате в славянском были созданы строгие фонологическая и морфосинтаксическая системы, которые особым образом организуют исконные, часто архаические, элементы, направляя их развитие так, что найти им аналогии трудно. При этом конкретные славянские языки развили эту систему в разных направлениях. Наиболее своеобразные преобразования находим в южнославянском, особенно в болгарском, т. е. в языке народов, которые в VI в. перешли Карпаты и к югу от них вступили в контакт с византийцами, румынами, венграми. В результате в фонологии можно выделить ряд черт, которые характеризуют этот субкарпатский славянский [26]. Здесь мы встречаемся как с архаизмами (сохранение количественных различий, музыкального ударения в сербохорватском и под.), так и с инновациями (удлинение плавных при метатезах и пр.). Но значительно более своеобразны и потому интересны морфосинтаксические характеристики, особенно в болгарском. По сравнению с индоевропейским консерватизмом балто-славянского и общеславянского, болгарская группа выделяется своеобразным развитием имени и глагола: существительное здесь утратило склонение, сохранив лишь форму косвенного падежа для имен мужского рода с определенным артиклем. Так же обстоит дело с прилагательным. Весьма редуцировано склонение и в местоимении. Что же касается глагола, то только болгарский, македонский и сербохорватский сохранили аорист и имперфект наряду с новым перфектом. Более того, как никакой другой славянский язык, болгарский развивает систему перифрастического спряжения. Возникает, таким образом, асимметрия: Р. Якобсон отмечает, что если в старославянском было 236 форм в парадигме простого имперфективного глагола, то в среднем и современном болгарском их число увеличилось за счет развития системы сложных времен, при помощи которой возникла возможность противопоставлять прямую речь косвенной [27]. В современном болгарском отношение «глагол — имя» опирается на глагол или, точнее, на богатейшую систему предлогов. Неслучайно мы сравнивали болгарский с романскими языками. Это сравнение становится еще более оправданным, если вспомнить о категории определенного артикля, восходящего к старому постпозитивному демонстративу *tъ*. Болгарский из всех славянских языков наиболее близок к романским языкам по последовательному сокращению исходных типов презенса (во всех этих случаях речь идет, конечно, о фактах более или менее параллельного развития индоевропейских языков типа III-b, обладавших богатой флексией в имени и несколько упрощенной — в глаголе). Впрочем, не следует и преувеличивать степени сходства: некоторые фундаментальные черты балто-славянского языкового типа, о которых мы упоминали выше, отсутствуют в романских языках. Их отличают именно те черты, которые связывают сла-

вянский с балканскими языками. Так, если определенный артикль является общим для болгарского и для романских языков (а также германских), именно в одном из балканских языков, румынском, находит параллель его постпозитивное образование. Именно в балканских языках обнаруживается столь несвойственная романским языкам особенность, как отсутствие инфинитива.

Итак, славянский дает широкие возможности типологической реконструкции. При этом болгарский является прекрасной «точкой отсчета» для оценки возможностей такой реконструкции последовательно сменявшихся друг друга типов — индоевропейского, балто-славянского, общеславянского. Иные возможности были использованы такими языками, как русский или польский. Славянский — прекрасный пример богатства типологических изменений и перестройки системы, восходящей к индоевропейскому.

Перевела с французского *Лухт Л. И.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Adrados Fr. R.* Les langues slaves dans le contexte des langues indoeuropéennes.— In: *Сыпоставително езикознание*, 1980, 5.
2. *Adrados Fr. R.* Arqueología y diferenciación del Indoeuropeo.— *Emerita*, 1979, v. 47, p. 235—237.
3. *Adrados Fr. R.* Indo-European s-stems and the origins of polythematic verbal inflection.— *IF*, 1981, v. 86.
4. *Adrados Fr. R.* The archaic structure of Hittite: the crux of the problem.— *Journal of Indo-European studies*, 1982, 11.
5. *Birnbaum H.* Common Slavic. Columbus (Ohio), 1979.
6. *Adrados Fr. R.* Evolution y estructura del verbo indoeuropeo. Madrid, 1974.
7. *Adrados Fr. R.* Lingüística indoeuropea. Madrid, 1975.
8. *Adrados Fr. R.* Der Ursprung der grammatischen Kategorien des Indoeuropäischen.— In: *Akten der VII Fachtagung für indogermanische Sprachwissenschaft*. Wiesbaden (в печати).
9. *Adrados Fr. R.* Archaisms in Anatolian nominal inflexion.— In: *In honor of Prof. B. Schwarz*. New York (в печати).
10. *Adrados Fr. R.* De donde proceden las desinencias indoeuropeas de Dat.— *Loc. sg.*?— In: *Festschrift für E. C. Polomé* (в печати).
11. *Adrados Fr. R.* Binary and multiple oppositions in the history of Indo-European.— In: *In honor of H. M. Hoenigswald*. Philadelphia (в печати).
12. *Adrados Fr. R.* Anaptyxis and the historical grammar of Indoeuropean.— In: *Diachronica*. Ottawa (в печати).
13. *Adrados Fr. R.* La flexion nominale du Grec et de l'Indoeuropéen III à la lumière de l'Anatolien.— In: *Actes du Colloque Benveniste*. Tours (в печати).
14. *Adrados Fr. R.* Ideas on the typology of Proto-Indo-European.— *Journal of Indo-European studies* (в печати).
15. *Fränk el E.* Die baltischen Sprachen. Heidelberg, 1950, S. 73 ff.
16. *Villar F.* Origen de la flexion nominal indoeuropea. Madrid, 1974.
17. *Adrado Fr. R.* Evolution y estructura del verbo indoeuropeo. Madrid, 1974, p. 312, 355, 381.
18. *Vondrak W.* Vergleichende slavische Grammatik. Göttingen, 1906—1908.
19. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1960—1974.
20. *Bräuer H.* Slavische Sprachwissenschaft. Berlin, 1961.
21. *Arumaa P.* Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. Bd. I—II. Heidelberg, 1964—1976.
22. *Meillet A.* Le slave commun. Paris, 1924.
23. *Vaillant A.* Manuel du vieux slave. Paris, 1964.
24. *Lunt H. G.* Old Church Slavonic grammar. 5-th ed. Oxford, 1968.
25. *Bray R. G.* A guide to the Slavonic languages. London — New York, 1969.
26. *Braun M.* Grundzüge der slavischen Sprachen. Göttingen, 1947.
27. *Jakobson R.* Slavic languages. New York, 1955, p. 20.

БАСКАКОВ И. А.

ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Одной из кардинальных проблем теоретической грамматики тюркских, да и не только тюркских, языков является проблема частей речи. Несмотря на довольно длительный путь развития учения о частях речи, отраженный в работах крупнейших русских ученых — М. В. Ломоносова [1], Ф. И. Буслая [2], А. А. Потебни [3], Ф. Ф. Фортунатова [4], А. А. Шахматова [5], А. М. Пешковского [6], Л. В. Щербы [7], В. В. Виноградова [8], а также в исследованиях зарубежных лингвистов [9], в современном языкознании до сих пор нет единства взглядов по данной проблеме. Это объясняется отчасти тем, что вопрос о частях речи чаще всего решался и решается на основе традиционных, установившихся схем без учета выводов, содержащихся в общетеоретических исследованиях разносистемных языков, в том числе изолирующих и агглютинативных, морфологический строй которых предоставляет благоприятные возможности для различных типологических обобщений.

Существующие современные разработки этой проблемы, например, в русском языкознании, являются также либо некоторыми модификациями тех же традиционных положений о частях речи, либо концепциями, не учитывающими всей сложности данного вопроса. Одна из последних концепций, касающихся частей речи, представлена в новейшей теоретической грамматике русского языка [10]. Имея глубокую и всестороннюю разработку всей совокупности сложнейших вопросов грамматики русского языка, реализованную на основе последних достижений советского языкознания, труд этот все же не решил должным образом вопроса о частях речи, хотя в значительной степени и разошелся в их интерпретации с традиционными представлениями, отраженными, например, в предыдущей академической грамматике русского языка [11].

Учение о частях речи в Грамматике-80 является непоследовательным в отношении, с одной стороны, семантического принципа классификации частей речи, а с другой — функциональной их значимости в составе предложения и словосочетания. Так, определенные семантические классы слов, составляющие ту или иную часть речи, распределяются в данной Грамматике по другим частям речи, относящимся к другим семантическим классам. Нарушается, таким образом, единство критериев, определяющих каждую часть речи, и смешиваются семантические их признаки и функциональные их формы, в которых выступает та или иная часть речи в предложении и словосочетании. Почему, например, в данной Грамматике отсутствует особая и вполне самостоятельная часть речи — местоимение, которое дано авторами только как местоимение-существительное (термин по существу неудачный), к которому отнесены только некоторые субстантивные формы местоимений. Если в Грамматике дано местоимение-существительное, то почему нет местоимений-прилагательных или местоимений-наречий? То же следует сказать об именах числительных, значительная часть которых отнесена к прилагательным и наречиям. Если причастия и деепричастия справедливо определены как атрибутивные формы глагола, то почему некоторые имена действия не квалифицированы как субстантивные формы глагола, а отнесены к именам существительным? Более того, почему причастия и деепричастия рассматриваются в системе словоизменения, а не функционального словообразования, в то время как справедливо выведены из системы словоизменения и включены в систему слово-

образования такие категории глагола, как вид, залог, наклонение и время, а в системе словоизменения глагола оставлена только категория лица и почему-то категории причастия и деепричастия. Совершенно правомерно в системе глагола выделены функциональные атрибутивные его формы — причастие и деепричастие, но в системе именных частей речи, например, в местоимениях и числительных, соответствующие их атрибутивные формы определены как прилагательные и наречия. Было бы последовательно для концепции, изложенной в последней Русской грамматике, либо считать прилагательными и наречиями мотивированные глаголом причастия и деепричастия, либо «порядковые и местоименные прилагательные и наречия, мотивированные местоимением и числительным» — соответствующими атрибутивными формами этих частей речи, как это сделано в отношении причастий и деепричастий — атрибутивных форм глагола.

Подобные непоследовательности в учении о частях речи встречаются и в грамматиках тюркских языков, которые часто создаются авторами по схеме русской грамматики.

Проблема частей речи в тюркских языках также решалась в связи с составлением грамматик конкретных языков. Начиная с А. Казембека [12], вопрос о частях речи получил соответствующее освещение в трудах О. Бётлингга [13], В. В. Радлова [14], П. М. Мелиоранского [15]. Установленная в данных исследованиях схема классификации частей речи, определяющая три основные группы: имен, глаголов и служебных частей речи, сохранилась также в трудах зарубежных тюркологов В. Банга [16], Ж. Дени [17], К. Грэнбека [18], Ю. Немета [19] и др. Та же в основном схема классификации частей речи представлена и в грамматиках В. А. Гордлевского [20], Н. К. Дмитриева [21], А. Н. Кононова [22], Н. П. Дыренковой [23]. Несколько подробнее этот вопрос был разработан в специальных статьях А. К. Боровкова [24] и И. А. Батманова [25], которые отметили необходимость учета при классификации частей речи в тюркских языках не только их семантики, но также и их функций и формы, хотя и не разграничили четко собственно части речи и их функциональные формы.

Если в семантическом аспекте в существующих грамматиках и специальных исследованиях основные части речи в тюркских языках: имена существительные, прилагательные, наречия, числительные, местоимения, глаголы, междометия и мимемы — как знаменательные части речи и частицы, послелоги и союзы — как служебные части речи сохраняют свою специфику и не рассеиваются произвольно по другим частям речи, то вопрос о соотношении семантического и функционального критериев в классификации частей речи остается до настоящего времени не разрешенным для тюркских языков. В тюркских грамматиках часто встречаются расплывчатые формулировки, обнаруживающие смешение грамматических категорий частей речи и их функциональных форм. Ср., например, такие определения, как «существительные, выполняющие роль или функцию прилагательных» (имеется в виду функция определения) или «прилагательные, выполняющие функцию наречий» (имеется в виду функция обстоятельства). Часто в составе глагольных функциональных форм рассматриваются только причастия и деепричастия, в то время как масдарные формы выделяются в особую категорию глагольных имен, а иногда в состав глагольных имен включаются и причастия.

Следует отметить, что как атрибутивные, так и субстантивные формы глагола сохраняют свое значение глагольности, и каждое предложение со сказуемым, выраженным глаголом, в зависимости от функции высказывания может трансформироваться в эти три функциональные формы. Например, казахское предложение: *Bir adam keşe kitapxanadan kitap aldy* «Некий человек вчера взял книгу из библиотеки» может трансформироваться в субстантивную форму, и в этом случае глагольная форма предиката субстантивируется, ср.: *Bir adamnyn keşe kitapxanadan kitap alıwıy* «Взятие неким человеком вчера книги из библиотеки». Это же предложение может быть трансформировано в атрибутивно-адъективную (определятельную) форму, например: *Bir adam keşe kitapxanadan kitap alıan (waqytta)*... «(В то время), когда некий человек брал вчера книгу из биб-

лиотеки...», а также в атрибутивно-адвербиальную форму, например: *Bir adam keşe kitapxanadan kitap alyp...* «Некий человек, взяв вчера книгу из библиотеки...».

Как глагол, так и именные части речи имеют соответствующие функциональные субстантивные и атрибутивные формы, которые в грамматиках конкретных языков, как правило, смешиваются с различными частями речи. Все эти непоследовательности в определении частей речи как в русских грамматиках, так и в существующих грамматиках тюркских языков вызваны, как нам представляется, смешением двух типов грамматических категорий. С одной стороны, категорий самих частей речи как категорий лексико-семантических, поскольку классификация их основана главным образом на семантических критериях: название предмета, качества, количества, процессов действия и состояния и проч., а с другой — категорий, определяющих их функцию в составе предложения и словосочетания, т. е. категорий лексико-функциональных.

Анализ всех грамматических форм слов, выступающих в составе предложения и словосочетания, показывает, что в составе каждой знаменательной части речи существуют грамматические функциональные категории и соответствующие их формы, в которых каждая часть речи выступает в предложении и словосочетании либо в значении субстантива, либо в значении атрибута субстантива, либо в значении атрибута признака. Эти грамматические функциональные формы в соответствии со структурой предложения или словосочетания подразделяются на две основные группы: 1) группу категорий субстантивных и 2) группу категорий атрибутивных, последние в зависимости от своих значений атрибута субстантива и атрибута признака распадаются на два типа: а) адъективных (определятельных) и б) адвербиальных (обстоятельственных) категорий.

Каждая знаменательная часть речи по своей функции в составе предложения или словосочетания, таким образом, представлена тремя функциональными формами, ср., например, в казахском или каракалпакском языках — имя существительное: 1) субстантивной формой — *qys* «зима», 2) атрибутивно-адъективной — *qysqy* «зимний» и 3) атрибутивно-адвербиальной — *qysşa* «по-зимнему»; имя прилагательное: 1) *aqlыq* «белизна»; 2) *aq* «белый», 3) *aqşa* «бело, беловато»; имя числительное: 1) *ekew* «двое», 2) *eki* «два», *ekinşi* «второй», 3) *ekiser* «по два»; местоимение: 1) *men* «я», 2) *meniñ* «мой», 3) *menşe* «по-моему»; глагол: 1) *alıw* «взятие», 2) *alyp* «взявший», 3) *alyp* «взяв» и т. д.

Смешение частей речи как классов лексического состава языка, основным критерием классификации которых во всех языках служит семантический признак, т. е. лексическое значение слова, вызвано непоследовательным наложением второго, лексико-функционального критерия, второй координаты — характеристики слова — его функциональной стороны, которая, в свою очередь, в современных классификациях частей речи смешивается с синтаксической функцией слова в составе предложения и словосочетания. Я имею в виду существующие внутри каждой части речи функциональные формы лексико-функционального словообразования, а именно наличие в каждом языке, и в том числе в русском, указанных лексико-функциональных форм, ср., например, а) для глагола — *взятие, взявший, взяв*; б) для имени существительного — *сила, сильный, сильно*; в) для числительного — *трое, третий, троим*; г) для местоимения — *я, мой, по-моему* и т. д., причем каждая лексико-функциональная форма каждой части речи может быть представлена несколькими моделями словообразования.

Обычно глагольные лексико-функциональные формы для большинства языков выделяются только в формах атрибутивных — причастия и деепричастия, и только в некоторых языках, и в частности в арабском, к ним справедливо относят еще так называемые масдары, т. е. субстантивные глагольные формы. В русском же языке, а также обычно и в грамматиках тюркских языков, эти субстантивные формы глагола, имеющие те же общие признаки с глаголом — управление косвенными падежами и обладающие категориями вида и залога, почему-то причисляются к именам

существительным в отличие от причастий и деепричастий, которые на тех же основаниях также могли бы быть отнесены соответственно к прилагательным и наречиям, впрочем, последние иногда и определяются авторами грамматик как «отглагольные прилагательные» и «отглагольные наречия». Было бы больше оснований считать глагольными категориями, наряду с причастиями и деепричастиями, также и субстантивные формы глагола — масдары. Так, в русском языке в словосочетании *портрет, написанный художником* слово *написанный* определяется как причастие страдательного залога и относится к глагольным формам, а в словосочетании *написание художником портрета* слово *написание* отнесено к именам существительным; или в выражении *человек, ходивший в лес* слово *ходивший* — к глагольным формам, причастиям, а в выражении *хождение человека в лес* слово *хождение* — к именам существительным, хотя обе эти глагольные формы по своему значению в равной степени управляют одним и тем же объектом. Правда, субстантивные формы глагола в русском языке имеют некоторые особенности. Так, включая в себя такие глагольные категории, как вид, ср., например: русск. *открытие* и *открывание*, *присвоение* и *присваивание*, *придание* и *придавание* и проч., и сохраняя управление косвенными падежами, субстантивные формы переходного глагола в русском языке не управляют уже объектом в вин. падеже, в то время как в тюркских языках те же субстантивные формы глагола сохраняют не только свойство управлять вин. падежом, но и включают в состав морфем, их образующих, также и аффиксы залогов.

Что же касается лексико-функциональных форм именных частей речи: существительного, прилагательного, наречия, числительного, местоимения, то они часто, и, как правило, произвольно, распределяются уже не по семантическому признаку — основному критерию дифференциации частей речи, а по господствующей для каждой из них синтаксической функции, т. е. субстантивные формы — к именам существительным, а атрибутивные формы соответственно — к прилагательным и наречиям, что и создает полное смешение лексико-семантических и лексико-функциональных категорий.

В соответствии с этим необходимо констатировать, что каждая часть речи как лексико-семантическая категория содержит вместе с тем и указанные функциональные формы. Например, в системе глагола эти функциональные формы представлены в тюркских языках: 1) субстантивными формами — масдарами на *-maq/-mek*, *-yş/-iş*, *-uw/-üw* и др.: турецк. *almak* «взять, взятие»; узб., уйг. *qulyş* «делать, делание»; казах. *žazıw* «писать, писание» и др.; 2) атрибутивными формами: а) адъективными, определительными — причастиями на *-mış/-miş*, *-ğan/-gen*, *-ar/-er* и др.: турецк. *gelmiş* «приходивший», казах. *alğan* «взявший», каракалп. *alar*, *alğaj* «долженствующий взять» и др.; б) адвербиальными, обстоятельственными — деепричастиями на *-a/-e*, *-ur/-ır* и др.: казах. *ala* «беря», *alyp* «взяв» и т. д. Аналогичными функциональными формами представлены и именные части речи.

Итак, основной причиной существующих недостатков классификации частей речи, как в русской грамматике, так и в грамматиках тюркских языков, является традиционное смешение в слове — знаменательной части речи — двух его сторон: формы, определяющей значение, и формы, определяющей его функцию в составе предложения и словосочетания.

По своему значению слово выражает: предмет, качество, количество, действие, состояние и проч., образуя лексико-семантические классы — части речи, а по своей функции обозначает либо субстантив, либо атрибутив, последний в двух его значениях, образуя специальные функциональные формы каждой части речи, а именно субстантивные и атрибутивные (адъективные и адвербиальные) формы.

В каждом слове, таким образом, выражены, с одной стороны, его значение, реализующееся в соответствующей части речи: существительном, прилагательном, наречии, числительном, местоимении, глаголе и др., а с другой стороны, функция в составе предложения и словосочетания, реализующаяся в соответствующей функциональной форме. Следова-

тельно, каждая часть речи состоит из набора определенных функциональных форм. В существующих же грамматиках часто происходит смешение частей речи с их функциональными формами, последние, т. е. функциональные формы одной части речи, относятся к другой части речи, так, например, атрибутивные формы числительного — порядковые числительные — относятся к прилагательному без учета того, что числительные имеют свои атрибутивные формы, или, например, субстантивные и атрибутивные формы глагола — к глагольным именам или отглагольным существительным и прилагательным и т. д.

Здесь, однако, не следует смешивать явления конверсии, когда некоторые словообразовательные модели глагола теряют присущие им свойства и полностью переходят в состав другой части речи, ср., например, отглагольные имена существительные *ölüm* «смерть» или *žutum* «глоток» или прилагательное *aşuq* «открытый», которые, происходя от глагола, теряют свойство управления падежами и другие глагольные признаки, но приобретают свойства, присущие той части речи, в которую они переходят.

Смешение частей речи и их функциональных форм в тюркских языках, равно как и в русском, влечет за собой и смешение категорий словообразования и словоизменения. Смешение это вызвано также отсутствием строгих критериев, определяющих сущность словообразования и словоизменения. Если мы установим критерий для форм словоизменения как категорий, выражающих отношения слов — членов словосочетания или предложения, то к ним в тюркских языках могут быть отнесены только четыре: числа, принадлежности, падежа и лица, так как только они определяют отношения членов предложения и членов словосочетания, а именно: отношения подлежащего и сказуемого — категории числа и лица, сказуемого и дополнения — категория падежа, определения и определяемого — категория принадлежности. Кстати, следует отметить, что в структуре существующих грамматик категории словоизменения — число, принадлежность и падеж — обычно необоснованно рассматриваются при описании только имен существительных и местоимений, а лицо при глаголе, в то время как они относятся ко всем субстантивным и атрибутивно-определительным функциональным формам всех знаменательных частей речи, и в том числе к тем же функциональным формам глагола, поскольку субстантивные и атрибутивно-определительные его формы (масдары и причастия) также имеют категории числа, принадлежности, падежа и лица.

Все же остальные аффиксы в тюркских языках образуют только различные модели словообразования, так как изменяют реальное значение производящей основы слова. К выражению же синтаксической связи они имеют косвенное отношение, ср., например, залоговые модели глагола, дифференцированные по своей семантике, которые прямо не выражают никаких связей и отношений членов предложения между собой.

Вместе с тем система словообразования в тюркских языках не является единой и общей. Она имеет две основные подсистемы: а) подсистему лексико-семантического словообразования, когда аффиксы изменяют собственно реальное значение слова, а иногда и конвертируют данную модель из одной части речи в другую; б) подсистему функционально-грамматического словообразования, когда аффиксы, оставляя единое реальное значение слова, образуют только модели, выражающие лексико-функциональное значение субстантивных и атрибутивных (адъективных и адverbиальных) категорий. Наиболее ярко выражены в этом отношении модели глагольного лексико-функционального словообразования, т. е. модели масдаров — субстантивных форм глагола (*almaq*, *alyş*, *alýy*, *aluw*, *alasy* «взятие»); причастий — атрибутивно-определительных форм глагола (*almyş*, *alýan* «взявший», *alýaj*, *alar* «долженствующий взять») и деепричастий — атрибутивно-обстоятельственных форм глагола (*alyp* «взяв», *ala* «беря»); те же функциональные формы характерны и для других частей речи: для имен числительных: *eki* «два», *ekew* «двое» — субстантивные формы числительного; *ekinşi* «второй» — атрибутивно-определительные

формы числительного и *ekiser* «по два» — атрибутивно-обстоятельственные формы числительного; или соответствующие функциональные формы местоимений: *men* «я», *meniñ* «мой», *menşe* «по-моему».

Сложный состав форм внутри каждой части речи, вызванный двойственностью значений слова как категории семантической и функциональной, равно как и наличие двух подсистем словообразования — лексико-семантического и лексико-функционального, должны определять не только природу каждой части речи, но и структуру отношений их между собой, а следовательно, и их классификацию. Существующая же традиционная структура частей речи и определяющая ее классификация не соответствуют тем отношениям, которые они выражают.

Если деление частей речи на имена, глаголы и служебные части речи вполне оправдано их значением и принято как представителями восточной, так и представителями всех западных школ, то деление именных частей речи, например, в современной русской грамматике, а также в тюркских грамматиках остается совершенно неоправданным. Прежде всего отсутствует должная иерархия и соподчинение некоторых частей речи между собой. Так, нет сомнения в том, что имена существительные, имена прилагательные и наречия исторически представляли собой не что иное, как функциональные формы по отношению к их значению предметно-качественных имен, в которых, впрочем, позже имена прилагательные и наречия, получив свои вторичные функциональные формы, приобрели статус и значение самостоятельных частей речи, ср., например, имена прилагательные и их вторичные функциональные формы: *qyzyl* «красный» (атрибутивно-определятельная форма), *qyzyllyq* «краснота» (вторичная субстантивная форма), *qyzylşa* «красно, красновато» (вторичная атрибутивно-обстоятельная форма) или наречие и его вторичные субстантивную и атрибутивно-определятельную формы: *endi* «теперь» (обстоятельная форма), *endigi* «теперешний» (определятельная форма), *endigilik* букв. «теперешность» (субстантивная форма).

Вместе с тем соотношение этих частей речи как образовавшихся из соответствующих функциональных форм предметно-качественного имени должно быть отражено и в структуре частей речи и по крайней мере связано хотя бы порядком следования наречия в изложении непосредственно вслед за именем существительным и прилагательным как исторически представляющего собой одну из функциональных форм единой прежде части речи — предметно-качественного имени.

Что же касается имен числительных или местоимений, то они составляют особые, самостоятельные разряды лексики внутри имен как имена, имеющие свои первичные функциональные формы, а следовательно, по своей структуре как бы соответствуют структуре всех предметно-качественных имен.

Подобную же структуру функциональных первичных форм имеет, как мы видели, и глагол, реализуясь в составе предложения и словосочетания в форме масдаров, т. е. субстантивных форм на *-maq/-mek*, *-yš/-ış*, *-uw/-üw*, в форме причастий т. е. атрибутивно-определятельных формах на *-ğan/-gen*, *-mış/-miş*, *-ar/-er*, *-r* и в форме деепричастий, т. е. атрибутивно-обстоятельных формах на *-al/-e*, *-j*, *-up/-ip*, *-p* и др.

Таким образом, всю систему частей речи в тюркских языках можно представить на примерах из каракалпакского языка в следующей схеме (С = Субстантивные формы; А, 1 = Атрибутивно-определятельные формы и А, 2 = Атрибутивно-обстоятельные формы).

I. Имена: 1) существительные (С. *qys* «зима»; А, 1. *qysqu* «зимний»; А, 2. *qysyn* «зимой»); 2) прилагательные (С. *qyzyllyq* «краснота»; А, 2. *qyzyl* «красный»; А, 2. *qyzylşa* «красно, красновато»); 3) наречия (С. *endigilik* «теперешность»; А, 1. *endigi* «теперешний»; А, 2. *endi* «теперь»); 4) числительные (С. *eki* «два», *ekew* «двое»; А, 1. *ekinşi* «второй»; А, 2. *ekiser* «по два»); 5) местоимения (С. *men* «я»; *öz* «сам»; *kim* «кто»; А, 1. *meniñ* «мой»; *bu* «этот»; *myndañ* «такой»; А, 2. *meniñşe* «по-моему»; *bylañ* «этак»; *myñşa* «столько»);

II. Глаголы: 6) глагольные функциональные формы (С. *alıw*, *alys* «взя-

тие»; А, 1. *alʔan* «взявший»; *alar, alʔaj* «долженствующий взять»; А, 2. *alʔp* «взяв»; *ala* «беря»);

III. Междометия и подражательные слова: 7) междометия и мимемы (С. *axlaw* «ахание»; *laŋlaŋlaw* «мигание»; А, 1. *axlaʔan* «ахавший»; *laŋlaŋlaʔan* «мигавший»; А, 2. *axlap* «ахав»; *laŋlaŋlaʔaj* «мигая»);

IV. Служебные слова: 8) частицы: *-ʃy/-ʃi* «же»; *al-ʃy* «возьми же»; *my/mi* «ли»; *sen mi?* «ты ли?»; 9) послелогии: *uʃyn* «для», *dejin* «до»; 10) союзы: *ʒana* «и»; *biraj* «но».

Как видно из схемы, особое положение в частях речи занимают междометия и образопоподражательные слова — мимемы, которые в функциональном плане реализуются либо в качестве особого типа высказывания, либо подвергаются своеобразной трансформации и из сферы непосредственного выражения эмоций или выражения звуко- или образопоподражания переходят в сферу грамматических понятий, в этом случае реализуясь в соответствующие функциональные формы, главным образом, глагольного словообразования.

Что же касается служебных слов, т. е. частей речи: частиц, послелогов и союзов, то они, как правило, не имеют своих функциональных форм, хотя в отдельных случаях, окказионально, могут субстантивироваться, например: *seniŋ hām ... hāmıŋni qoj!* «оставь свои и....и....!».

Итак, в классификации частей речи мы должны учитывать сущность самого слова как единства выражения в нем, с одной стороны, его лексико-семантических категорий, т. е. его реального значения предмета, качества, количества, действия, состояния, а с другой — его функциональных категорий, т. е. его роли в составе предложения и словосочетания. Те и другие категории выражены также двумя различного типа системами словообразования и общей для всех, независимо от характера знаменательных частей речи и их функциональных субстантивных и атрибутивно-определятельных функциональных форм, — общей системой словоизменения.

Таким образом, при учете в классификации частей речи двух координат их рассмотрения — семантики и функции образуется как бы перекрещивающаяся классификация всего словарного состава и его словообразовательных моделей, с одной стороны, на десять, двенадцать, в зависимости от конкретного языка, семантических классов — частей речи, а с другой стороны, на три типа функциональных форм, общих по своему функциональному значению для всех знаменательных частей речи.

Вместе с тем как части речи, так и их функциональные формы находятся в каждом языке в процессе постоянного развития. Так, если предметно-качественные имена в современных тюркских языках из своих функциональных форм субстантивов, атрибутов субстантивов и атрибутов признаков образовали три самостоятельные части речи: существительное, прилагательное и наречие со своими вторичными функциональными формами, то глагол в современных тюркских языках имеет ту же тенденцию образовывать три самостоятельные части речи: масдары, причастия и деепричастия, также со своими вторичными функциональными формами для субстантивных и атрибутивно-определятельных форм.

Следовательно, состав частей речи и их функциональных форм, находящихся в постоянном процессе развития и совершенствования, не является постоянным, единым и общим для всех языков, но определяется для каждого периода развития структуры и типологии каждого конкретного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1757.
2. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1868.
3. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. Харьков, 1888; Т. III. Харьков, 1899; Т. IV. М.—Л., 1941.
4. Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. Лекции. М., 1897—1898.
5. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М.—Л., 1941.
6. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938.
7. Щерба Л. В. О частях речи в русском языке.— Русская речь, 1928, № 2.
8. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.

9. *Hjelmslev L.* Principes de grammaire générale. Copenhague, 1928.
10. Русская грамматика. Т. I—II. М., 1980.
11. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1952; Т. II. М., 1954.
12. *Казембек А.* Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839; 2-е изд. Казань, 1846.
13. *Bohtlingk O.* Über die Sprache der Jakuten. St. Petersburg, 1851.
14. *Radloff W.* Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. 2-te Folge. St. Petersburg, 1899.
15. *Мелиоранский П. М.* Краткая грамматика казак-киргизского языка. Ч. 1. Фонетика и этимология. СПб., 1894; Ч. 2. Синтаксис. СПб., 1897.
16. *Bang W.* Studien zur vergleichenden Grammatik der Türkssprachen. Berlin, 1911.
17. *Deny J.* Grammaire de la langue turque. Paris, 1920.
18. *Grønbech K.* Der türkische Sprachbau. Kopenhagen, 1936.
19. *Németh J.* Türkische Grammatik. Berlin, 1917.
20. *Гордлевский В. А.* Грамматика турецкого языка. М., 1928.
21. *Дмитриев Н. К.* Грамматика башкирского языка. М., 1948.
22. *Кононов А. Н.* Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956.
23. *Дыренкова Н. П.* Грамматика ойротского языка. М.—Л., 1940.
24. *Боровков А. К.* О частях речи в тюркских языках.— Революция и письменность, 1936, № 2.
25. *Батманов И. А.* О частях речи в киргизском языке. Фрунзе, 1936.

СПИВАК Д. Л.

ЛИНГВИСТИКА ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лингвистика измененных состояний сознания представляет собой новую, динамично развивающуюся область языкознания. Дело в том, что именно в подобных состояниях сознания анализ закономерностей естественной речевой деятельности становится особенно эффективным. К измененным состояниям сознания следует отнести состояния стресса и переутомления, особенно в условиях напряженной работы или тяжелой природной среды; состояния тревоги и страха либо сильного волнения и радости при нарушении привычных жизненных стереотипов или резком изменении жизненной обстановки и т. п. Для изучения этих процессов можно использовать, в частности, данные состояния людей, с лечебной целью принимающих психофармакологические средства, что подразумевает искусственно вызываемые измененные состояния сознания.

Проводимое большим количеством научных коллективов изучение измененных состояний сознания стало в последние годы приоритетным направлением в изучении мышления. С 1973 г. в США издается международный «Журнал измененных состояний сознания» [1], библиографические перечни насчитывают тысячи трудов по этой теме [2], получившей особенно динамичное развитие после международного симпозиума по измененным состояниям сознания (Торонто, 1978) [3]. В настоящее время ученые восьми европейских стран и США проводят совместный крупномасштабный проект «Международное исследование измененных состояний сознания» (сокращенно ISASC) [4].

Языковой материал, собранный к настоящему времени по данной проблеме, весьма обширен, но в то же время рассеян по сотням публикаций в пределах десятка различных наук — от психологии до реаниматологии. Отметим, что осмысливая полученный языковой материал, исследователи нередко преувеличивают специфичность отдельных состояний сознания. Так, согласно мнению даже ведущих теоретиков в данной области, в принципе возникает столько новых «наук» и метаязыков описания, сколько есть измененных состояний [5, 6]. В пределах же каждого из последних язык настолько прозрачно передает структуры мышления, что их можно легко установить на основе языка, не опасаясь искажений [7]. Подчеркнем, что такой подход ведет к отрыву наук о мышлении от аппарата современной теоретической лингвистики, что неизбежно влечет за собой возникновение противоречий и осложнений при попытках обобщения языкового материала. Поучительно наблюдать, как при анализе измененных состояний сознания появляются уже встававшие перед языкознанием проблемы, в частности, затруднения, возникавшие в свое время перед классической лингвистикой.

Следует вместе с тем признать, что в рамках лингвистики не проводилось попыток разобраться в этом хаосе эмпирических наблюдений. Так, даже упоминание о проблемах языка при измененных состояниях сознания отсутствует в авторитетных компендиумах психолингвистики, выпущенных под редакцией Т. Себеока (1974), Х. Хальбе (1976), Дж. Мортон и Дж. Маршалла (1977), Ф. Экмана (1977), Д. Фосса и Д. Хейкса (1978), Ж. Придо (1980), Ш. Розенберга (1982), а также известном курсе Д. Слобина (русский перевод — 1976 г.), издаваемом Т. Слама-Казаку «Международном журнале психолингвистики».

Задачей настоящего обзора лингвистики измененных состояний сознания является последовательное обобщение полученных в данной области результатов с позиций советского теоретического языкознания. Отметим, что научный приоритет в изучении проблем языка при измененном сознании принадлежит ученым нашей страны. В частности, сам термин «лингвистика измененных состояний сознания», разработка предмета и методов этой дисциплины впервые были введены и обоснованы именно в советском языкознании [8].

Основной практической потребностью, стимулирующей изучение языка при измененных состояниях сознания, является предсказание их характера и степени глубины при деятельности человека в необычных условиях. Здесь имеется в виду как прогнозирование при массовом отборе людей для работы в условиях холода, высокогорья, подводной среды и в условиях смещенных пространственно-временных и информационных стереотипов (например, в океане или в космосе), так и задача определения степени нервно-психической устойчивости у конкретных людей с целью улучшения производительности труда и облегчения климатической и социальной адаптации. Важным принципом этих исследований, содержательно развитых в советской науке о мышлении, является положение о диалектическом характере отражения последним объективной реальности, выражающемся в работе сложного, социально обусловленного механизма адаптации познающих структур по отношению к познаваемому [9]. В целях массовости и скорости обработки результатов практика требует создания для эффективного прогноза протекания измененного состояния языкового теста, выявляющего на основе нормальной речи испытуемого тип естественно возникающего у него в сложных условиях измененного состояния.

Изучение языка при таких состояниях имело исходным пунктом идеи группы исследователей, пришедших в 20-х годах к выводу о связи отношения частоты встречаемости отдельных частей речи со степенью эмоциональной устойчивости человека [40]. Проведенные позднее в различных странах во время природных и других катаклизмов наблюдения указали на наличие целого комплекса характерных изменений языка, к которым можно отнести также увеличение доли синтагматических ассоциаций и числа устойчивых словосочетаний [41]. Важным объектом изучения, на котором были проверены такие наблюдения, стала речь операторов-специалистов, занятых особо ответственным и эмоционально-напряженным трудом. Такие исследования наметили положения о значительном росте в состоянии стресса частоты встречаемости устойчивых словосочетаний, эмоционально-значимых слов, увеличения числа глаголов при уменьшении числа существительных и прилагательных, а также возможной перестройке синтаксической структуры высказываний и тема-рематического единства речи [12]. Большая группа исследований была посвящена восприятию и порождению речи оператором в условиях затрудненного восприятия (шума). В морфологическом плане устойчивость при возникающих здесь состояниях сознания обнаружили формы существительных в именительном падеже и глаголов в активном залоге, в лексическом плане — высокочастотные слова, в синтаксическом — нераспространенные простые предложения [14]. Основным звеном, вокруг которого группировались перестройки языковой структуры, оказался глагол в предикативной функции [13]. В условиях применения других методов изменения сознания (лишение сна [15], нарастание темпа речи, синхронно переводимой испытуемым с родного языка или на родной язык [16]) отмечались в принципе сходные закономерности, к сожалению, весьма слабо доказанные в количественном отношении. Не всеми исследователями выделялись какие-либо стадии изменения языка в процессе углубления измененного состояния, что, возможно, было связано с неодинаковой глубиной и размахом стрессовой ситуации. Вместе с тем при тенденции к выделению таких уровней полученная картина была нетривиальна. Так, при переходе от легкого утомления к среднему устойчиво наблюдался этап временного улучшения языковых характеристик, не получивший пока удовлетворительного объяснения [16, 17].

Таким образом, при углублении измененного состояния сознания язык проявлял тенденцию к выявлению согласованных изменений основных уровней своей структуры. С целью углубленного исследования этих закономерностей полезно рассмотреть процессы засыпания и пробуждения при естественном сне и гипнозе [19]. Применяемые здесь методики включали как регистрацию с помощью магнитофона спонтанной речи засыпающего испытуемого [18], так и проведение психолингвистического теста непосредственно после пробуждения многократно в течение ночи. Наиболее конструктивные результаты были получены на этом материале группой психолингвистов, установивших, что чем быстрее испытуемый просыпался и переходил к нормальному состоянию, тем меньше в регистрируемой сразу вслед за этим спонтанной речью было простых нераспространенных предложений, прямо относящихся к содержанию предшествующего сна [20]. Такие наблюдения при их сопоставлении могут подтверждать связь некоторых важных структур типа простых предложений или генерализованных слов с уровнями сознания, а также неслучайный характер основных выделяемых по данным языка типов присущих испытуемому измененных состояний сознания [12]. Таким образом, была нащупана эмпирическая основа для языковой типологизации измененных состояний сознания. Повышение эффективности последней возможно лишь при теоретическом осмыслении построения наиболее глубоких уровней языковой способности.

В рамках естественно возникающих измененных состояний сознания такую возможность могут дать лишь процессы естественного старения и умирания организма. Результаты немногочисленных экспериментов, которые были здесь проведены, показывают, по нашему мнению, структурное единство с отмеченными выше закономерностями: в речи таких испытуемых убывает частота встречаемости существительных и прилагательных, союзов и предлогов, в пользу известного повышения частоты устойчивых словосочетаний-«штампов», местоимений, наречий и частиц, уменьшается средняя длина слова и предложения, происходят глубокие изменения в способах выражения предикативности [21; 22, с. 301].

Таким образом, сопоставительный анализ результатов ряда конструктивно поставленных психолингвистических экспериментов способен обнаружить в них черты системной общности, хотя многие авторы сводят дело то к действию локальных зон мозга, то к доминации эмоционального фактора, а зачастую — и к спонтанным, непредсказуемым изменениям языковой структуры. Предположение о едином, вызванном разной степенью глубины измененного состояния процессе диссоциации языка позволяет ранжировать все эти состояния — от легкого утомления до комы — по чисто лингвистическим критериям и сделать последовательными полученные в этих экспериментах данные. Как видим, для этого не понадобилось изобретение каких-либо новых «наук», а такие хорошо разработанные в языкознании универсальные проблемы, как взаимная обусловленность и онтологическая иерархичность всех уровней языковой структуры, еще раз обнаружили свою научную достоверность и ценность [23]. Важной чертой, отличающей лингвистику измененных состояний сознания, следует считать то, что в отличие от изучения афазии, детской речи и пр., исследовалась совершенно нормальная, полностью сформировавшаяся речевая способность, лишь поставленная в благоприятные для выявления ее особенностей условия, встречающиеся, впрочем, в жизни каждого человека довольно часто, — ведь каждому приходится сильно волноваться, мерзнуть, засыпать и т. д.

Преимуществом подхода к уровням языка с точки зрения измененных состояний является и то, что их лингвистическая типология примерно совпадает с типологиями, построенными с помощью методов других наук (физиологии, электроэнцефалографии и т. д. [24]). Поскольку язык является наиболее репрезентативным средством реализации мышления, такое положение способно поставить лингвистику на ведущее место в числе наук, изучающих измененные состояния сознания. Как нам представляется, лишь такое отношение было бы методологически обоснованным в свете

примата высших, обусловленных социумом характеристик и функций языка [25].

Как известно, важным принципом действия мозга является сохранение в свернутом виде как пройденных в развитии данного человека этапов (онтогенез), так и этапов, пройденных в развитии социума вообще (филогенез). Поскольку в условиях измененных состояний сознания высвобождаются и доступны наблюдению глубокие филогенетически древние уровни мозга, можно сделать предположение о соответствиях этому процессу и в языке. С одной стороны, материал измененных состояний сознания представляется здесь важным именно потому, что такие уровни просматриваются непосредственно, с испытуемым можно успешно общаться, используя лишь языковые структуры данного глубинного уровня. С другой стороны, поскольку нельзя исключить появления архаичных, типологически далеких образований, при анализе этого нового материала снова встает проблема адекватного описания при полевом наблюдении языка, поставленная, к примеру, во всей ее сложности в рамках дескриптивизма. Обсуждаемые в лингвистике еще со времен А. Шлейхера связи онтогенеза языка с его филогенезом расцениваются в общем положительно, если восстановление архаичных, глубинных уровней языка проводится на материале культурологических универсалий и данных детской речи [18].

Разумеется, возможности языковой реконструкции на материале измененных состояний имеют свои границы. Здесь могут быть выявлены лишь латентно присутствующие, сохранившие хотя бы в небольшой степени свою роль филогенетические структуры языка. Весьма плодотворной в этом плане нам представляется высказанная в современном языкознании гипотеза о своеобразной «глубине», внутренней «диахроничности» статистики языка в каждый момент времени именно за счет неявного присутствия в синхронии продолжающихся уже долгое время и еще не завершившихся изменений [26]. Дополнительным тезисом в пользу такой точки зрения могут служить результаты исследования периферийных стилей языка, употребляемых часто в измененных состояниях сознания. Сюда относится исследование бранной лексики с характерными для нее грамматическими структурами (см. анализ около 100 языков — [27]), реликтовых сакральных языков некоторых народностей [28], а также определенных черт исчезающего в рамках билингвизма субстратного языка [29]. Всем этим стилям присущи «сжатие» лексики до небольшого ядра высокочастотных, актуализируемых в конкретных ситуациях по-разному лексем, высокая частота устойчивых словосочетаний, архаичность способов выражения предикативности и пр.

Можно ли сказать, что закономерности изменений языка сводятся к небольшому набору приведенных выше разрозненных фактов? Очевидно, существо дела не ограничивается только ими. Так, относительная частота словосочетаний-«штампов» — скорее удобный индикатор поведения ряда уровней языка в их взаимодействии, чем подлинно глубинная структура. Кроме того, эти показатели были специально выделены нами из комплекса полученных разными исследователями данных. Естественно, что для каждого измененного состояния сознания эти простейшие универсалии дополняются богатым набором зачастую весьма неожиданных и своеобразных явлений языка. Что касается этой лингвистической проблематики, наиболее корректным нам представляется их изучение на материале искусственно вызванных измененных состояний сознания, поскольку именно здесь они могут продуцироваться многократно и иметь любую интересующую экспериментатора глубину.

Прежде чем перейти к этому предмету, заметим, что изучение измененных состояний сознания все же побуждает внести некоторые коррективы в традиционные для лингвистики положения. Примером могут служить сосюрговские антиномии. Внешняя среда воздействует на языковую способность при измененных состояниях настолько сильно и органично, что здесь представляется нецелесообразным для анализа языка деление на внутреннюю и внешнюю лингвистику. Проблема выявления архаичных слоев языка, еще влияющих на поверхностный уровень, возможна лишь

при принципиальном объединении диахронии и синхронии, также противопоставляемых Соссюром. Однако и здесь методологически обоснованным представляется не построение новых моделей, а скорее смена точки зрения. В данном случае наиболее плодотворным для теории нам представляется возврат в новых условиях и с современных методологических предпосылок к антиновиям В. Гумбольдта. Следует заметить, что на качественно другом материале к сходным выводам приходят ведущие коллективы, работающие в области инженерной лингвистики [30]. В свете выдвинутого этим направлением принципа имитации естественного языка в рамках искусственного интеллекта [30, 31] назревшим и конструктивным представляется системное сопоставление результатов инженерно-лингвистических работ с предметом настоящего обзора.

Переходя к искусственно вызываемым измененным состояниям сознания, следует напомнить, что они продуцируются с помощью фармакологических средств, воздействующих на организм в целом, имитируя необычные условия существования. Отдельные психолингвистические наблюдения на единичных примерах проводились до 70-х годов [32], однако последовательное изучение языка в этих условиях происходит лишь в последние годы [8]. Наиболее достоверными здесь можно считать результаты, полученные при исследовании запоминания слов и предложений. Ряд приведенных с помощью различных психофармакологических средств опытов позволяет отделить воздействие измененного состояния сознания на наблюдаемые перестройки в функционировании языковой памяти от влияния артикуляционного аппарата [33], семантико-мотивационных компонент мышления [34], долгосрочной образной памяти [35], речи самого экспериментатора [36] и т. д.

В ходе этих исследований ученые натолкнулись на присущий всем видам измененных состояний сознания, но не объясненный до сих пор науками о мышлении феномен так называемой «разрывной» памяти. Сущность этого явления состоит в том, что языковые структуры, усвоенные испытуемым при измененном состоянии сознания, практически не воспроизводятся или порождаются им с трудом при нормальном состоянии. Зато если его погрузить снова в измененное состояние, весь усвоенный материал будет без искажений воспроизведен [см. 37]. Таким образом, связанная с языком память отчетливо делится на зоны, весьма слабо соотносимые между собой и действующие попеременно, в зависимости от состояния сознания. Большое количество доказательных исследований, проведенных в этой области к настоящему времени, позволяет считать существование «разрывной» языковой памяти научно обоснованным практически для всех измененных состояний сознания [38—40]. Специальные синтаксические исследования, проведенные на материале «разрывной» памяти и затронувшие такие важные явления, как склонность испытуемого к использованию сложных конструкций или к предпочтению определенного порядка в расположении членов предложения, позволяют говорить о том, что не только языковая память, но и все структуры языка в полной мере участвуют в этом феномене [41].

Некоторые загадочные проблемы «разрывной» памяти могут, по нашему мнению, быть решены лишь на основании теоретико-лингвистического подхода. Так, прослеживаемые при использовании разных психофармакологических веществ типы «разрывной» памяти различаются довольно сильно. Нужно ли вводить особый тип такой памяти для каждого вещества? В литературе высказана, но не обоснована точка зрения, согласно которой следует говорить лишь о различных глубинных уровнях измененного состояния сознания, до которых мышление испытуемого «опускается» при воздействии каждого фармакологического вещества, а разным таким уровням уже действительно присущи свои типы «разрывной» памяти [42]. Для доказательства такого положения необходимо исследование взаимодействия семантических и логических компонент мышления, возможное лишь при помощи лингвистических методов, что повышает интерес к лингвистической методике со стороны представителей других наук.

Затронутая здесь тема приобретает принципиальное значение в связи с ростом в развитых промышленных странах числа людей, находящихся в неглубоких, но постоянных измененных состояниях сознания. Здесь имеются в виду лица, систематически употребляющие в значительных дозах алкоголь, снотворное, транквилизаторы, стимуляторы, а также находящиеся в условиях загрязненной окружающей среды. С учетом этих факторов доля лиц, систематически находящихся в измененных состояниях сознания небольшой глубины, может составить, по мнению специалистов, до трети крупной городской популяции [43, 44]. Нужно подчеркнуть, что также для курящих многие из описанных выше явлений, включая и «разрывную» память, можно считать достоверно доказанными [45]. Если подсчеты специалистов справедливы, то речевая деятельность, обнаруживающая воздействие измененных состояний сознания, может становиться весьма распространенным явлением, а присущие ей черты «грамматики» измененных состояний сознания активно воздействуют на традиционные механизмы языковой эволюции.

Таким образом, последовательный лингвистический анализ способен обнаружить в работах, на первый взгляд затрагивающих специфичные и не принадлежащие компетенции языкознания явления, черты системной общности, связанные с построением глубинных уровней языковой способности. Поэтому можно считать целесообразной и назревшей постановку массового эксперимента, обобщающего (на основе изучения всех типов естественно возникающих или искусственно вызванных измененных состояний сознания) закономерности построения основных уровней языка. Согласование результатов такого эксперимента с достижениями различных наук, изучающих мышление, может способствовать составлению конкорданса всех полученных ранее по различным методикам данных о языке при измененном состоянии сознания. В таком эксперименте, поставленном автором на материале речи около полутора тысяч человек, где основным принципом был принят строго лингвистический подход, были обоснованы ведущие закономерности языков номинативного и эргативного типов при измененных состояниях сознания и начато лексико-грамматическое описание языковой структуры основных глубинных уровней русского языка [46]. Работа проведена в рамках системы массового отбора, функционирующей на базе АН Киргизской ССР под руководством В. И. Медведева и А. А. Айдаралиева при участии Р. Курманалиевой. На этой основе были сформулированы основные принципы теоретического построения лингвистики измененных состояний сознания и составлен тест для прогноза по данным речи характера приспособления испытуемых к необычным условиям существования. В настоящее время тест внедрен в практику (например, при отборе участников 28 Советской Антарктической экспедиции [см. 47]) и обнаружил большую эффективность сравнительно с пользующимися заслуженным авторитетом физиологическими методиками.

Переходя к перспективам лингвистики измененных состояний сознания, возможно разделить их на непосредственные и более отдаленные. К первым целесообразно отнести дальнейшее углубленное изучение многоуровневой структуры языка при этих состояниях и их сопоставление с результатами сравнительно-исторических, типологических и инженерно-лингвистических исследований. В практическом плане можно ожидать продолжения широкого внедрения основанных на таком подходе лингвистических тестов в систему массового отбора людей для работы в необычных условиях существования.

Более отдаленная перспектива связана с анализом составления и восприятия текстов, предполагающих воздействие на глубинные уровни сознания слушателя или читателя. Так, некоторые специалисты по средствам массовой информации уже начали работу над наиболее эффективной структурой текстов сообщений о надвигающихся природных катаклизмах, где нужно представить информацию максимально быстро и убедительно, но не создавая паники [48]. Еще одна задача — составление теста, при помощи которого врач проводит сеанс психотерапии,

где особенно важно воздействие на самые труднодоступные слои сознания [49]. Наконец, дополнением к филологическому анализу некоторых литературных жанров — прежде всего поэзии — может быть исследование текстов, авторы которых при их написании находились в искусственно вызванном измененном состоянии сознания [50], а прежде всего — весьма давней проблемы воздействия ритма и метра на глубинные уровни сознания [51] и выделение таких элементов стихосложения, как латентное склонение или анаграммы, которые преимущественно связаны с этими уровнями.

Приведенные результаты позволяют считать целесообразным и обладающим практической значимостью дальнейшее развитие лингвистики измененных состояний сознания как части теоретического языкознания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Journal of altered states of consciousness. New York, 1974 и сл. (с 1981 г. название журнала изменено).
2. Brown D. et al. Selected bibliography of readings in altered states of consciousness in normal individuals.— International journal of clinical and experimental hypnosis, 1977, № 4.
3. Meadow M. et al. Spiritual and transpersonal aspects of altered states of consciousness: a symposium report.— Journal of transpersonal psychology, 1979, № 1.
4. Dittrich A. et al. ISASC. Tl. 1 — Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen. Zürich, 1981, № 3, S. 189 ff.; Tl. 2 — Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen, 1981, № 3, S. 201 ff.; Tl. 3 — Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie, 1982, № 2.
5. Tart Ch. States of consciousness and state-specific sciences.— Journal of altered states of consciousness, 1975, № 1, p. 93.
6. Fischer R. On images and pure light.— Journal of altered states of consciousness, 1977—1978, № 3, p. 211.
7. Leikas L. et al. Self-descriptions of problem drinkers.— Journal of altered states of consciousness, 1979—1980, № 1.
8. Спивак Д. Л. Лингвистическая типология искусственно вызываемых состояний измененного сознания. Сообщение 2.— Физиология человека, 1983, № 1, с. 152—153.
9. Философские проблемы теории адаптации. Под ред. Царегородцева Г. И. М., 1975, с. 139.
10. Шевцара Ч. и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978 с. 195.
11. Связищ А. М. Неврозы и их лечение. М., 1959, с. 179—190.
12. Носенко Э. Л. Попытка системного подхода к анализу речи в состоянии эмоциональной напряженности.— Психологический журнал, 1980, № 6, с. 54—59.
13. Луцких И. М. Семантическая маскировка речевых сообщений при многоканальном приеме.— В кн.: Тезисы VI Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1978, с. 114—115.
14. Штерн А. С. О возможности расширения гипотезы Якобсона.— В кн.: Тезисы VIII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1982, с. 140.
15. Glenville M. et al. Reliability of the Stanford sleepiness scale compared to short duration performance tests and the Wilkinson auditory vigilance task.— Pharmacology of the states of alertness. Ed. by Passouant p. et al. Oxford, 1979, p. 236—238.
16. Vamling K. Experiment med simultantolkning.— Praktisk lingvistik, 1982, № 7.
17. Вейн А. М. О роли полушарий головного мозга в реализации адаптивных механизмов у человека.— Журнал высшей нервной деятельности, 1982, № 6, с. 1165.
18. Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семантики в СССР. М., 1976, с. 121—122, 257.
19. Solano L. et al. La comunicazione nei soggetti psicosomatici in funzione dello stato di coscienza e di interazione.— Archivio di Psicologia neurologia e psichiatria, 1981, № 2.
20. Cipolli C. et al. Memory processes involved in morning recall of mental REM-sleep experience: a psycholinguistic study.— Perceptual and motor skills, 1981, № 2.
21. Будза В. Г. Особенности речевой продукции при сенильной деменции.— Журнал невропатологии и психиатрии, 1982, № 12.
22. Hackett Th. et al. Reactions to the imminence of death.— In: The threat of impending disaster. Ed. by Grosser G. et al. Cambridge, 1964.
23. Климов Г. А. Принципы континентальной типологии. М., 1983, с. 164.
24. Fromm E. Primary and secondary process in waking and in altered states of consciousness.— Journal of altered states of consciousness, 1978—1979, № 2, p. 118.
25. Панфилов В. З. Языки как предмет языкознания. Общественная природа языка.— В кн.: Онтология языка как общественного явления. М., 1983, с. 19 и сл.
26. Степанов Г. В. Введение.— В кн.: Грамматика и семантика романских языков (к проблеме универсалий). Под ред. Степанова Г. В. М., 1978, с. 5—6, 16.
27. Gregersen E. Sexual linguistics.— Annals of the New York Academy of sciences, 1979, v. 327.

28. *Dixon R.* A Grammar of Yidin. London, 1977, p. 504.
29. *Dorian N.* Language death. The Hague, 1977, p. 9—19, 55—69.
30. *Пиотровский П. Г.* Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979, с. 56, 100—101.
31. *Hill D.* Spoken language generation and understanding by Machine; a Problems and Applications Oriented Overview.— In: Spoken language generation and understanding. Ed by Simon J. Dordrecht, 1980, p. 29.
32. *Bronowski J.* Language in a biological frame.— In: Current trends in linguistics. Ed by Sebeok Th. V. 12. The Hague, 1974, p. 2541.
33. *Borden G.* The effect of mandibular nerve block upon the speech of four-year-old boys.— Language and speech, 1976, № 2, p. 173.
34. *Максименко Т. В.* Влияние транквилизаторов на кратковременную память у больных с пограничными формами нервно-психических расстройств.— Журнал невропатологии и психиатрии, 1983, № 5, с. 740.
35. *Solomon S. et al.* Impairment of memory function by antihypertensive medication.— Archives of general psychiatry, 1983, № 10, p. 1110.
36. *Natale M. et al.* The effect of psychotomimetics on therapist — patient matching of speech «Rhythms».— Journal of communication disorders, 1979, № 1.
37. *Goodwin G. et al.* Alcoholic «blackouts»: a review and clinical study of 100 alcoholics.— American journal of psychiatry, 1969, № 2, p. 191—198.
38. *Jensen H. et al.* Amnesic effects of diazepam: «drug dependence» explained by state-dependent learning.— Scandinavian journal of psychology, 1982, № 2.
39. *Weingartner H. et al.* Acquisition and Retrieval of information in amphetamine-treated hyperactive Children.— Psychiatry research, 1982, № 1.
40. *Leight K. et al.* Emotional mood states, strategies and state-dependency in memory.— Journal of verbal learning and verbal behaviour, 1981, № 3.
41. *Collins P. A.* Comparison of the oral syntactic performance of alcoholic and non-alcoholic adults.— Language and speech, 1980, № 3.
42. Psychologische Beiträge, 1980, № 4.
43. *Брезман И. И.* Философско-методологические аспекты продления здоровья человека.— ВФ, 1982, № 2, с. 50.
44. *Bell R.* Four new approaches to socialization: an evolution of their advantages and disadvantages.— Journal of abnormal child psychology, 1981, № 3.
45. *Peters P. et al.* Cigarette-smoking and state-dependent memory.— Psychopharmacology, 1982, № 3.
46. *Спивак Д. Л.* Язык в условиях измененных состояний сознания.— ВЯ, 1983, № 5.
47. *Спивак Д. Л., Курманалиева Р., Айдаралиев А. А.* Опыт применения лингвистического теста при массовом отборе для работы в экстремальных условиях: Тезисы докладов II Всесоюзного симпозиума «Проблемы оценки и прогнозирования функциональных состояний организма в прикладной физиологии». Фрунзе, 1984, с. 339—340.
48. *Williams H.* Human factors in warning-and-response systems.— In: The threat of impending disaster. Ed. by Grosser G. et al. Cambridge, 1964, p. 85.
49. *Spence D.* Language in psychotherapy.— In: Psycholinguistic research: implications and applications. Ed. by Aaronson D. et al. Hillsdale, 1979.
50. Psychofarmakologia, 1980, s. 16.
51. *Farrell J.* Poetry and altered states of consciousness.— Journal of altered states of consciousness, 1979—1980, № 2, p. 141.

ШАГИРОВ А. К., ДЗИДЗАРЯ О. П.

К ПРОБЛЕМЕ ИНДОАРИЙСКИХ (ПРАИНДИЙСКИХ) ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ

В 1902 г. известный славист-филолог проф. А. Погодин опубликовал статью под названием «К вопросу о влиянии индо-европейских языков на кавказские». Касаясь материала одного из кавказских языков, аварского, автор статьи отмечал: «...не всегда иранские языки оказываются достаточными для объяснения различных арийских элементов... Иногда приходится прибегать к помощи и санскритского словаря. Во избежание каких-либо недоразумений спешу оговориться, что, приведя санскритские слова, я, конечно, не думаю о непосредственных санскрито-кавказских отношениях. Скорее, думается мне, приходится предположить, что в Южной России и около Каспийского моря еще удерживались некоторые арийские говоры, переходные от индийских к иранским» [1].

А. Погодин выделяет по словарю Услара [2] пятнадцать аварских слов, которые, по его мнению, могут иметь индоарийское или индоевропейское происхождение. Автор предлагает девять аварско-древнеарийских сопоставлений: авар. *гъанса* «горная индейка» — др.-инд. *haṇsa* «гусь, лебедь», авар. *цIоко* «козлиная кожа» — санскр. *chāga* «козел», *chāgā* «коза», авар. *йез* — санскр. *ayas* «медь», авар. *рос* «муж» — санскр. *ṛṣabha* «бык, самец», авар. *моуцIуI* — санскр. *mās* «месяц, луна», авар. *нус* — санскр. *snūṣā* «невестка», авар. *ца* — санскр. *danta* «зуб», авар. *бугъа* «бык» — санскр. *bukka* «козел», авар. *цIуIука* «свинья» — санскр. *sūkara-* «боров».

Часть сближений А. Погодина (третье, пятое, седьмое и восьмое), как кажется, должна быть отклонена.

Авар. *йез* «желтая медь, бронза», несомненно, заимствовано из тюркских языков и отражает йотовый вариант тюркского слова, ср. башк., ногайск., кумык. *ез*, чуваш. *йес* «желтая медь, латунь, бронза» при карач.-балк. *джез*, уйг. *джес* и др. Из тюркских языков лексема проникла и в другие северокавказские языки: чеч. *ез*, ингушск. *гез*, дарг. *йаз*, андийск., бежтинск., цахурск. *йез*, абх. *а-джъаз*, абаз. *джъаз*, убых. *джъаз*, адыгейск. *джэрз*, каб. *жэз* «латунь, желтая медь». В самих тюркских языках название желтой меди (латуни, бронзы) одни исследователи признают возможным заимствованием¹, другие пытаются разъяснить на алтайской почве как производное (корень + аффикс) слово [3].

Из тюркских языков идет и авар. *бугъа* «бык, бугай», ср. тюрк. (азерб., к.-калп., гагауз., карач.-балк. *буга* «то же») ². К тюркскому источнику восходит также адыгейск.-убых. *быгъуы* «бык-производитель, бугай».

Авар. *моуцIуI* на правах исконного наследия не отделяют от андийск. *боруцIуIи*, лакск. *барз*, арчинск. *бацц*, дарг. *бадз*, лезг. *вардз*, табас. *вадз*, агул., рутул., цахурск. *ваз*, чеч. *бутт* (ср. также абх. *а-мза*, убых. *мыдзэ*, адыгск. *мазэ* «луна, месяц») [5, с. 82—83]. На почве северокавказских языков в лексеме как будто бы допустимо видеть префиксальный словообразовательный элемент [6, А-Н, с. 258—259].

Аварскому слову, обозначающему «зуб» (*ца*), закономерно отвечают андийск. *сол*, дарг. *цума*, табас. *селев*, агул. *силев*, рутул. *сылаб*, цахурск.

¹ См.: Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «ж», «џ», «й» (машинопись, словарная статья *йез*). Том находится в производстве в изд-ве «Наука».

² Об этимологии тюркского (алтайского) слова см. в статье К. А. Новиковой [4].

силы, арчинск. *сот*, чеч. *цѣрг* [5, с. 85]. В дагестанских и нахских языках не исключается связь между названием зуба и числительным «один» (авар. *цо*, андийск. *се-*, удин., рутул., цахурск. *са*, лезг., агул., табас. *са-*, арчинск. *ос*) [6, А-Н, с. 210]. Таким образом, и в этом случае нет необходимости обращаться к гипотезе о заимствованиях.

Другие сопоставления А. Погодина представляются нам более или менее правдоподобными. В случае авар. *цІоко* «козья шкура» — санскр. *ṣhāga* «козел», *ṣhāgā* «коза» для семантики ср. лакск. *цІуку* «коза».

Отдельные индоевропеизмы в лексике северокавказских языков отмечал и сам П. К. Услар. В частности, абхазское слово *ейхъа* (< *айхъа*) «железо» он рассматривал как индоевропейское заимствование [7]. Должно быть, имеется в виду санскр. *āyāḥ* «медь, бронза, железо».

С гипотезой А. Погодина перекликаются высказывания О. Н. Трубачева [8, 9]. В статье «О синдах и их языке» О. Н. Трубачев пишет следующее: «...нахождение индоарийцев (праиндийцев) в какой-то момент к северу от Черного моря принимается всеми, в то же время во всем индоевропейском языкознании нет положения более абстрактного, чем это. Одно из проявлений схематизма существующих воззрений на этот счет мы видим в том, что постулируемое разделение индоиранцев на индоарийскую (праиндийскую) и иранскую ветви где-то к северу от Черного моря явно или неявно мыслится как сопровождавшееся полным уходом всех индоарийцев „до последнего человека“ на юго-восток. Так вряд ли было в действительности. В действительности уже а priori следовало допускать сохранение остатков праиндийцев в отдельных районах Северного Причерноморья или даже на положениих слоев, компонентов явно неоднородного скифского общества и соответственно — языка» [8, с. 41]. Ср. также во второй статье: «Поскольку вероятность кавказского пути миграции индоарийцев из Юго-Восточной Европы в Азию была заявлена и обоснована археологически достаточно веско в последние годы..., примат знакомства с Кавказом постулируется именно для индоарийцев (праиндийцев), а не для иранцев и тем более — не для „неразделенных“ индоиранцев, древняя этнолингвистическая чересполосица (диалектная сложность, разделение) которых вероятна уже для Северного Причерноморья» [9, с. 101—102]. Опираясь на археологическую литературу, О. Н. Трубачев отмечает, что «появление в равнинном Дагестане носителей культуры шнуровой керамики индоевропейского типа с катакомбным обрядом погребений и признаками применения колесных повозок в результате распространения со стороны Юго-Восточной Европы в III—II тысячелетиях до н. э. трудно связывать с более поздней волной ираноязычных племен, документируемых в Передней Азии не ранее начала I тысячелетия до н. э.» [9, с. 101].

В связи с рассматриваемой проблемой следует упомянуть работу зарубежного адыговеда Ш. Муфти [10], по мнению которого кавказские языки не связаны между собой генетическим родством. Ш. Муфти полагает, что синды, относившиеся, как он считает, к первым индоарийским переселенцам, которые проникли далеко в Азию, являются древними предками адыгов. Мы, разумеется, не можем согласиться с теорией индоарийского происхождения адыгов, но некоторые из многочисленных древнеиндийско-адыгских лексических сопоставлений автора представляют интерес с точки зрения возможных индоарийских (праиндийских) заимствований в северокавказских языках. К ним можно отнести: др.-инд. *aja* «козел» — адыгейск. *ачъэ*, каб. *ажэ* «козел-производитель», др.-инд. *vasnā-h* «покупная цена» — адыгейск. *уасэ* «цена», др.-инд. *kilā* «клип» — адыгейск. *хъалы* «то же», др.-инд. *sahas* «большой, победоносный» — адыгейск. *шъэджашъ(э)* < *шъэгъашъ(э)* «огромный, громадный», др.-инд. *tapāḥ* «жара» — адыгейск. *тэп* «уголь (горящий)», др.-инд. *snigṣā* «сноха» — адыгейск. *нысэ* «то же» [10, с. 31—34].

Адыгск. *ачъэ/ажэ* с древнеиндийским (санскритским) *aja* до Ш. Муфти сопоставил Ж. Дюмезиль [11, р. 17]. По мнению Г. А. Климова (устное сообщение), сюда же относится *дзы* (бзыб. *дзъы*), *дза* (бзыб. *дзъа*), вычленяемое в абхазском из *а-дзыс* (*а-дзъышъ*) «козленок», *а-дзар* (*а-дзъар*)

«козлята»; последние включают уменьшительный суф. *-с(-иъ)* и суф. со значением собирательного множества *-р(а)*. С адыгск. *уасэ* «цена» одного происхождения абх.-абаз. *а-уаса/уаса* «овца». Для абхазо-адыгского слова кажется более правильным ориентироваться на и.-е. **uos-ā* (**uos-nā*) «цена, стоимость» [6, II-I, с. 88—89]. Фонетически *уасэ/уаса* ближе всего к др.-инд. *vasná-ḥ* «покупная цена». На абхазо-адыгской почве могло произойти выпадение *-п-* (*-н-*) в комплексе *-sn-* (*-сн-*).

Адыгск. *нысэ* «невестка, сноха» неотделимо от чеч., ингушск., бацб., авар. *нус*, арчинск. *нус-ḍ-ур* «то же». Созвучие лексемы с индоевропейским названием снохи (ср. др.-инд. *snusā*, греч. *nuos*, лат. *nurus*, арм. *ни* и т. д.) В. И. Абаев склонен считать неслучайным. По его мнению, оно основано скорее на древних кавказско-индоевропейских связях [12, II]. Можно предположить, что для кавказских языков источником послужило др.-инд. *snusā*. Здесь вполне допустимо выпадение *s-* в комплексе *sn-* (ср. случай с предыдущим словом); интересно, что в двух лексемах комплекс преодолен по-разному.

В адыгских языках имеем слово *уэиъ/уэиъы* «топор-колун», от которого трудно отделить абх. *гуышу* в *аигуышу* «топор с носиком» [13], абаз. *гуашу* «топорик для рубки и очистки хвороста» [14], убых. *гъвсуэ* «топор» [6, II-I, с. 94]. К. Боуда считает лексему (в убыхском и адыгейском) заимствованием из осет. *уэс* «топор» [15]. Б. Х. Балкаров устанавливает между адыгским словом и осетинским обратную зависимость [16]. Осетинское (дигорское) устаревшее *уэс* сопоставляют с санскр. (вед.) *vāśi-* «топор» (устное сообщение В. И. Абаева). Вероятно, абхазо-адыгское слово допустимо увязать с санскр. *vāśi-* независимо от осет. *уэс*.

Адыгейск. *санэ* «вино»³ возводят к скиф. **sana*, осет. *сән/сәннэ*, «то же». Последние на индоевропейской почве связывают с др.-инд. *śana-* «конопля». [12, III]. На наш взгляд, для адыгск. *санэ* необязательно предполагать скифско-осетинский источник. Адыги могли заимствовать лексему из древнеиндийского. Если бы *санэ* было усвоено из осетинского, то в адыгском слове, вероятно, имели бы не *с*, ср. адыгск. *шъоджэн/шэуджэн* «священник» — из осет. *сауджын/саугин* (от *сау* «черный») «то же», каб. *тажъджэ* // *тажъгъэ* «сапед, большой плетеный кузов, который устанавливается на арбе при перевозке, например, кукурузы, картофеля» — из осет. (диг.) *тæскIæ* (в иронском *тæскI*) «корзина, большая корзина».

В случае адыгск. *бысым* «хозяин дома по отношению к временно оставившемуся у него постороннему человеку (постояльцу)» — осет. *фысым/фусун* «хозяин по отношению к гостю; лицо, оказывающее гостеприимство, принимающее гостя» осетинскому *с* в адыгских языках соответствует тоже *с*. В абхазском и абазинском имеем *а-нишума/нишума* «хозяин дома». Осетинское слово неотделимо от авест. *fšūmant-* «владелец скота» и др.-инд. *raśumat-* «богатый скотом». Не исключено, что абхазо-адыгская лексема обязана своим происхождением не осетинскому *фысым/фусун* [17, 18; 6, А-Н, с. 104; 12, I], а древнеиндийскому источнику (с *р* в анлауте).

Название серебра для северокавказских языков является общим: адыгск. *дыжъын/тыжъыны*, абх. *а-радзны*, *а-разны*, абаз. *рызна*, убых. *дэсуэны*, авар. *гIарац*, дарг. *арц*, лакск. *арцу*, табас., агул. *арс*, арч., годоб., ботл. *арси*, чеч. *дети*. Исследователи сравнивают кавказское слово с индоевропейскими названиями серебра (арм. *arcat'*, лат. *argentum*, др.-инд. *rajatam*, авест. *ərəzatəm* и др.), которые на индоевропейской почве этимологизируются как «блестящее» [19—21]. Р. Лафон склонен констатировать для кавказских языков заимствование, не исключая в то же время возможности разьяснения кавказских названий на исконом материале [21, с. 95]. Такая осторожность, однако, едва ли уместна [22, 23].

Северокавказские формы как будто бы ближе к авест. *ərəzatəm*, но с учетом др.-инд. *árjunah* «светлый, белый» (на эту форму наше внимание обратил Г. А. Климов) при *rajatam* [24] можно допустить и тут древнеиндийский источник. Если признать иноязычное происхождение рассматри-

³ В кабардинском *санэ* известно из фольклора как название какого-то хмельного напитка.

ваемого слова, то, разумеется, начальные слоги каб.-адыгейск. *дыжъын/тыжъыны* и абх. *а-радъны* (*а-разны*) нельзя будет выделять в качестве омертвело-классного показателя [25]. Принимая во внимание звуко-соответствие адыгск. *д* ~ абх.-абаз. *р* [26], здесь можно говорить о другом: о материальном единстве *ды-/ты-* и *ра-*.

Ряд индоиранско-северокавказских лексических сопоставлений находим у венгерского ираниста Я. Харматта. По его мнению, удин. *еък* «лошадь» может восходить к индоиранскому **ekwa-*, адыгск. *шы*, абх. *а-чъы*, лакск. *чу* «лошадь» — к протоиранскому или протоиндийскому **eśva-*, **eśva-* (> **aśva-*), лезг. *гъаб* «горсть» — к протоиранскому или протоиндийскому **gabha-* (ср. др.-инд. *gabhasti-*), бацб. *хъачI-* «смотреть» — к протоиндийскому или протоиранскому **kaś-* «то же», чеч.-ингушск. *мар* «муж» — к протоиранскому или протоиндийскому **marya-* («смертный, муж, человек») [27].

Дагестанское название бороды, **мъжур/мъчIур*, Вяч. Вс. Иванов связывает с др.-инд. *śmaśru* «борода» [28].

Нам не кажется чем-то неприемлемым даваемое Ж. Дюмезилем сближение убыхского названия овцы, *бий*, с санскр. *āvi* «то же» [11, с. 17]. Можно предложить еще одно сопоставление такого же характера. В значении «рыболовная сеть» в абхазском и абазинском используется лексема *а-кIама/кIама*. На абхазско-абазинской почве она никак не разъясняется. Возможно, слово восходит к др.-инд. *kaṭa* (< **karta*) «плетенка» [29].

К индоарийскому источнику возводится, судя по всему, и название *Кавказ* [ср. 9, с. 106, 107]. Хотя в самих кавказских языках, в том числе северокавказских, это название не было известно, его индоарийское происхождение может служить подтверждением близкого знакомства индоарийцев (праиндийцев) с Кавказом.

Как можно видеть из сказанного выше, северокавказские слова, связываемые с индоарийскими отношением заимствования, отличаются известным семантическим разнообразием, но являются в основном принадлежностью культурной лексики. Это прежде всего лексемы из области животного мира («горная индейка», «козел», «козел-производитель», «свинья», «лошадь», «овца»). Далее обращают на себя внимание названия орудий и предметов труда («топор», «рыболовная сеть», «железо»). Значительный интерес представляют название вина и лексема со значением цены, стоимости, возводимые к индоарийскому источнику.

Проблему индоарийских лексических заимствований в кавказских языках не следует считать надуманной. Едва ли можно сомневаться, что дальнейшие углубленные научные поиски определенным образом пополнят список возможных индоарийских элементов в лексике кавказских языков.

Свою небольшую статью мы хотели бы закончить словами одного отечественного автора последней четверти XIX в.: «Филологи имеют на Кавказе живой институт языков, не одних только восточных или южных, но и всяких других. В этой области Кавказ может повести к открытиям широкой научной будущности, которые нельзя достаточно оценить. Здесь можно еще откопать такие наречия, которые составляют первобытные ступени развития когда-то общего всем народам Европы арийского языка» [30].

ЛИТЕРАТУРА

1. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 34, отд. IV. Тифлис, 1902, с. 52—53.
2. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык. Тифлис, 1889, с. 107, 159, 176, 208 и др.
3. Цинциус В. И., Бугаева Т. Г. К этимологии названий металлов и их сплавов в алтайских языках. — В кн.: Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979, с. 28—29.
4. Новикова К. А. Названия домашних животных в тунгусо-маньчжурских языках. — В кн.: Исследования в области этимологии алтайских языков, с. 122—123.
5. Trubetzkoy N. Nordkaukasische Wortgleichungen. — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1930, Bd. 37, H. 1—2.
6. Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков. А-Н, П-И. М., 1977.

7. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языковедение. I. Абхазский язык. Тифлис, 1887, с. 132.
- 8.^v Трубачев О. Н. О синдах и их языке.— ВЯ, 1976, № 4.
9. Трубачев О. Н. Indoarica. Этимологии.— Этимология. 1981. М., 1983.
10. Mufti Sh. (*Habžoga*). Die Sprachwissenschaft des Tscherkessischen. Einleitung und Lautlehre. Heidelberg, 1978.
11. Dumézil G. Caucasiqne du Nord-Ouest et parlers scythiques.— Istituto orientale di Napoli. Annali. Sezione linguistica, 1963, V, dicembre 1963.
12. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.— Л., 1958, с. 502; Т. II. Л., 1973, с. 190; Т. III. Л., 1979, с. 67—68.
13. Марр Н. Абхазско-русский словарь. Л., 1926, с. 11.
14. Абазинско-русский словарь. Под ред. Тугова В. Б. М., 1967, с. 133.
- 15.[†] Bouda Ch. Etymologies oubykh.— JA, 1960, t. CCXLVIII, fasc. 2, p. 201.
16. Бакаров Б. X. Адыгские элементы в осетинском языке. Пальчик, 1965, с. 58.
17. Deeters G.— Orientalistische Literaturzeitung. Leipzig, 1935, № 8—9, S. 540.— Rec.: Dumézil G. Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord.
18. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. М.— Л., 1949, с. 74, 88, 315, 337.
- 19.^{*} Klaproth J. Asia polyglotta. Paris, 1831, S. 105.
20. Шрадер О. Сравнительное языковедение и первобытная история. Пер. с нем. СПб., 1886, с. 266—267.
21. Lafon R. Le nom de «l'argent» dans les langues caucasiennes.— Revue Hittite et Asiatique, 1933, II, fasc. 10—11, janvier et avril.
22. Иванов Вяч. Вс. Вероятностное определение лингвистического времени (в связи с проблемой применения статистических методов в сравнительно-историческом языковедении).— В кн.: Вопросы статистики речи (материалы совещания). Л., 1958, с. 66.
23. Kuipers A. H. Proto-Circassian phonology: an essay in reconstruction.— Studia Caucasia. 1. The Hague, 1963, p. 59.
24. Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. 2. Lf. Heidelberg, 1954, S. 50.
25. Рогова Г. В. К вопросу о структуре именных основ и категориях грамматических классов в адыгских (черкесских) языках. Тбилиси, 1956, с. 2.
26. Шагиров А. К. Материальные и структурные общности лексики абхазо-адыгских языков. М., 1982, с. 42, 43.
27. Harmatta J. Proto-Iranians and Proto-Indians in Central Asia in the 2-nd Millennium B. C. (Linguistic Evidence).— В кн.: Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н. э.). М., 1981, с. 79—80.
28. Иванов Вяч. Вс. Прус. Bardoayts, bordus и проблема названий 'борода' в индоевропейском.— Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане: Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983, с. 22.
29. Дзидвария О. П. Морская лексика в абхазском языке: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1983, с. 96—98.
30. Марков Евг. Общий очерк Кавказа в его прошлом и настоящем. Живописная Россия. Т. 9. Кавказ. СПб.— М., 1883, с. XIV.

АДМОНИ В. Г.

ГРАММАТИКА И ТЕКСТ

За последние десятилетия широко распространилось изучение текста с лингвистической, и в частности, с грамматической точки зрения [1—7]. Возникли термины «лингвистика текста» и «грамматика текста». Правда, часто встречаются оговорки, что невозможно свести текст к грамматической единице [4, с. 14]. Но иногда тут же в качестве единиц лингвистики текста и объектов ее изучения рассматриваются не только «сверхфразовое единство (микротекст)», но и целое речевое произведение (макротекст) [4, с. 14].

Поэтому представляется целесообразным заново рассмотреть статус текста в свете общих положений языкознания и, в частности, теории грамматики. Однако в связи с наличием больших расхождений между бесчисленными лингвистиками (или грамматиками) текста здесь будет дано не размежевание с этими концепциями, а систематическое изложение точки зрения автора.

Чтобы определить текст, надо соотнести его с наиболее общей формой проявления языка/речи — с высказыванием. Выделить тексты среди общей массы высказываний можно только формально-функционально, т. к. чисто формальные средства тут амбивалентны: формально одинаковые отрезки речевой цепи могут быть как текстом, так и частью текста. Функционально же, с нашей точки зрения, текст является таким видом высказывания, который рассчитан на воспроизведение — вслух или молча (при чтении или воспоминании)¹. Этим текст принципиально отличается от разового высказывания, которое складывается в момент речи и рассчитано лишь на выполнение ситуативной коммуникативной задачи. Другое дело, что многие разовые высказывания дословно повторяются в речи многократно — но при этих повторениях они всегда возникают все же заново, опираясь на грамматические и лексические (в том числе и фразеологические) средства данного языка, отливаются заново по определенным стереотипам, не приводятся в виде повторения готового речения, в форме цитаты, не являются воспроизведением другого высказывания, специально предназначенного для такого воспроизведения. Достаточно напомнить бесчисленные *Да!* и *Нет!*, возникающие почти в любом спонтанном диалоге, причем именно спонтанно, с опорой на лексическое значение и грамматическое назначение слов — заместителей предложения.

Между тем текст организуется как построение устойчивое, нацеленное на длительное существование, с расчетом (иногда, правда, крайне недостаточным) на воспроизведение (разовое или многократное) в последующее время. При этом должна учитываться как задача воспроизведения текста как цельности, так и необходимость сделать «доходчивым» такое воспроизведение путем его отчетливого членения. Но доходить до воспринимающего текст должен по всей своей когнитивно-речевой конкретности, включая свое лексическое наполнение.

Известная воспроизводимость есть, конечно, и в разовом высказывании. Но воспроизводятся здесь лишь грамматические схемы, создавшиеся в результате длительного исторического развития (с существенными раз-

¹ На исключительную важность этого момента для определения текста уже указывалось [8]. Но в большинстве работ по лингвистике (или грамматике) текста последний понимается просто как завершенная последовательность связанных друг с другом предложений, причем иногда отмечается, что такой последовательностью может быть и одно предложение [9].

личиями между разными языками). Типы предложений и словосочетаний, состоящие из определенных словоформ, располагаются по разным синтаксическим парадигмам. А лексическое наполнение не воспроизводится, но каждый раз определяется заново, исходя из моментальной (хотя бы и весьма типической) коммуникативно-когнитивной установки говорящего. Этому не противоречит и возможность бесчисленных дословных повторений разовых высказываний с тождественным лексическим наполнением. Оно объясняется лишь бесконечной повторяемостью жизненных ситуаций и ограниченностью лексических средств (например, тех же *да* и *нет*).

Итак, строение текста определяется его задачами, а именно — выразить некое определенное концептуально тематическое содержание. Структурирование идет здесь поэтому как бы сверху. Так, в процессе создания текста как цельности определяется разбиение текста (например, научного или художественного) на тома или книги, затем на части, главы и разделы, далее на сверхфразовые синтаксические целые (абзацы) и, наконец, на предложения.

Правда, процесс созидания текста (особенно художественного) может быть совсем иным. Исходным пунктом может послужить отдельная сцена, отдельный образ, единичный эпизод, первоначально оформленный в отдельном сверхфразовом единстве. Но для текста как такового, в его существовании как цельности это значения не имеет. Он существует как иерархическое единство, разбивающееся на все более дробные составные части.

Конечно, тексты воспринимаются читателем (или слушателем) не мгновенно, одновременно, а постепенно, обычно по мере движения текста от его начала к его концу. Но подлинное, в той или иной мере адекватное восприятие текста становится возможным лишь после завершения процесса ознакомления с текстом, когда оказывается явной вся система отношений, организующих текст. Соответственно при анализе текста неизбежным оказывается предварительное изучение его составных частей (в том или ином порядке), в частности, их лексической и грамматической природы. Однако это именно лишь предварительный этап исследования. Подлинное исследование текста возможно только на основе анализа его цельности, определяемой в рамках изучения его частных частей. Нельзя забывать, что текст не является простой суммой этих частных частей, а чем-то качественно совсем иным, что только и позволяет установить истинное текстовое значение, текстовую функцию отдельных компонентов текста. Это относится, в основном, к текстам художественным, поскольку в текстах научных или технических часто вообще необязательно знакомство со всем целым, а вполне достаточно ознакомления с тем или иным его разделом.

Текстовые структуры могут быть чрезвычайно многообразными [10]. Многообразие форм построения текста вытекает из множественности тех порождающих текст концептуально-тематических установок, которые создаются в результате действия разных социально-исторических факторов и вызванных ими сдвигов в условиях и формах речевой коммуникации, а также под влиянием различий в индивидуальном подходе автора к тексту. Все эти различия в концептуально-тематической установке при создании текста сказываются не только на разных формах его построения и его объеме, но и на преимущественном отборе тех или иных лексических и грамматических средств из общего языкового (лексического и грамматического) фонда. Речь идет не только о создании новых слов, но и новых вариантов грамматических структур, пусть даже имевших свои разрозненные прототипы на прежних этапах развития (ср., например, язык телеграмм, язык рекламы, язык научно-реферативных журналов). Создающийся таким путем отбор определенных признаков, как структурно-текстовых, так и языковых, образует стиль, характерный для определенного вида текстов, объединенных единством концептуально-тематической установки, а в художественных текстах и установки эстетической.

Все высказанные здесь положения отнюдь не новы. Но необходимо было воспроизвести их под определенным углом зрения, подчеркнув главным образом то обстоятельство, что при исследовании текстов надо исходить

непосредственно из особенностей этих текстов в их реальном существовании и многообразии, причем основной единицей такого исследования может быть только текст.

Но это означает, что исследование текстов во всей их многоаспектности — дело особой науки, науки о текстах. Правда, в отношении одной части текстов, а именно текстов художественных, такая наука давно уже наметилась. Это — поэтика. Однако в отношении других видов текстов подобной науки еще нет. Такие тексты изучались, с одной стороны, в рамках стилистики, а с другой — риторики. Но основные цели стилистики, даже стилистики функциональной, все же сосредоточены вокруг языковых явлений, характеризующих текст, ее объектом не является сам текст. Риторика же очень специфична и применима в основном к текстам сравнительно небольшого масштаба, обычно стандартным в стилевом отношении.

Отсутствие специальной науки о текстах частично можно объяснить причинами терминологическими. Термин, наиболее подходящий для наименования такой науки, а именно «текстология», оказался уже «занятым» к тому времени, когда развитие филологии привело к необходимости создания науки о текстах. Текстология тогда уже существовала и имела в высшей степени прочное и точное значение — «наука, изучающая языковые памятники (тексты) с точки зрения их расшифровки, датировки, атрибуции и т. д.». Наиболее подходящим неологизмом мог бы стать термин «текстика». Но звучит этот неологизм искусственно. «Текстоведение» представляется, на первый взгляд, простым синонимом к «текстологии». Но думается, что целесообразно все же решительно отграничить этот термин от «текстологии», используя его в значении «наука о текстах в широком смысле». Диктуется такая целесообразность тем, что существующий терминологический вакуум явно оказывается одной из причин, по которым возникает тенденция к превращению науки о текстах в продолжение и дальнейшее развитие науки о языке, и в частности, грамматической науки. Появляются лингвистика текста, грамматика текста и т. п. Любопытно, что, как правило, стремление исследователей, представляющих это направление, обычно заключается в том, чтобы всячески поднять роль текста, подчеркнуть его важность для лингвистики. Текст порой даже начинает рассматриваться как основная лингвистическая (грамматическая) единица. Но на самом деле такая позиция несправедлива и вдвойне ошибочна. С одной стороны, она несправедлива, потому что в этом случае текст перестает быть специфическим образованием внутри собственной языковой стихии. С другой стороны, такая позиция снижает роль языка, а особенно такой его важнейшей структурной единицы, как предложение. Грамматика растворяется в теории текста.

Между тем нет абсолютно никаких оснований пересматривать старый взгляд на предложение как на основную относительно законченную структурную грамматическую единицу, сохраняющую этот свой статус во всех типах высказывания. Как уже отмечалось, предложение обладает огромной устойчивостью, воспроизводя разные обычно весьма абстрагированные виды отношений между вещами и явлениями без опоры на контекст или ситуацию. Именно такой характер выражаемых предложениями отношений делает их не только важной, но и необходимой основой, без которой невозможно было бы выполнение языком его коммуникативных и когнитивных функций во всем их многообразии. Без предложений не было бы текстов. Между тем предложения могут выступать не только в текстах, т. е. в высказываниях, рассчитанных на воспроизводимость, но и в высказываниях разовых, на воспроизводимость не рассчитанных. Следовательно, предложение есть основная единица грамматического строя в той же мере, в какой текст есть основная единица текстоведения.

Для того, чтобы сделать предлагаемую здесь точку зрения совершенно четкой, ее пришлось показать в упрощенном виде, как бы крупным планом. На самом деле положение сложнее.

1. Раздельность текста и грамматики как языковых явлений отнюдь не противоречит их необходимому взаимодействию, притом самому тес-

ному и нераздельному. Предложение в тексте (особенно в художественном), как правило, получает дополнительные смысловые (иногда семантико-грамматические) нагрузки по сравнению с предложением такого же состава, взятого изолированно. В разных функциональных стилях и видах текста, в разных направлениях художественной литературы, а также у отдельных писателей часто существует тенденция к преимущественному использованию тех или иных грамматических форм. Но такое взаимопроникновение текста и грамматики, текста и предложения не снимает их самостоятельности.

2. В особенно значительных произведениях художественной литературы так или иначе соотносятся с текстом как целым все компоненты произведения, каждое его предложение, даже каждое его слово в определенном контексте. Все они функционально соотнесены с текстом как целым. Но уже в произведениях художественно более слабых это оказывается не так — значительные части этих произведений и их синтаксические компоненты живут как бы самостоятельной жизнью, не определяются в своем строе концептуально-тематической сутью произведения. А что касается научно-технических произведений, то там текст как целое обычно совсем не определяет те синтаксические компоненты, на которые он распадается. Они определяются, в первую очередь, общими грамматическими чертами соответствующих функциональных стилей.

3. Есть обширные области, в которых текст, т. е. речевая единица, подвергаясь воспроизведению, по своим размерам и по своему строению тесно граничит с предложением («малоформатные тексты»). Это прежде всего пословицы, поговорки, крылатые слова и т. п. Они чаще всего и состоят из одного предложения, простого или сложного, но обычно обладающего такими формальными признаками, которые обеспечивают их легкую запоминаемость и воспроизводимость (особенно синтаксическим и ритмическим параллелизмом). Однако и здесь наряду с чисто грамматическим строением наличествуют и элементы строения художественно-текстового. Далее, совпадение текста и предложения встречается в рекламах, газетных объявлениях, статьях научно-реферативных журналов и т. п., т. е. в формах текста, где чисто грамматические средства часто чрезвычайно близки к стилистически-текстовым, обеспечивающим устойчивость текста.

Не все малоформатные тексты, совпадающие (или почти совпадающие) с предложением, с самого начала были созданы с установкой на воспроизводимость. Они могли возникнуть спонтанно, непреднамеренно, как «острое слово» (вернее, острая фраза) в диалоге, а затем были подхвачены участниками диалога и стали передаваться из уст в уста. Наличие таких непреднамеренных текстов — это явление все же периферийное, касающееся только особых, «сверхмалых» форм текста, и поэтому не ставит под сомнение общее определение текста как высказывания, нацеленного на воспроизведение.

4. Переходные формы между текстом и грамматическими явлениями (в данном случае, цепью предложений) можно найти и в сфере импровизаций, как у писателей, особенно у поэтов, так и у рассказчиков в бытовой речи. Хотя по своему смыслу понятие импровизации предполагает лишь разовое произнесение (исполнение) какого-то отрезка речевой цепи, так что, строго говоря, импровизация не имеет признаков текста, она все же обладает и некоторыми сходными с ним чертами. Художественная импровизация обычно лишь варьирует формы, привычные в художественной литературе, а импровизированные диалоги нередко воспроизводятся рассказчиком и в других диалогах и могут также повторяться теми, кто их услышал.

5. Понятие текста как высказывания, рассчитанного на воспроизведение во всей своей целостности, включая лексическое оформление, является, конечно, лишь идеальным. На практике такая полная воспроизводимость оказывается, как правило, невозможной. С одной стороны, в процессе устного пересказа исполнитель (нередко сам автор) часто вносит произвольные изменения в текст, что при длительном его исполнении приводит к значительным смещениям в его лексическом и грамматическом наполне-

нии, порою даже в его структуре. Но и при письменном, даже при печатном воспроизведении текста возможны те или иные смещения — опечатки, тенденции к модернизации текста и т. п. С другой стороны, полная воспроизводимость текста (особенно в художественной литературе) оказывается невозможной из-за того, что читатель, как правило, обладает другим умственным горизонтом и другим тезаурусом знаний, чем автор, и часто недопонимает текст или вкладывает в него даже измененное содержание. Чем дальше историческая дистанция, тем больше такое непонимание или переистолкование текста. Оно оборачивается на своей более высокой ступени его различными интерпретациями, часто почти противоположными. В пьесах такие различия в интерпретации часто выражены в различных режиссерских трактовках. Наконец, особым видом интерпретации текста является его перевод, когда лексическому и грамматическому составу дается иноязычный эквивалент, никогда полностью не воспроизводящий оригинал — и все же являющийся каким-то его воспроизведением. Но при всем этом основной принцип текста — его воспроизводимость как конкретной целостности остается основой его существования.

6. Основополагающая значимость для самого понятия текста его целостной воспроизводимости, включая и его лексический состав, никак не противоречит наличию общих типологических черт у определенных групп текстов, объединенных — в той или иной мере — их концептуально-тематической общностью. Это проявляется в уже отмеченном выше наличии общих структурных черт, что для художественной литературы издавна было показателем классической поэтики, а в новейшее время в несравненно более эксплицированном виде современными течениями в литературоведении, фольклористике, лингвистике, семиотике. Для характеристики сюжетной структуры сказки, например, неоценимая работа в этом направлении была проделана В. Я. Проппом [11].

7. Все сказанное относится, в первую очередь, к современным языкам. Полностью оставляются в стороне вопросы генетические, связанные с древними этапами в развитии языка, с происхождением мифа и т. п. Вообще вне поля зрения здесь осталась вся история текстов, хотя она была бы крайне поучительна. Так, развитие делового, канцелярского языка в средние века, в частности, грамот на национальных европейских языках, хотя и совершается под непосредственным влиянием латыни, но представляет собой постепенный переход от текстов, которые по своей структуре еще очень близки к предложению, к текстам, которые построены уже с применением специальных приемов организации подобных и других развернутых текстов. Это развитие порой носит даже драматический характер, поскольку в его процессе — например, в немецком языке, — создаются гигантские построения, в которых делается попытка изложить содержание целой обширной грамоты в одном сложноподчиненном предложении, содержащем до сорока подчиненных предложений. Лишь постепенно структура грамот высвобождается из структуры предложения путем разбиения единого сложноподчиненного предложения на несколько сложноподчиненных или простых предложений и применения параграфирования и вычленения абзацев. Однако в языке немецких грамот еще очень долго, вплоть до XVIII в., сохраняются многообразные синтаксические шероховатости и противоречия. Текст лишь с трудом приобретает свое полноценное оформление [12].

Что же касается эпохи, относящейся к древнейшему состоянию индоевропейских языков и к еще более древним периодам, то здесь сближенность текста и предложения была весьма значительной, потому что формирование системы мифологически-ритуальных, социально-правовых и других систем представлений и норм протекает там в значительной мере путем создания набора формул, преимущественно коротких, малоформатных [1, 7].

8. При всей принципиальной разнородности сферы текста и сферы грамматической между ними все же существует значительный изоморфизм, затрагивающий, в первую очередь, структуру текста и структуру предло-

жения. Связано это с тем, что и естественный язык, и «естественный» (т. е. относящийся именно к естественному языку) текст обладают существенными сходными чертами в семиотическом плане. А именно, и естественный язык, и естественный текст не являются кодами в строгом смысле этого слова, характеризуются многозначностью и противоречивостью своих компонентов, многообразной синонимией и омонимией. Это сказывается и в том, что наиболее изоморфны предложение и художественный текст, наименее подходящий к структуре кода. Выражается такой изоморфизм, между прочим, в подчеркнутой многомерности их построения, в возможности у них самых разных форм разветвленности, в наслаивании лексических и грамматических значений². Но в той или иной мере изоморфен предложению и каждый естественный текст, поскольку в нем обычно совершается развитие от более известного к более новому и создается некоторое «рематическое» напряжение, приобретающее, правда, в литературе чрезвычайно различные формы [16, 17].

Но такой изоморфизм отнюдь не охватывает все стороны текста и предложения. В тексте, в частности, за редкими исключениями отсутствует то предикативное отношение, которое составляет основу структуры предложения. Сфера текста и сфера грамматики остаются все же сферами принципиально раздельными, хотя и взаимосвязанными теснейшим образом. Текст и предложение — это, в принципе, формы, соотносящиеся с высказыванием различным образом³.

Если резюмировать все сказанное, то намечаются следующие выводы. Текст — это в высшей степени многообразная, исторически и функционально изменчивая единица социальной коммуникативно-когнитивной практики. Она строится на речевом материале, но в своей целостности и в своем построении обладает своими собственными закономерностями. Поэтому ее анализ не может быть проведен чисто языковедческими средствами, а должен строиться на особой методике, которая, естественно, должна учитывать и закономерности языковой материи, используемой текстами. А это означает, что наука, изучающая тексты как таковые, является самостоятельной филологической наукой, которую условно можно назвать текстоведением. О грамматике текста можно говорить лишь как о разделе грамматики, изучающем поведение грамматических единств (в том числе и наиболее развернутых из них — сверхфразового единства и абзаца) в тексте. Термин «лингвистика текста» распространяется на целостность текста лишь в той мере, в какой этим фиксируется факт, что текст есть разновидность высказывания. Но он неприменим как название науки, изучающий специфическое построение этой разновидности высказывания, поскольку здесь исключительно сильны факторы, выходящие за пределы лингвистики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Синтаксис текста. М., 1979.
2. Структура текста. М., 1980.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
4. Москальская О. И. Грамматика текста. М., 1981.
5. Аспекты общей и частной теории текста. М., 1982.
6. Реферовская Е. А. Лингвистическое исследование структуры текста. Л., 1983.
7. Текст: семантика и структура. М., 1983.
8. Glinz H. Linguistische Grundbegriffe und Methodenüberblick. Frankfurt-am-Main, 1970, S. 122.
9. Isenberg H. Texttheorie und Gegenstand der Grammatik. Berlin, 1974, S. 18.
10. Адмони В. Г. Поэтика и действительность. Л., 1975, с. 141—145, 270—274.
11. Пронн В. Я. Морфология сказки. Л., 1928.

² Такое наслаивание многих значений на каждый участок речевой цепи (причем отдельные значения наслаиваются друг на друга) составляет особое измерение языковых явлений. Его можно назвать батизматическим, т. е. глубинным (в соответствии с парадигматическим и синтагматическим измерениями) [13—15].

³ Но дело здесь не в спонтанности. Спонтанно в речи могут возникнуть как разовые высказывания, так и малоформатные тексты и цитаты из развернутых текстов. Дело здесь в уже отмеченной абстрактности схем (логико-грамматических типов) предложения.

12. *Admoni W. G.* Die Ausbildung der Norm der deutschen Literatursprache im Bereich des neuhochdeutschen Satzgefüges. Berlin, 1980, S. 44—50, 332—354.
13. *Адмони В. Г.* Партитурное значение речевой цепи и система грамматических значений в предложении.— ФН, 1964, № 3.
14. *Адмони В. Г.* Структура грамматического значения и его статус в системе языка.— В кн.: Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1979.
15. *Сильман Т. И.* Подтекст как лингвистическое явление.— ФН, 1969, № 1.
16. *Admoni W.* Die Struktur des Satzes und die Gestaltung der Wortkunstwerkes.— In: Linguistische Probleme der Textanalyse. Düsseldorf, 1975.
17. *Admoni W.* Zu den Wechselbeziehungen zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft.— *Studia neophilologica*, 1984, № 1.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МИХАЙЛОВСКАЯ Н. Г.

ЛЕКСИКА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР В СОВРЕМЕННЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вопросы взаимовлияния языков народов СССР и русского языка в области лексики в настоящее время активно разрабатываются лингвистами прежде всего в связи с изучением национально-русского двуязычия в различных регионах страны, а также в связи с анализом особенностей функционирования русского языка в иноязычном окружении. Эти исследования базируются на материале, отражающем факты устной речи (обычно в сфере бытового общения) и факты письменных текстов (главным образом в сфере публицистики и в сфере художественной литературы). Основной аспект подобных работ обусловлен общей проблемой заимствования как глобальной для языкового взаимодействия на уровне лексики.

Данная проблема сама по себе позволяет интерпретировать материал в двух направлениях: 1) в направлении изучения процесса усвоения одним языком лексических единиц другого языка; 2) в направлении количественных и качественных характеристик усвоенных лексических единиц. Однако надо признать, что такое разграничение не является безусловным и категорическим. Процесс усвоения иноязычной лексики подразумевает неперенную адаптацию, которая сопровождается известными фонетическими, грамматическими и семантическими модификациями, оптимальными в отношении заимствующего языка, его норм и возможных допущений. Таким образом, в процессе усвоения заимствуемая лексическая единица проходит ступень, в первую очередь, фонетико-грамматической приспособляемости, нередко порождающей варианты данного заимствуемого слова. Наличие подобных вариантов зависит не только от характера и ступени заимствования как процесса, но и от принадлежности слова к нескольким родственным языкам, в которых это слово оформляется по-разному, имея тождественное значение. Так, З. С. Шеломенцева приводит примеры употребления в текстах современной художественной литературы вариантов *джигит*, *йигит*, *жигит* («молодой парень»); первый вариант относится к узбекскому и киргизскому языкам, второй — к туркменскому, третий — к каракалпакскому [1, с. 73].

Тематическая классификация заимствованной лексики, как правило, соотносящая слово с предметом и явлением действительности, может учитывать подобные варианты как реальные языковые факты безотносительно к их «конкурентной» способности. Следует принимать во внимание и то, что слово, свойственное родственным языкам, в своей разной огласовке становится доступным русскому языку в разные периоды. Так, например, слово *аул* было заимствовано в допушкинский период; но слово *аил* стало широко употребляться в русскоязычной и переводной киргизской литературе главным образом начиная с творчества Чингиза Айтматова.

Как известно, проникновение слов из одного языка в другой является результатом контактов народов в области политики, экономики, культуры. История русского языка, формирование его словарного состава неразрывно связаны с летописью внешних и внутренних отношений русского народа с народами Востока, Запада, Севера и Юга. Но отвлекаясь от конкретного периода истории, абстрагируясь от особенностей экстралинг-

вистического порядка, можно говорить о том, что заимствование как источник пополнения и развития лексики русского языка в целом осуществлялось двумя основными путями: во-первых, посредством устного общения русского населения в условиях иноязычного окружения, обычно между русскими переселенцами и аборигенами того или иного региона; во-вторых, посредством включения национальной лексики в русскоязычное «окружение» письменного текста. Следовательно, те два источника, о которых упоминалось выше, остаются наиболее постоянными при исследовании проблемы и в плане диахронии, и в плане синхронии. Здесь очень существенным моментом является установление «речевой ситуации», в которой реализуются контакты русского языка с языком иного народа (или народов). Анализируя особенности русской речи в Сибири, А. И. Федоров пишет: «Русский язык с самого начала его бытования в Сибири был не литературным, а диалектным. Литературно-письменный язык стал распространяться в Сибири в конце XVII в., в период развития русского национального государства с его органами власти и управления. Он существовал, главным образом, в форме делового стиля» [2].

Разумеется, многообразие и регулярность форм общения русских с той или другой народностью, представляющей местное население, влияла на активность процесса заимствования слов из национальных языков. Так, Н. Г. Самсонов, отмечая влияние якутского языка на русский в дореволюционный период, указывает, что языки других малых народностей, населявших Якутию, оказали меньшее воздействие на русский язык, главным образом, в силу социально-экономических причин: «...малые народности кочевали по бескрайним просторам Севера и находились в основном на окраинах Якутии, где русского населения было мало и встречи с русскими оказывались эпизодическими... Особенно мало вошло в русский язык чукотских слов, потому что чукчи были расселены в глубинных частях тундры. Земля чукчей была самой отдаленной окраиной России, почти совершенно оторванной от центральных районов. Чукчи считались состоящими в зависимости от Российского государства, но не подданными. Управлялись они по своим обычаям, никаких повинностей не несли и никакими сборами не облагались. Христианство в чукотской среде не пустило никаких корней... Поэтому заимствования из чукотского языка в русском были единичны» [3].

Письменные источники, как и устное общение, непосредственно или опосредованно связаны с экстралингвистическими причинами, которые возникали при внешних отношениях, а использование иноязычной лексической единицы в русском тексте нередко отражает факты, лежащие за пределами исключительно лингвистических ситуаций. Такое положение, например, в отношении русского языка XIX века констатируется при употреблении иноязычной лексики в произведениях русских писателей: «В связи с установкой ряда писателей „на необычное, удивляющее, на приковывающий к себе колорит чужого“ заметно усилился приток в литературное употребление этой эпохи и так называемой восточной лексики, прежде всего — языков неславянских народов России, населявших Кавказ и Среднюю Азию, в меньшей мере — народов Сибири, Урала, Молдавии, Крыма. Освоение „восточной“ лексики связано с внешнеполитическими событиями (война России на Кавказе), с интересом писателей-романтиков к национальным культурам и литературам, к этнографии и языку...» [4, с. 38—39].

В то же время данный подход в анализе использования лексики иноязычных народов в тексте русского художественного произведения предусматривает определенную связь с литературным направлением, для первой трети XIX века — с романтизмом, на что в свое время указывал Л. А. Булаховский [5]. Развивая точку зрения Л. А. Булаховского, авторы «Лексики русского литературного языка XIX — начала XX века» придерживаются взглядов этого исследователя и квалифицируют подобные заимствования как экзотизмы [4, с. 49—50]. Однако литература названного периода иллюстрирует и вхождение в русский язык украинской лексики — через русскоязычное творчество таких писателей, как Н. В. Го-

голь, В. Нарезный, Г. Квитка-Основьяненко [4, с. 38], для которых украинизмы были органической частью родного языка.

По-видимому, определение иноязычной лексики в окружении русского текста (по крайней мере художественного) как экзотической нуждается в некоторых уточнениях и поправках, ориентированных, с одной стороны, на личность автора, а с другой — на «потребителя», на читателя. Даже в XIX в. [целому ряду национальных писателей не был чужд русскоязычный опыт художественного творчества. Использование ими лексики родных языков было закономерным явлением, ибо оно во многом базировалось на национальной культуре и на национальном языке. В произведениях подобных писателей лексические единицы родного языка не могут быть квалифицированы как экзотические. Иное дело восприятие национальной лексики читателем как носителем другого (русского) языка, для которого она становилась доступной при определенной семантизации.

Применительно к современному этапу взаимодействия русского языка с национальными языками народов СССР в области лексики этот вопрос отчасти рассматривает И. Е. Гальченко, который вводит понятие «регионализма русского языка»: «Под русскими регионализмами следует понимать заимствование слова из языков народов СССР с территориально ограниченной сферой активного употребления в русском языке... регионализмы в русском языке не являются ни экзотизмами, ни варваризмами. В языке произведений русских писателей и поэтов XIX в. еще можно было считать кавказские слова экзотизмами, а в настоящее время этот термин для них устарел» [6].

Как нам представляется, понятие экзотизма прежде всего применимо в качестве ф у н к ц и о н а л ь н о й характеристики иноязычной лексической единицы, с учетом ее назначения и условий использования, с учетом языковой личности корреспондента и адресата. Но вопрос о том, насколько этот термин уместен для обозначения подобной лексики в ее отношении к словарному составу русского языка, не представляется праздным.

Действительно, помета «экзотическое» отсутствует в толковых словарях современного русского языка — ее нет ни в Словаре русского языка С. И. Ожегова (как в изданиях, осуществленных самим автором, так и в издании, подготовленном Н. Ю. Шведовой), ни во втором издании четырехтомного Словаря русского языка АН СССР (в настоящее время опубликованы три тома) (см. [7—9]). В обоих названных словарях лексика из языков народов СССР занимает прочное и заметное место, хотя ее количественный состав может колебаться в зависимости от общего объема лексикографического труда. Эти словари являются главными источниками для настоящей статьи, ибо в них фиксируется современное состояние русского словарного состава в литературно обработанной форме. Исходным положением анализа послужило то, что для изучения статуса заимствований из языков народов СССР в русском языке большое значение имеет ее презентация в русской лексической системе, претворенной в толковых словарях.

Большинство заимствований из языков народов СССР, включенных в толковые словари русского языка, квалифицируется как тюркизмы. К ним относятся «слова монгольские, иранские, арабские и другие, представляющие собой материал религиозного, правового, бытового и иного содержания, вошедшие в русский язык преимущественно из тюркских языков» [10]. Очевидно, что количественное преобладание тюркской лексики объясняется главным образом древними историческими связями русского народа с народами — носителями данных языков. Следует отметить, что многие тюркизмы в современных толковых словарях приводятся без каких-либо помет, указывающих на их региональный характер (например, *пиала*, *урук*, *шашильк* и др.). Но вместе с тем значительная часть заимствований из языков народов СССР, в том числе и из тюркских языков, объясняется посредством толкований, которые не только определяют значение лексической единицы, но и содержат локальные признаки. Именно эта часть заимствований служит объектом анализа в настоящей статье.

Классификация заимствований по указанным лексикографическим источникам, основу которой составляет тематический принцип, мало чем отличается от классификаций иноязычной лексики, извлеченной из художественных текстов. Здесь устанавливаются группировки, ставшие уже традиционными и по существу опирающиеся на внеязыковую реальность: 1) обозначения лиц по тому или другому признаку (чаще всего социальному); 2) обозначения селений и административно-территориальных единиц; 3) обозначения предметов быта и построек; 4) обозначения пищи и напитков; 5) обозначения реалий растительного и животного мира; 6) обозначения религиозно-культовых и обрядовых понятий; 7) обозначения предметов и понятий традиционной национальной культуры. Разумеется, такая классификация дает лишь общее представление о той внеязыковой реальности, которая отразилась и выразилась в заимствованиях, и дело здесь не только в том, что почти каждая группа может быть представлена в виде более дробных и мелких объединений (например, обозначения предметов быта и построек допустимо группировать по признаку их назначения), — но и в том, что в наиболее многочисленной группе обозначений лиц соединяются номинации по разнородным признакам: по социальному (*бай, баскак, гетман, дехканин* и др.), религиозно-обрядовому (*муфтий, муэдзин, мулла*), традиционно-культурному (*акын, ашуг, кобзарь, бандурист* и др.).

При анализе заимствований из языков народов СССР в их лексикографической интерпретации встает вопрос о том, какой признак (признаки) выделяет данное слово из общего круга русской лексики и как этот признак (признаки) выражается в содержании словарной статьи. Рассмотрим данный вопрос на примере первой тематической группы, в первую очередь, обозначений лиц по социальному положению. Данные номинации обычно характеризуются двумя признаками — региональным и временным. В разных словарях эти признаки занимают разную позицию: ср.: *бай* — «Богач, крупный землевладелец или скотовод в дореволюционной Средней Азии» (Словарь русского языка АН СССР, I 55; далее — СА); «В Средней Азии до революции: богатый землевладелец или скотовод» (Словарь русского языка С. И. Ожегова, 34; далее — СО) ¹. Иногда региональный признак осознается как конкретизация общего значения слова, которое связано с определенными историческими событиями, например: *басмач* — «Участник контрреволюционной банды в Средней Азии в период борьбы за укрепление советской власти» (СО 37); «Участник контрреволюционных националистических банд, действовавших в Средней Азии» (СА I 64).

Характеристика слова по его этнической или языковой принадлежности может выражаться посредством соответствующего определения или топонима. В качестве примера сопоставим толкования первого значения слова *гайдамак*: «В XVII—XVIII вв.: украинский казак, участник восстания против польских помещиков» ² (СО 113); «Участник народно-освободительного движения против польских помещиков в 18 в. на Правобережной Украине» (СА I 297). Очевидно, что детализация понятийно-семантического объема слова данного тематического разряда даже в пределах одного значения несет прежде всего историко-социальную информацию.

Другой разряд рассматриваемой тематической группы представлен обозначениями лиц по конфессиональному признаку (*имам, дервиш, муфтий* и др.). В толкованиях этих лексических единиц (тюркизмов), как правило, содержится указание на вероисповедание, ср.: *имам* — «Духовный глава у магометан» (СО 219); «1. Духовный глава у мусульман а. н. 2. Титул правителя у мусульманского государства, соединяющего в своем лице светскую и духовную власть, а также лицо, носящее этот титул: халиф. 3. Духовное лицо, руководящее богослужением в мечети» (СА I 660). Различие в словарных статьях заключается и в коли-

¹ После сокращенного названия словаря СА — первая цифра обозначает том, вторая — страницу; в СО цифра обозначает страницу.

² Здесь и далее при толковании значения слова разрядка наша. — М. Н.

честве устанавливаемых значений, и в определениях: «у магометан» — «у мусульман», что заставляет предположить их некоторую дифференциацию. Однако по существу толкование данной лексемы по СО и толкование ее 1-го значения по СА являются тождественными, ибо понятие «магометанство» не что иное, как «вышедшее из употребления название ислама (мусульманства)» [11]. Указанный признак вероисповедания последовательно применяется при словах, входящих в группу обозначения лиц: *мулла* — «Служитель культа у мусульман» (СО 322); «Служитель религиозного культа у мусульман» (СА II 311); *муфтий* — «Лицо высшего мусульманского духовенства» (СО 323), «Мусульманский юрист-богослов, высшее духовное лицо, облеченное правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам» (СА II 314), *дервиш* — «Мусульманский нищенствующий монах» (СО 143, то же СА I 388).

В некоторых случаях непосредственное определение конфессионального признака опускается за счет компенсации его другими лексическими средствами, ср.: *муэдзин* — «Служитель при мечети, возглашающий с минарета часы молитвы» (СО 324, то же СА II 316). (Интересно отметить, что в Словаре В. Даля толкование данного слова базируется на ассоциации со служителем православного культа, но при использовании определения «мусульманский»: *муэдзин* — «...мусульманский дьячок, призывающий с минарета на молитву, обычно слепой» [12, с. 363].) Признак вероисповедания находит отражение не только при словах, обозначающих служителей культа, но и тогда, когда он определяет и «оценивает» семантическое содержание лексической единицы, например: *гяур* — «У магометан: человек иной веры» (СО 133); «Презр. Название иноверца у исповедующих ислам» (СА I 359). В последнем случае вариантность толкований отмечается на уровне сочетаний «у магометан» — «у исповедующих ислам».

Признак вероисповедания иногда может заменяться признаком более общим, производным от слова «восток». Это отмечается, в частности, при толковании слов, обозначающих понятия (персонажи) традиционной культуры, ср.: *гурия* — «В восточной мифологии: райская дева» (СО 133); но: «В мусульманской мифологии: вечно юная красавица, обительница рая, улаждающая попавших туда праведников. // *Трад.-поэт.* Красавица» (СА I 357). В то же время слова, выражающие положительные понятия применительно к обозначению лица, безотносительны к признаку вероисповедания. Их региональность определяется указанием на этно-территориальную характеристику, а само толкование ориентировано на национальные традиции: *кунак* — «У кавказских горцев: друг, приятель» (СО 276); «У кавказских горцев: лицо, связанное с кем-л. обязательством взаимной дружбы, защиты, гостеприимства; друг, приятель» (СА II 149) (ср. с толкованием в Словаре В. Даля: «...приятель, знакомый, с кем вожу хлеб-соль» [12, с. 218]. Следует отметить, что в толкованиях некоторых слов со значением лица аналогичная этно-территориальная характеристика может нивелироваться и присутствовать как комментарий к источнику заимствования, например: *Иджигит* — «Искусный наездник [первонач. у кавказских горцев]» (СО 146); «Искусный и отважный наездник (первоначально у кавказских горцев)» (СА I 396).

Национальная культурная традиция народов СССР находит отражение при толкованиях номинаций лиц, обозначающих представителей поэтического и музыкального искусства. Это достигается использованием определения «народный» при слове обобщающего значения с одновременным указанием этнического или регионального (или этно-регионального) признака, который может варьироваться; ср.: *ашуг* — «Народный поэт-певец у народов Кавказа» (СО 33); «Народный поэт-певец у кавказских народов» (СА I 53); *акын* — «Народный поэт-певец (в Казахстане, Киргизии)» (СО 24); «Народный поэт-импровизатор и певец у казахов, киргизов» (СА I 31). Здесь дефиниции учитывают характерность обозначаемого для нескольких родственных национальных культур, что связано, с одной стороны, с территориальной близостью народов (Казахстан, Кир-

гизия — казахи, киргизы), а с другой — с многонациональностью определенного региона (народы Кавказа — кавказские народы). Наряду с толкованиями данного типа отмечаются дефиниции, в которых признак конкретной национальности оформляется в функции грамматического определения: *кобзарь* — «У к р а и н с к и й народный певец, играющий на кобзе» (СО 248); «У к р а и н с к и й народный певец, сопровождающий свое пение игрой на кобзе» (СА II 64).

Обозначения лиц «по профессии», в частности, в области музыкального искусства часто являются производными от слов, называющих конкретную реалию, предмет, характерный для данной сферы. В толковании этих слов по русским словарям отмечается одна любопытная деталь — указание (в самом общем виде) на хронологический признак, который подчеркивает отнесенность реалии к традиционному национальному искусству и который отсутствует при толковании номинации лица: ср.: *кобза* — «С т а р и н н ы й украинский щипковый музыкальный инструмент» (СО 248, то же СА II 64). Дифференциация в толкованиях, относящихся к номинациям музыкантов и к номинациям инструментов, состоит в том, что в первом случае определение национального признака может вообще отсутствовать, тогда как во втором случае оно сохраняется. Например: *бандурист* — «Музыкант, играющий на бандуре» (СО 35, то же СА II 60); *бандура* — «1. У к р а и н с к и й народный многострунный щипковый музыкальный инструмент» (СО 35); «Украинский многострунный щипковый музыкальный инструмент с широким грифом» (СА I 60). (Заметим, что в Словаре В. Даля толкование слова *кобзарь* осуществляется посредством «бандурист», а *кобза* объясняется через «бандура» [12, с. 127]).

Сопоставление производных и непроизводных слов показывает, что нередко основную этно-региональную информацию в словарях русского языка дают толкования непроизводных лексических единиц.

Анализ толкований, проведенный, главным образом, на примере тематической группы обозначений лиц, может быть распространен и на другие лексические объединения. Однако в аспекте маркированности лексики из языков народов СССР в русских словарях важно наметить основные признаки, указывающие на ее специфику. Как нам представляется, рассмотренная тематическая группа позволяет установить некоторый набор определений, функциональных указателей, сопутствующих заимствованиям, которые могут входить в самые различные тематические группы.

В функции наиболее обобщенного определения выступает прилагательное *восточный*, которое используется в СО при слове *гурия* («в восточной мифологии»). Это же определение отмечается в тематической группе обозначений пищи и в группе обозначений денежных единиц. Например: *плов* — «В о с т о ч н о е кушанье из вареного риса с жиром, кусочками мяса и с пряностями» (СО 463); *абаз* — «В о с т о ч н а я серебряная монета (в старину распространенная на Кавказе)» (СА I 18). Но, как говорилось выше, дефиниция слова *гурия* содержит вариантное определение «мусульманская» («в мусульманской мифологии»). Это определение, как правило, сопутствующее дефинициям обозначений служителей религиозного культа (см. выше), входит и в дефиниции обозначений различного рода конфессиональных учреждений, ср.: *медресе* — «М у с у л ь м а н с к а я высшая и средняя школа...» (СА II 244). Тожественный признак выражается и другим способом — предложным сочетанием: *мечеть* — «Молитвенный дом у м у с у л ь м а н» (СО 310, то же СА II 263). Указанный признак, опирающийся на понятие вероисповедания, находит разное отражение в содержании словарной статьи. Это отчетливо прослеживается при толкованиях слов, обозначающих предметы одежды, которые диктуются требованиями ислама. Например: *паранджа* — «Широкий халат с закрывающей лицо волосной сеткой, без к-рой м у с у л ь м а н с к а я религия не разрешает женщинам появляться перед посторонними» (СО 434); *чалма* — «У м у с у л ь м а н: головной убор — длинный кусок ткани, обернутый вокруг головы» (СО 779); *чадра* — «У м у с у л ь м а н: женское легкое покрывало во весь рост, закрывающее голову и лицо (кроме глаз) и спускающееся по плечам вниз» (СО 779).

Наименования одежды, не обусловленной культовыми представлениями, обычно сопровождаются дефинициями, в которых содержатся этнонимы, например: *жупан* — «У украинцев и поляков: старинный полукафтан» (СО 174); «Старинная верхняя мужская одежда у украинцев и поляков, род полукафтана» (СА I 489). Иногда наряду с этнонимами используются сочетания, указывающие на этнический и географический признаки, ср.: *бешикет* — «Стеганный полукафтан (у татар, кавказских народов)» (СО 46); «Одежда тюркских, монгольских и кавказских народов, плотно прилегающая в груди и в талии и доходящая до колен» (СА I 89). В качестве вариантов этнических наименований выступают названия регионов в сочетании с территориально-географическими показателями: *нимы* — «В Сибири и у северных народов: меховые сапоги, а также валенки» (СО 457). Подобные показатели фиксируются также при словах, входящих в тематическую группу обозначений жилищ: *яранга* — «Переносное жилище с конической крышей у некоторых народов северо-восточной Сибири» (СО 814). Они свойственны толкованиям слов, обозначающих селение: *улус* — «1. Становище кочевников, а также название (напр., у некоторых народов Сибири) селения, аула» (СО 739).

Однако подобные обобщенные наименования народов по регионально-географическому признаку характерны, главным образом, для слов, обозначающих понятия северного и кавказского регионов, где население разнообразно по своему этническому составу. Наиболее же узкое определение национального признака осуществляется обычно посредством прилагательного — производного от этнонима, например: *галушки* — «Украинское кушанье — кусочки сваренного теста» (СО 113); «Украинское кушанье в виде кусочков теста, сваренных в супе или молоке» (СА I 299) (ср. с толкованием слова *гайдамак*, см. выше).

Самыми частотными являются такие показатели, которые ориентированы на регион (или регионы) как территориально-географическое понятие без использования этнонима. Эти показатели используются при толкованиях тематически разнообразной лексики, но чаще всего связанной с бытом: постройки (*халупа* — «1. Небольшая хата, изба на Украине, в Белоруссии», СО 764), орудиями труда (*кетмень* — «В Средней Азии: род мотыги для окучивания посевов, для рытья арыков и т. п.», СО 243; «Орудие типа мотыги, употребляемое в Средней Азии для мотыжения, окучивания посевов, а также для рытья и очистки арыков и каналов», СА II 46); одежды (*чуваки* — «Мягкая обувь без каблуков (на Кавказе, в Крыму)», СО 789) и т. д.

Толкования одной и той же лексической единицы в разных словарях могут отличаться по степени точности региональных показателей, которые в одном словаре опираются на общий географический признак, а в другом — на локальную конкретизацию. Ср.: *мажара* — «На юге СССР: большая телега с решетчатыми боковыми стенками» (СО 296); «Большая телега с решетчатыми боковыми стенками (в Крыму, на Украине, на Северном Кавказе)» (СА II 215); *кишлак* — «Селение (в Средней Азии)» (СО 245); «Селение в Узбекистане и Таджикистане» (СА II 53); *мыза* — «Усадьба, хутор (в Прибалтике)» (СО 324); «Отдельно стоящая усадьба с сельскохозяйственными постройками; хутор в Эстонии и других районах Прибалтики» (СА II 316).

Обращают на себя внимание некоторые дефиниции слов, обозначающих жилье, в которых лексические единицы определяются как «русское название», ср.: *чум* — «В Сибири и на северо-востоке европейской части СССР: русское название переносного жилища северных народов — конической формы шатра, крытого шкурами, корой, войлоком и т. п.» (СО 790); *сакля* — «Русское название жилища кавказских горцев» (СО 617). Это определение применяется не последовательно в лексикографической практике. Так, в толковании слова *сакля* его нет ни во 2-м издании СО (1952 г.), ни в региональном словаре И. Е. Гальченко, где оно с пометой «груз.» толкуется как «Название жилища кавказских горцев» [13, с. 121]. Однако в тематическом словаре Г. Г. Голетиани ука-

занное определение входит в состав дефиниции: *сакля* — «...принятое у русских название жилища кавказского горца. От грузинского слова *с а х л и* (дом)» [14].

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что в толковых словарях, отражающих современное состояние русского языка, этнические, региональные и географические определения — при их возможной вариативности по отношению друг к другу — выступают как постоянные спутники слов, заимствованных из языков народов СССР. Можно ли из этого факта заключить, что подобные показатели одновременно являются и показателями недостаточной освоенности слова в заимствующем (русском) языке?

Когда этот вопрос ставится в отношении лексических заимствований, то в пользу степени освоенности обычно приводятся деривационные данные, которые также фиксируются в толковых словарях русского языка. Производные лексические единицы обнаруживаются в самых различных тематических группах: обозначений лиц [*к у н а к* — *кунацкая* (прил. и в знач. сущ.), *куначество*, *г е т м а н* — *гетманский*, *гетманство*, *д ж и г и т* — *джигитский*, *джигитовка*, *джигитовать*]; обозначений предметов быта (*ч у в я к и* — *чувячный*), селений (*у л у с* — *улусовый*, *а у л* — *аульный*, *к и ш л а к* — *кишлачный*). Иногда одно и то же производящее дает два варианта производного, например: *к и з я к* — *кизяковий* и *кизячный*, *з у р н а* — *зурнач* и *зурнист*. Производные от давно освоенного заимствования не всегда фиксируются в современных толковых словарях. Так, например, в СО и СА не приводятся производные от слова *арба*, которое прочно вошло в русский язык; между тем в Словаре В. Дала содержится целый ряд однокоренных единиц, созданных по русским словообразовательным моделям: *арбяной*, *арбовый*, *арбишный*, *арбовицик*, *арбишник* [15]. Обозначение лица от данной основы приведено в региональном словаре И. Е. Гальченко, но в оформлении словообразовательной модели национальных языков, ср.: «арбачи и арбачы (кумык., татск.) Возчик» [13, с. 25].

В аспекте деривационных связей хотелось бы отметить одну любопытную деталь: как правило, производные единицы создаются суффиксальным способом, а не префиксальным. В отношении же локально-тематической маркированности устанавливается один бесспорный факт: наименьшая словообразовательная активность обнаруживается у тех слов (в своем подавляющем большинстве тюркизмов), которые так или иначе связаны с конфессиональным признаком, — это относится и к номинациям лиц, и к номинациям построек культового назначения, и к номинациям одежды. В плане семантических преобразований свидетельством освоенности заимствования является лексикографическая констатация вторичных значений, иногда стилистически маркированных, например: *халупа* — «2. *перен.* Вообще о маленьком, неблагоустроенном жилище» (СО 764); *бандура* — «2. *перен.* О громоздком предмете (прост.)» (СО 35).

Как показывает привлеченный материал, локальные определения, входящие в толкования заимствований, обычно являются своего рода «ограничителями» при словах более общего значения, с которыми заимствования вступают в родо-видовые отношения, ср.: *бай* — богач, *абаз* — монета, *бандура* — музыкальный инструмент, *аул*, *кишлак* — селение и т. д. Эти родовые обозначения — опорные понятийные центры дефиниции, но отнюдь не эквиваленты заимствований. Даже такое русское соответствие, которое сблизается с заимствованием по формальному показателю (корню), не дает исчерпывающего представления о том, какая реальность стоит за его семантическим «родственником». Так, например, слово *чайхана* толкуется как «Чайная в Средней Азии» (СО 779). По поводу этого слова З. С. Шеломенцева замечает: «Значение слова „чайхана“ не укладывается в русское „чайная“. В чайхане не только пьют чай, но и читают газеты, играют в шахматы и шашки, слушают лекции, это своеобразный клуб» [1, с. 40].

Возможно ли раскрывать в словаре все особенности явления или предмета, называемого лексической единицей? Несомненно. Но тогда словарь

из толкового становится энциклопедическим. Если же ориентироваться на специфику именно толковых словарей, то необходимо признать и некоторую «приближенность» дефиниций по отношению к реалиям. В сущности, локальные показатели относятся именно к реалиям, что становится особенно очевидным при толкованиях такого типа: *айран* — «Кислое молоко особой закваски (распространено в Сибири, Средней Азии, Крыму и на Кавказе)» (СА I 28); *каракурт* — «Ядовитый паук, распространенный в пустынях Средней Азии и в степях Крыма» (СА II 32). А отсюда следует, что этнический, региональный, географический признаки, используемые в дефинициях заимствований из языков народов СССР, являются элементами скорее энциклопедического характера, нежели собственно семантического³. Иначе говоря, эти признаки не выделяют данные слова из лексической системы русского языка.

Проблема исследования заимствований из языков народов СССР — одна из самых интересных проблем русистики и сравнительной лексикологии. Она становится особенно злободневной вследствие интенсивного использования национальной лексики в русскоязычных и переводных текстах, относящихся к сфере публицистики и к сфере художественной литературы, т. е. в таких текстах, которые прежде всего служат источниками для толковых словарей русского литературного языка. Пополнение состава этой лексики отчасти учитывается лексикографическими выпусками («Новые слова и значения. Словарь-справочник»), в которых уже сейчас зафиксирован целый ряд единиц (в том числе производных) главным образом из тюркских языков. В то же время публицистика, поэзия и беллетристика дают обильный материал для установления и изучения лексики из языков народов Севера, в частности, из чукотского языка, контакты которого с русским языком, как отмечалось выше, в дореволюционный период сводились к минимуму.

Нарушая традиции научной статьи, автор позволит себе завершить ее формулировкой нескольких вопросов анкетного характера, которые, на наш взгляд, непосредственно вытекают из данной проблемы:

— какие пути, лежащие через устное общение, через поэзию и прозу, привели слова одного языка в другой язык?

— какие «превращения» происходили с ними в их фонетическом облике, в их семантике и грамматических характеристиках?

— как отражалось освоение заимствований в толковых словарях русского языка, начиная с их первой лексикографической фиксации?

— в каком соотношении находятся заимствования в толковых словарях русского литературного языка и в лексикографических трудах, ориентированных на определенные регионы?

— в какие смысловые связи вступали заимствования с семантически близкими словами заимствующего языка?

— какие содержательные и выразительные потенциальные возможности открываются в них и через них в современной художественной литературе?

Рассмотрение этих вопросов обращено к трем взаимосвязанным направлениям изучения языка: 1) к аспекту функциональному, 2) аспекту лексической системы, 3) аспекту лексикографической практики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шеломенцева З. С. Взаимодействие русского и тюркских языков. Краснодар, 1980.
2. Федоров А. И. Русский язык в Сибири. — ВЯ, 1982, № 2, с. 81.
3. Самсонов Н. Г. Заимствования из языков аборигенов Якутии в русском языке (Дореволюционный период). — ВЯ, 1981, № 4, с. с. 76, 77.
4. Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века. М., 1981, с. 38—39.

³ Как показала Л. Л. Кутина, антитеза энциклопедических и филологических толкований не является безусловной и «имеет право на существование только при формулировке целого ряда ограничений» [16].

5. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Т. I. Киев, 1952, с. 44.
6. Гальченко И. Е. О статусе слов северокавказского происхождения в русском языке. — ВЯ, 1979, № 4, с. 117.
7. Ожегов С. И. Словарь русского языка, М., 1952.
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1981.
9. Словарь русского языка. Под ред. Евгеньевой А. П. Т. I. М., 1981; Т. II. М., 1982.
10. Кенесбаев С. К. Предисловие. — В кн.: Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976, с. 5.
11. Краткий научно-атеистический словарь. М., 1964, с. 333.
12. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. М., 1955.
13. Гальченко И. Е. Глоссарий лексики языков народов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1975.
14. Голетиани Г. Г. Грузинская лексика в русском языке. Краткий тематический словарь. Тбилиси, 1972, с. 146—147.
15. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955.
16. Кутина Л. Л. Термин в филологических словарях (к антитезе: энциклопедическое — филологическое). — В кн.: Проблематика определений терминов в словарях разных типов. Л., 1976, с. 30.

БОНДАРЧУК Н. С., КУЗНЕЦОВА Р. Д.

«СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА XI—XVII вв.» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Публикация словарей любого типа — всегда событие, так как они являются стимулом для теоретической разработки языковых проблем. Русская лексикография последних лет пополнилась многочисленными специализированными словарями, среди которых особое место занимают вышедшие 10 выпусков Словаря русского языка XI—XVII вв. (вып. 1—6, М., 1975—1979 гг., гл. ред. С. Г. Бархударов, ред. Г. А. Богатова; вып. 7—10, М., 1980—1983 гг., гл. ред. Ф. П. Филин, ред. Г. А. Богатова).

Трудно переоценить актуальность Словаря для развития отечественной филологии и истории русской культуры в целом; уже сейчас очевидно, что это вклад в историческую лексикологию и лексикографию.

Десять лет прошло с момента выхода первого выпуска словаря. За этот период опубликовано около двадцати рецензий у нас в стране и за рубежом. В этих рецензиях и одобрение работы авторского коллектива, и пожелания в отношении последующих выпусков, и критический анализ лексического состава словаря, разработки словарных статей, круга источников, охваченных словарем, и т. д.

Однако среди зарубежных рецензий на СлРЯ XI—XVII вв. выделяется группа отзывов, носящих явно тенденциозный характер. Социальная заданность этих выступлений отмечена Р. Р. Гельгардтом в подробном обзоре журнала *Russian Linguistics* [1]. Некоторые рецензии о словаре дезориентируют зарубежных читателей о состоянии науки о русском языке в СССР [см. 2—6]. Все они объединены общей установкой — исказить историческую перспективу развития восточнославянских языков, фальсифицируя факты истории русского языка. Это отражается в отрицании единства древнерусского языка, в стремлении оторгнуть русскую письменную традицию от истории русского языка и т. д. Коснемся лишь одного аспекта зарубежной концепции истории русского языка, выраженной вполне определенно: несогласие с названием Словарь русского языка XI—XVII вв. (разрядка наша. — Б. Н., К. Р.).

Неприятие термина «русский язык» в отмеченных рецензиях связано со стремлением поставить под сомнение существование русской письменной традиции, идущей от X—XI вв., преуменьшить значение для истории русского языка древнейших, а заодно и многих поздних памятников, вплоть до памятников XVII в.

Советские и большинство зарубежных филологов-русистов воспринимают название «Словарь русского языка XI—XVII вв.» как исторически обусловленное отражение традиций, сложившихся в русской истории, культуре и письменности. Использование термина «русский язык» в названии СлРЯ XI—XVII вв. опирается и на факт самосознания предков современных русских, украинцев и белорусов, живших в XI—XIII вв., а также на непрерывность языкового употребления слова *русский* в письменных памятниках в применении сначала к Древней Руси, затем к Руси Северо-Восточной и Московской. Можно даже не обращаться к Слову о полку Игореве и летописям (кстати, отметим, что словоупотребление в этих памятниках рецензенты без всякого основания относят ко времени создания списков этих памятников), а отметить употребление прилагательного *русский* и сочетания *Русская земля* в Изборнике 1076 г. и Успенском сборнике XII—XIII вв.

Именно поэтому термин «русский» не ущемляет национальных интересов ни украинцев, ни белорусов, в чем пытаются убедить читателей рецензенты словаря, так как «Русь XI—XIII вв.— это еще не Россия, а русские X—XIII вв.— это восточные славяне в целом, предки современных русских, украинцев и белорусов — трех братских народов» [7].

Слово *русский* на протяжении своей жизни в языке меняло объем своего значения, но историческое тождество слова при этом сохранялось. Это убедительно показано в СлРЯ XI—XVII вв.

Составители Словаря сумели в потоке пожеланий и замечаний учесть лексикографически рациональные предложения, внесенные рецензентами СлРЯ XI—XVII вв., и продолжить издание следующих выпусков (вып. 7—10), совершенствуя в самом процессе работу над словарными статьями. Более того, как известно из публикаций, при СлРЯ XI—XVII вв. создается фонд Дополнений к словарю, в котором могут быть учтены и поправки, и предложения рецензентов, и новые исследования, и публикации источников.

Совершенно очевидно, что СлРЯ XI—XVII вв., определенный как «общедоступное справочное пособие при чтении древнерусских текстов разных жанров (летописей, грамот, частной переписки, сводов законов, житийной литературы и т. д.)» [8], вышел за эти рамки и имеет прежде всего большое научное значение, так как представляет уникальное по широте хронологического среза собрание слов, их всестороннюю глубокую обработку и является важным источником изучения истории русского языка. Поэтому с момента выхода словаря его материалы широко используются в работах по истории словарного состава и грамматических форм русского языка, развитию семантики слов, словообразованию и даже по историческому синтаксису [см. 9—11].

Имеющийся научный опыт изучения материалов СлРЯ XI—XVII вв. позволяет оценить его богатую информацию и одновременно выделить круг наиболее актуальных вопросов, которые возникают в связи с использованием этих материалов при разработке различных проблем истории языка.

2. СлРЯ XI—XVII вв.— это диахронический общелингвистический словарь толково-переводного типа, словарь исторического жанра. Он концентрирует огромную массу слов, их значений, грамматических форм, словосочетаний и т. п., охватывающих семь столетий истории и развития русского языка — от древнекиевского периода до начала формирования норм языка русской нации. В лексическом корпусе Словаря представлено литературное и нелитературное, общеупотребительное и ограниченное в употреблении (локально, социально и т. д.), активно функционирующее и отмирающее, «свое» и «чужое», стилистически коннотативное и неконнотативное и т. п. Лексико-фразеологическое богатство словаря получило всестороннее описание, соответствующее современному уровню теоретического исследования словарного состава и практике его анализа. Диахроническое описание создает жанровую специфику исторического словаря, в котором рассматривается динамика элементов системы языка на всех его уровнях, начиная от фонетического и кончая синтаксическим (сочетаемость).

Известно, что при создании словаря его составители не только опираются в качестве методологической основы на достижения теоретических разработок в области языка, но и сами вносят вклад в решение многих теоретических проблем.

В словарях исторического жанра все эти проблемы приобретают специфический характер. Например, недостаточно выявить лексическое значение слова, определить его лексико-семантические варианты (ЛСВ), важно еще и решить вопрос подачи ЛСВ в историческом словаре: принять ли генетический (т. е. исторический) порядок или придерживаться логического (систематизирующего) порядка подачи значений, не вступающего в противоречия с историей слова (см. об этом [12]).

Нет необходимости рассматривать уже поставленные авторами Словаря задачи и принятые оптимальные пути их решения. Все они так или

иначе концентрируются в словарной статье — микромире, в котором раскрывается история слова. Словарная статья в СлРЯ XI—XVII вв. дает 1) фонетическую (фономорфологическую, орфографическую), 2) грамматическую, 3) семантическую, 4) синтаксическую, 5) культурно-историческую информацию о слове.

3. Остро дискуссионна и актуальна для исторической лексикографии проблема исторического развития слова и средств ее отражения в словарной статье, что относится, в первую очередь, к типу дефиниций, составу документирующей части и характеру заголовочной строки. Проблема уже сама подача заголовочного слова. В частности, как избежать ложного представления о равноценности вариантных форм? Конечно, при пользовании Словарем надо иметь в виду некоторую условность его приемов, связанных со спецификой Словаря, охватывающего большой исторический период. Остановимся на двух примерах. Так, в заголовке словарной статьи приведены формы *камень* и *камы*, м.; *камни*, *каменья*, мн. (вып. 7, с. 45). По-видимому, кроме различия в жанрово-стилистической коннотации, им присуща и неодинаковая интенсивность функционирования во времени. К сожалению, концентрирующая особенность Словаря и линейность средств его выражения все как бы уравнивают. Второй пример: *комната* (*комбата*, *комлата*, *конбната*, *кондата*, *конмата*) — вып. 7, с. 264. Форма *комната* и ее варианты в значении «комната» иллюстрируются цитатами XVII в. Но следует ли в связи с этим делать вывод о функциональной равнозначности вариантов в языке XVII в.? В иллюстративном материале к слову представлена дополнительная информация, позволяющая локализовать варианты *комбата*, *комлата* и другие в качестве периферийных и косвенно прийти к выводу о формировании национальной нормы (вариант *комната*) на среднерусской территории. Но в некоторых случаях подобные выводы могут быть провизорными, так как им не всегда хватает подтверждений географического и статистического порядка. Естественно, что нельзя «объять необъятного» и предъявить к СлРЯ XI—XVII вв. безмерные требования. Но, учитывая, что СлРЯ XI—XVII вв. опирается на Картотеку ДРС, в которую сейчас входит почти 1900 названий изданных и рукописных собраний (каждое из последних включает нередко десятки и сотни документов), и что она постоянно пополняется, хотелось бы видеть выражение ее данных в словарной статье в лингвогеографическом плане более последовательным. Надо отметить, что в последних выпусках в этом направлении авторским коллективом предпринимаются известные усилия [см. 13]. По-видимому, составителям следует шире привлекать и исследователей, располагающих региональным историческим материалом XVI—XVII вв. Косвенные свидетельства в пространственное ориентирование слова могут и должны внести также словари старобелорусской и староукраинской письменности, материалы которых важны не только в позитивном (наличие языковых соответствий), но и в негативном плане (отсутствие таких соответствий).

Проблема заголовочного слова особенно остро встает при описании служебных слов. В СлРЯ XI—XVII вв. вопрос о границах вариативности, например, предлогов и союзов решается с привлечением синтаксических характеристик, корректирующих функционирование этого разряда слов в предложении.

Положительное впечатление производят в этом плане словарные статьи по предлогам и характер содержащейся в них информации. Так, предлоги *дѣля*, *для*, *къ* и другие характеризуются с точки зрения основных значений и функционирования с разными падежами. Различия в лексической сочетаемости с существительными и в грамматических свойствах (управление винительным и родительным падежами у предлога *дѣля* и родительным у предлога *для*) определили оправданное освещение предлогов в разных словарных статьях. И, что особенно важно, во всех словарных статьях о предлогах наряду с экспликацией основных значений и употреблений содержатся те промежуточные употребления, которые делают эти статьи особенно интересными для исследователя.

В этом отношении словарная статья предлога *къ* (*ко*) является образцом разработки сложной семантической структуры и условий функционирования слова, одновременно раскрывая характер последовательного семантического его развития.

Составители словаря распределяют описываемую лексику по трем группам и соответственно намечают три типа ее толкования. При определении значений слов, именующих реалии отошедшего в прошлое мира, уточнение дефиниций достигается выходом в сферу экстралингвистики. С одной стороны, продумывается подбор и сегментирование цитат, выполняющих в словарях исторического типа тот изгоняемый из словарей современного русского языка «энциклопедизм», без которого немислимо представление об эпохе, идеологии, состоянии техники, профессиональном труде, духовной культуре, быте и т. д. отдаленного исторического прошлого. Выход в сферу «слова и вещи» достигается также использованием лексической сочетаемости слов. Так, в словосочетаниях с опорным словом *мастер* (в значении «мастер») приводится более 40 согласованных определений (*бахромный, бочечный, водопроводный, городской, езовый, замочный, зелейный* и т. д.). Кроме того, *мастер бархатного, гончарного, дверного, дощатого, золоченого, золотого* и т. д. *дел* (вып. 9, с. 36—37). Составители учитывают разнообразные тематические связи слова и дают представление о профессиональной ситуации XVII в.

Словосочетание как средство раскрытия «лексического фона» слова, «мира вещей», связанных со словом, последовательно используется составителями при толковании значений слов предметно-конкретной и «специальной» (терминологической) семантики. Например: *жемчуг скатный; жемчуг бурминский, гурмызский* и т. п. (вып. 5, с. 87). Бесспорно, что составители словаря используют все имеющиеся в настоящее время данные русской исторической лексикологии и лексикографии. Вместе с тем именно СлРЯ XI—XVII вв. должен стать центром, организующим и координирующим местную региональную историческую лексикологию и лексикографию, что пополнит его материалы прежде всего региональными данными. Так, свидетельства тверской письменности начала XVII в. расширяют экстралингвистический фон, например, таких слов, как *жемчуг* и *камка*: *Жемчуг кафимский* или *Камка немецкая* (Выпись из Тверской писцовой книги 1626 г. — Калининский областной архив).

Специфично и дефинирование слов, продолжающих свою жизнь в современном русском языке, так как наряду со словами, сохранившими в процессе развития объем своего значения (см., например, слова *алмаз, вепикъ, дождь, лиственица* и др.), выделяются разнообразные группы слов, меняющих исторически свою семантику. С осторожностью и тщательностью подходят составители Словаря к дефинированию слов, в процессе жизни которых может иметь место расширение или сужение сферы понятий, связанных с ними в период XI—XVII вв. При этом учитываются возникающие трудности: определение должно быть одновременно историчным и связанным с современным кругом понятий. Так, например, нельзя безоговорочно применить современный эквивалент к толкованию слова *зеркало*, так как *зеркало* как именуемая реалья в древности существенно отличалось от современного. Поэтому дефиниция имеет в СлРЯ XI—XVII вв. следующий вид: «Отшлифованная отражающая поверхность стекла, металла; зеркало» (вып. 5, с. 383).

Каждая словарная статья — это маленькое исследование по истории отдельного слова, в котором составитель призван решать сложные проблемы установления значения слова, его структуры, разграничения значений слова и его оттенков и т. д., т. е. заниматься вопросами, не имеющими в лексикологии однозначного освещения.

Следует отметить, что типы значений слов многообразны, иногда составителям трудно уловить мотивы их вычленения, если исходить только из данного слова, данного контекста. В связи с этим при дефинировании слова ими учитывается не только контекстуальная характеристика слова, но и справедливо привлекается вся гамма значений корневой группы определяемого слова. Так, слова *коуц* и *коца* — «попона» определяются через

обращение к значениям однокорневых слов *кочъ* (*коуъ*) — «накидка, длинный плащ»; ср. польск. *kos* (вып. 7, с. 387). Сюда же, по-видимому, следует отнести и вариант *кеуъ* «попона» (вып. 7, с. 10).

Проблема дефинирования решается в Словаре разными путями. Составители опираются в ряде случаев на данные смежных наук, в частности — на диалектную лексикографию. При этом учитывается, что относительное, а тем более полное совпадение ареала слова в письменных памятниках и современных говорах дает основание для идентификации значения слова. Поэтому у слова *Мостокъ*, м. «Небольшой мост, мосток» (вып. 9, с. 276) допустима дополнительная дефиниция: А ободъ той землѣ... з березовой граници дрянъ к мостку, а отъ мостку дрянъ к Микитина сына межи (Гр. Новг. и Псков., XV в.). Учет общего содержания цитаты, лексической сочетаемости слова, лексико-семантического сопоставления с говорами позволяет выделить новое значение у слова. В псковских говорах *мосток* значит «гать» (СРНГ, вып. 13, с. 293), а слово *дрянъ* известно севернорусским говорам не только в значении «мусор, отбросы», но и «грязь» (СРНГ, вып. 8, с. 229. — Костром., вятск.). Отсюда слово *мостокъ* контекстуально может значить «настил через грязное, тошкое место», т. е. «гать» (?). Предлагаемое значение не бесспорно, но выделение его со знаком вопроса вполне допустимо. На толкование со знаком вопроса составители словаря имеют право. Такое толкование расширяет зону спорных дефиниций, что представляет несомненный интерес для исследователей-лексикологов. Этот прием стал широко использоваться составителями Словаря в последних выпусках (см. вып. 8—10).

Одной из наиболее сильных сторон СлРЯ XI—XVII вв. является его богатейший иллюстративный материал, представленный документированными текстами, благодаря которым Словарь является не только научным источником, но и интересной книгой для чтения.

Источниковедческая культура СлРЯ XI—XVII вв. выразилась не только в использовании громадного количества памятников, разнообразных по времени создания, жанрам и территории, но и в привлечении лучших, в том числе фототипических, изданий памятников, в обращении при необходимости к рукописным оригиналам. Особенно ценным представляется широкое использование как опубликованных, так и архивных деловых и бытовых скорописных текстов XVI—XVII вв., которые «с наибольшим приближением к действительности отражают былое состояние народно-разговорной речи» [14]. В СлРЯ XI—XVII вв. оперативно используются новейшие издания памятников древнерусской литературы, актов и делопроизводственных документов из центральных и местных архивов, берестяные грамоты (см. Дополнения к Указателю источников, помещенные в вып. 5 и 10 Словаря).

Жестко лимитированный объем словаря, к тому же охватывающего большой исторический период, создает значительные трудности для составителей в структурировании документирующей части словарной статьи. Ведь именно документирующая часть словарной статьи должна давать исследователю-читателю достаточный материал, дополняющий сжатую дефиницию конкретными деталями.

За последние годы Картотека ДРС существенно пополнилась новым лексическим фондом, поэтому естественно стремление составителей расширить ассортимент иллюстративного материала (и в последних выпусках опорные слова корневых групп даны с более подробными иллюстрациями). Но расширение иллюстративного материала в некоторых случаях приводит к неоправданной загруженности полезной площади словарной статьи в ущерб иной информации, более необходимой исследователю лексикологии, пользующемуся словарем. Есть ли смысл, например, повторять дважды на слова *мученикъ* и *мученица* одну и ту же цитату: Помяни гѣ стѣпникъ и стѣпницѣ пустыникъ и пустыницѣ мѣнкъ и мѣнцѣ... Синодик Ниж. Печ., 1552 г. (вып. 9, с. 318)? Кроме того, оба эти слова не требуют такого обилия оправдательных цитат, которые приводятся (*мученикъ* — 5, *мученица* — 4). Но в ряде случаев загруженность является мнимой. Так, при слове *калиновый* в значении «относящийся к калине

(кустарнику)», кроме примера *На калиновый куст* (1521 г.), даны еще две цитаты: *Настругал милой стружекъ/из калиновых стрелок. о(н) расклад из них огникъ на моих бѣлых грудех. Песни Квашн., 927. XVII в.; Четыре постилы калиновые, вѣсу въ нихъ два пуда безъ походу, да соли 1 пудъ. Кн. посев. Мор., 9. 1662 г. (вып. 7, с. 36).* Приведенные цитаты к слову *калиновый* вряд ли информативны для установления границы слова, но могут быть оправданы стремлением составителей представить жанровое разнообразие контекстов и различную лексическую сочетаемость слова, что чрезвычайно ценно для исследователя. Однако есть статьи, в которых явно ощущается цитатный «голод». Слово *достоканъ* определяется как название ценного камня (вып. 4, с. 338). Приведенная дефиниция, хотя и носит характер толкования, дает самое общее представление об именуемой реалии. Для носителя современного русского языка вопрос о значении слова остается открытым. В данном случае необходимо привлечение максимального лингвистического текста, раскрывающего семантику слова. Цитаты на слово «не проясняют» ни семантики слова, ни признаков именуемой реалии. В то же время дополнительные тексты могли бы расширить сжатую дефиницию конкретными деталями, характеризующими реалию по цвету, форме, характеру обработки: *камень достоканъ лазорень грановитъ; камень достоканъ зеленъ* (Выпись из Тверской писцовой книги 1626 г.). Для раскрытия значения слова *достоканъ* важен культурный контекст. Расширение культурного контекста вовсе не значит, конечно, что словарь исторического типа должен превратиться в «этнологический» словарь, т. е. излагать всевозможные культурные тексты, в которых встречается слово [15].

Пример со словом *достоканъ* приведен из раннего выпуска словаря (вып. 4). Последующие выпуски стали полнее документировать слово. Так, например, в документирующей части статей на слова *Корчага* (*кѣрчага, кѣрчага*); *Корчажець* (*крѣчажець, кѣрчажсьць*); *Корчажка* (вып. 7, с. 347) приведены данные, которые характеризуют реалию со стороны материала (глина, железо, золото, серебро и т. д.), назначения (для воды, вина, меда, масла), формы (сосуд), что существенно дополняет дефиницию слова «Корчага, глиняный кувшин». См. также словарные статьи: *Кабакъ* (вып. 7, с. 6), *Мѣзга* и *Мязга* (вып. 9, с. 76), *Мельница* (вып. 9, с. 84), *Налѣтъ*, м. и *Налѣта*, ж. (вып. 10, с. 133) и др.

В целом же структура документирующей части словарной статьи убеждает, что, несмотря на жестко лимитированный объем Словаря, его авторский коллектив стремится дополнить сжатую дефиницию заглавной строки, не только документировать, но и иллюстрировать, отчасти представить жанровое многообразие письменных источников, а также, по возможности, отметить региональную отнесенность слова.

Исторический словарь дает абсолютность факта фиксации слова, но относительность его хронологии, ибо подлинная жизнь слова во времени не ограничивается его письменной историей, возможно «выпадение» фиксации слова. В этом аспекте очень важными (и, пожалуй, наиболее сложными) являются сведения о хронологической судьбе слова, т. е. о его «нижней» и «верхней» границах¹. Авторы решают эту проблему корректно — через иллюстративный материал и по-разному в отношении слов разных типов. Так, для однозначных слов (а это около 65% лексики, по подсчетам авторов) в пределах данного периода отмечается наиболее ранняя и наиболее поздняя фиксация слова. Необходимостью дать раннюю фиксацию слова обусловлено использование в словарных статьях последних выпусков имен собственных (личных имен, прозвищ, географических названий, названий-символов для различных предметов), хотя при решении вопроса о лексическом составе Словаря во Введении первоначально отмечалось, что в Словаре не вводятся «собственные имена (личные и географические)» (вып. 1, с. 8). Например, слово *Курунокъ* иллюстрируется примерами XVII в. (Хоз. Мор. 1, 1667 г.; Сказ о куру и лисице, XVIII в. ~ XVII в.). А далее в состав словарной статьи включается фиксация

¹ Этот вопрос неоднократно обсуждался, см. об этом [16—18].

XVI в. со значением прозвища (Кн. прих.-расх. Волокол. м., № 6, 1588 г.). Если собственное имя является единственным источником сведений о нарицательном слове или его производных, то оно приводится в составе словарной статьи (см. *Клюковникъ*). При иллюстрации производных слов установление «нижней» границы фиксации нарушается, так как при отборе цитат сохраняется та, в составе которой содержится мотивирующее слово или словосочетание: *Бородный*, прил. к *борода*. Нѣпши отѣкоша браду нѣкогого козла, добродородна бо зѣло, и той не стерпѣвъ досады сицевы, самага себе убилъ до смерти... Уразумѣемъ коль честно и любезно есть бородное украшение и безсловесному животну. М. Гр. Посл. Ив. Гр., 84, XVII—XVIII вв. ~ XVI в. (вып. 1, с. 296).

Более сложно (и это постоянно отмечают составители в своих работах) установить «верхнюю» границу слова. Возможно, есть основание дать к словам, сохраняющим без изменения свою внешнюю и внутреннюю форму, пометы, указывающие на активность их функционирования в современном русском языке.

4. СлРЯ XI—XVII вв., безусловно, следует считать основным, базовым, когда речь идет о разработке общеязыковых вопросов (не только лексических) истории русского языка. Об этом свидетельствует та часть лексики, которая является фактом грамматического уровня, — служебные слова. Так, значительное место в словаре занимают слова «синтаксические», которые используются для выражения смысловых отношений в структуре сложного предложения, — союзы, соотносительные слова, частицы и различные наречия, выступающие в союзной функции. Известно, что разработка словарных статей этой части лексики в лексикографических работах всегда вызывает значительные трудности, так как при описании их значений важно выделение комплекса прежде всего синтаксических показателей. Последовательное решение этого вопроса, видимо, является задачей специальных синтаксических словарей. Вместе с тем, учитывая научную значимость словарной характеристики служебных слов для решения теоретических проблем, рассмотрим лишь те их особенности, которые представлены в Словаре и являются фактом лексической системы языка.

На всех этапах исторического развития русского языка отмечается живой и очень активный процесс использования сочетаний слов, приобретающих устойчивый характер, в союзной функции. Состав таких сочетаний ограничен, они воспроизводятся, часто употребляются в памятниках письменности и должны последовательно фиксироваться в историческом словаре. Поэтому при описании слова *абие* (*абье*), видимо, недостаточно определить те общие значения, которые представлены в Словаре. На стыке предикативных единиц с локально-временными отношениями это значение передает с о ч е т а н и е *и ту абие*, которое вычленяет пару ситуативно связанных предложений из окружающего текста и способствует их более тесному объединению. В словарной же статье такое сочетание не отмечено, хотя в иллюстративном материале функционирует именно *и ту абие*. При выделении значения «3. Опять, снова» приведен единственный пример, включающий также не *абие*, а сочетание: *Внезапу же абие...* (вып. 1, с. 18), которое является устойчивым во временных конструкциях, выражая внезапность заключенного в предложении действия.

Фиксация отмеченных особенностей, безусловно, дает возможность Словарю стать источником сведений о направлении последующего развития как самих лексических единиц, так и тех конструкций, в составе которых эти единицы функционируют.

При характеристике союзов в СлРЯ XI—XVII вв. в одних случаях отмечается их соотносительность с компонентами, находящимися в начале постпозитивного «главного» предложения (ср. *когда — тогда, аще когда-то*), в других случаях эта особенность в употреблении союза не выделена (ср. словарную статью о союзах *какъ, како*).

Диахроническое изучение соотносительных слов свидетельствует о том, что существует взаимосвязь коррелята определенного типа с конкретным союзом и условия обязательного местоположения коррелята. Так,

во временных конструкциях *какъ* характеризуется препозицией придаточной части, употребляется обычно с начальными союзами *а, да*. Отличие таких структур от сравнительных состояло в том, что обязательным компонентом сравнительных конструкций становится коррелят (*какъ — такъ, како — тако*), не свойственный сложноподчиненным предложениям с временными отношениями. Эти сведения, думается, имеют прямое отношение к словарной статье, так как они определяют проявление того или иного значения союза в условиях данной языковой ситуации.

5. Составители Словаря проявили бережное отношение к русской традиции в создании исторических словарей. Это выразилось в сохранении тех данных, которыми обогатили историческую лексикографию прежде всего «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, где представлена богатейшая выписка из памятников письменности преимущественно XI—XIV вв. Цитаты, взятые из «Материалов» И. И. Срезневского, даются под *. Но СлРЯ XI—XVII вв. отражает современное развитие исторической лексикологии и источниковедения. Поэтому в Словаре уточняются значения слов, отмеченных в «Материалах», кратко сегментированные цитаты расширяются, во многих случаях появляется отсутствовавшая в «Материалах» И. И. Срезневского (или уточняется) датировка примеров, библиографирование дается, как правило, по лучшему и одновременно доступному современному читателю изданию. Особый интерес представляет дефинирование слов, существующих в Словаре И. И. Срезневского без трактовки (ср. определение значения слова *лайбина* — «озеро, образованное разливом реки (?)» — через сближение его с *ламба, ламбина* «зарастающее мохом небольшое озеро в лесу с топкими берегами» — вып. 8, с. 168).

Сильной стороной анализируемого Словаря является представление в нем материалов памятников поздних списков, восходящих к раннему оригиналу, путем использования приема двойного датирования со знаком гильды (∞). Авторы хорошо понимают определенную условность в решении этого сложного вопроса. Отдавая предпочтение оригинальным памятникам XI—XVII вв., СлРЯ XI—XVII вв. использует и помещает «в числе первых летописные примеры с годом записи, даже выходящим за „нижнюю“ границу Словаря, например, (945): Лавр. лет., (1096): Лавр. лет., хотя и Договор Игоря с греками и Поучение Владимира Мономаха дошли до нас в списке 1377 г.» [16, с. 60]. В числе первых по порядку (но после оригинальных) в СлРЯ XI—XVII вв. приводятся источники, известные в поздних списках, с датой восхождения к раннему оригиналу: Стоглав XVII в. ∞ 1551 г.; Хрон. Г. Амарт. XIII—XIV вв. ∞ XI в. Авторы Словаря, используя такой хронологический порядок цитации, опираются на результаты исследований по исторической лексикологии и опыт исторической лексикографии: «Слова, образованные в позднюю эпоху и не соответствующие эпохе протографа, как правило, редки, однако при изучении могут быть выявлены, ибо может оказаться, что они не анахронизмы, а просто слова, редко употребляемые в эпоху протографа» [19].

6. Как любое продолжающееся многотомное издание СлРЯ XI—XVII вв. совершенствуется от выпуска одного тома к другому. Составители уточняют типы моделей подачи слов различных грамматических классов, тематических и лексико-семантических групп, разрабатывают практику и теорию анализа слова как лексикографической единицы в ее соотносительности с лексикологией, обращаются к типологии и реконструкции как методу исследования и воссоздания истории слова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гельгардт Р. Р. Наука о русском языке в журнале «Russian Linguistics». — ВЯ 1981, № 3.
2. Исаченко А. — Russian Linguistics, 1976, v. 3, № 1. — Рец. на кн.: СлРЯ XI—XVII в. Вып. 1; Указатель источников. М., 1975.
3. Lunt H. — Language, 1976, v. 52, № 3. — Рец. на кн.: Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—2; Указатель источников. М., 1975.

4. *Lunt H.* — *Language*, 1979, v. 55, № 4. — Рец. на кн.: *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 3—4. М., 1976, 1977.
5. *Keenan E.* — *Kritika*, 1978, v. XIV, № 1. — Рец. на кн.: *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 1—4. М., 1975—1977.
6. *Klenin E.* — *Slavic and East European Journal*, 1979, v. 23, № 4. — Рец. на кн.: *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 1—5. М., 1975—1978.
7. *История русской литературы X—XVII веков.* Под ред. Лихачева Д. С. М., 1980, с. 9.
8. *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 1, М., 1975, с. 2.
9. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 95 и др.
10. *Сулин П. В.* Изменения в семантике отглагольных существительных с суффиксами *-ни/е/*, *-ени/е/*, *-к/а/* и нулевым (на материале «Словаря русского языка XI—XVII вв.»). — В кн.: *Актуальные проблемы диалектологии и исторической лексикологии русского языка.* Вологда, 1983.
11. *Митрофанова Т. П.* История существительных со значением «осculus» (на материале исторических словарей русского языка). — В кн.: *Актуальные проблемы диалектологии и исторической лексикологии русского языка.* Вологда, 1983.
12. *Богатова Г. А.* История слова как объект русской исторической лексикографии: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук, М., 1983.
13. *Богатова Г. А., Дерягин В. Я., Романова Г. Я.* Славянская историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова. — ВЯ, 1982, № 3.
14. *Котков С. И.* Об источниковедческом аспекте в исследованиях по истории русского языка. — В кн.: *Восточнославянские языки. Источники для их изучения.* М., 1978, с. 7.
15. *Найда Е.* Анализ значения и составление словаря. — В кн.: *Новое в лингвистике.* Вып. 2. М., 1962, с. 46.
16. *Богатова Г. А.* Соотношение цитаты и словаря. — ВЯ, 1980, № 6.
17. *Гельгардт Р. Р.* Теоретические принципы разработки исторического словаря русского языка. — ВЯ, 1978, № 6.
18. *Творогов О. В.* Текстология и лексикография. — В кн.: *Текстология славянских литератур.* Л., 1973.
19. *Виноградова В. Л.* Картотека древнерусского языка и историко-лексикографическая работа. — В сб.: *Вопросы практической лексикографии.* Л., 1979, с. 45.

НГУЕН КУАНГ ХОНГ

ОБЩИЙ ПРИНЦИП И РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

(Опыт сопоставительного изучения европейской и китайской
лингвистических традиций)

Известный польский лингвист Е. Курилович справедливо отмечал, что любой язык всегда реализуется в форме высказываний и в форме слогов. По его мнению, наука о языке должна начинать свою работу с анализа всех целых структур, т. е. высказываний и слогов, а лишь затем переходить к выделению структурных компонентов разных уровней, т. е., например, слов и фонем. «Если наука,— писал Е. Курилович,— движется в обратном направлении — от элементов (например, фонем) к структурам (например, слогам), то это возможно постольку, поскольку в результате предварительного анализа, хотя и в н е я в н о й ф о р м е, элементы были выделены из структур» [1, с. 15]. Следует отметить, что несмотря на всю справедливость высказываний Е. Куриловича относительно европейской классической лингвистики в ее подходе к выделению основных единиц известных уровней языка (ср. фонема и слог, слово и предложение), они вряд ли оправданы, когда речь идет обо всех уровнях языковых единиц (ср. морфема и слово), даже в рамках европейской лингвистики, не говоря уже об иных лингвистических традициях, таких, как, например, китайская. В этой связи и возникает вопрос о возможности неодинаковых подходов к установлению основных единиц в языках различного строя и вместе с тем ощущается настоятельная необходимость в выработке какого-либо единого подхода ко всем языкам мира¹.

С целью освещения поставленных вопросов автор настоящей статьи делает попытку рассмотреть некоторые отличия европейской и китайской лингвистических традиций и показать их противопоставленность в определении и выделении основных единиц языка (силлабемы и фонемы, слова и морфемы).

1.

Европейская лингвистическая традиция от филологии античного времени до современной фонологии действительно при установлении звуковых единиц языка движется в «обратном направлении»: ученые всегда исходят из так называемых «отдельных звуков речи», в терминах которых и определяется обычно состав фонем (в тесной связи с установлением набора букв для письма), и лишь после этого говорят о слоге как комбинации отдельных фонем (звуков). «Звук» речи обычно представляется как кратчайший звуковой сегмент, данный непосредственно в наблюдении. Задача исследователей заключается в том, чтобы зафиксировать все звуки речи, опираясь при этом на свой лингвистический опыт [см. 2, с. 353], в виде последовательности знаков-букв, а затем идентифицировать и классифицировать их, в результате чего получается состав фонем исследуемого языка. Таким образом, основным содержанием фо-

¹ Так, например, одинаковый подход к выделению языковых единиц в языках любой типологии предлагается у самого Е. Куриловича, когда автор пишет: «От современной лингвистики мы ждем именно строгого и я в н о г о анализа структур, в результате которого будут получены классы, основанные по своим синтаксическим функциям на структурах» [1, с. 15].

нологической разработки является идентификация заранее данных звуков по их физическим и функциональным свойствам. Попутно можно заметить, что именно здесь, в отношении к выбору определенных критериев для отождествления известных звуков, входящих в единую фонему, и возникают главное расхождение и полемика между различными фонологическими школами², тогда как вопрос о сегментации фонетического потока на отдельные звуки дискутируется мало. Для исследователей европейской традиции звук всегда выступает на первое место, хотя сегментность и отдельность звука в акустико-артикуляционном плане далеко не доказаны. Слог же, величина гораздо более явная, напротив, определяется через первичные термины «гласных» и «согласных» звуков речи³. В связи с этим большой интерес всегда представляет вопрос об определении границ между слогами. Легко заметить, что в европейской лингвистической традиции существуют разные точки зрения и идут бурные споры по вопросам выделения слога и определения слогораздела с учетом тех или иных акустических и артикуляционных параметров⁴.

Совсем иная картина в китайской лингвистической традиции. Здесь звуковые единицы выделялись вне зависимости от письменности и грамматики, но в тесной связи с разработкой стихотворной метрики. В китайской традиционной фонологии (*иньюньсюэ*)⁵ отсутствует понятие «звука» (гласного и согласного), а в качестве определенного фонетического объекта, данного непосредственно как целое, выступает, напротив, тонированный слог, обычно называемый *цзыинь* или просто *инь* (т. е. звучание, обозначаемое одним иероглифом). Тонированные слоги подробно описываются и классифицируются на основе тщательного анализа их структуры, и в результате этой работы появляются *юньшу* — словари рифм (например, словарь «Гуан юнь», 1008 г.) и *юньту* — таблицы рифм (например, таблицы «Юнь цзин», 1161 г.), в которых каждому тонированному слогу отводится точно фиксированное место. Проблема слогоделения не существует для китайских исследователей, зато они серьезно разрабатывают проблему членения тонированного слога на составные элементы. С помощью приема так называемого *фаньце* («разрезание» слога) китайские филологи выделяют в каждом слове своей речи две составные единицы, следующие друг за другом в строго определенном порядке: *шэнь* (инициаль) и *юнь* (финаль). С другой стороны, опираясь на явление, называемое *шуаншэнь деюнь* (т. е. повторение слогоморфем), исследователи отождествляют звуковые элементы, занимающие в слове определенную позицию. В результате выясняется состав фонологических единиц, соотносительных с единицами фонемного уровня в европейской фонологической традиции⁶. Следует указать, что только сравнительно недавно, после знакомства с языками Европы и европейской фонетикой, китайцы начали рассматривать свой слог в виде структурной модели из четырех следующих друг за другом компонентов, соответствующих звукам. Однако и в этом случае они по-прежнему представляли тонированный слог как единое целое из четырех частей — «головы», «шеи», «туловища» и «хвоста», в котором тон был «душой» [см. 10, с. 91]. Таким образом, выделяя, описывая и классифицируя фонетические единицы, китайская классическая фонология идет от слога как от целого к составляющим это целое компонентам, т. е.

² Ср., например, различные понимания фонемы в истории русской фонологии [3, 4; 5, с. 350—414].

³ «Слог — это звук без значения, составленный из негласного и гласного...» (Аристотель). «Вообще говоря, слог есть комбинация согласных с гласным или гласными, хотя в более широком смысле он может быть образован единственным гласным...» (Дионисий Фракийский); цит. по [6, с. 8]. См. также [7].

⁴ О различных теориях слога в Европе см., например, [5, с. 171—181; 6, с. 3—23].

⁵ О китайской традиционной фонологии и традиционном языковедении см. [8—16].

⁶ Для китайских филологов прошлого кратчайшей звуковой единицей, не делимой далее на сегменты, являлся не только *шэнь* (слоγοначальный согласный), но и *юнь* (остальная часть слога), хотя, имея представление о «звуке» в европейской (и, видимо, «общей») фонетической теории, мы и можем выделить в некоторых финалях (*юньях*) со сложной артикуляцией несколько «звуков» (как, например, финаль *-an* в слове *lín* «орхидея»). См. [14, с. 140; 16, с. 224—228; 17].

в направлении, противоположном тому, которым следует европейская фонетическая традиция. Этим основным различием обусловлен и целый ряд других отличительных черт и тенденций развития обеих лингвистических традиций в области сегментации и интеграции фонетических единиц разных уровней.

В области двусторонних единиц языка, обладающих не только звучанием, но и значением (слова и морфемы) между рассматриваемыми лингвистическими традициями также обнаруживаются расхождения в направленности их выделения, однако здесь положение прямо противоположно только что рассмотренному.

Традиционная лингвистика Европы уделяет большое внимание такой языковой величине, как слово, оно рассматривается как данное целое, из совокупности которых составляются предложения. Основным содержанием исследовательской работы над этим объектом является классификация слов по их функциональным свойствам и семантике, в результате чего в европейском языкознании издавна развивалась теория частей речи [см. 18, с. 17, 20, 23; 14, с. 93—94]. Впоследствии, после знакомства с древнеиндийской грамматикой Панини, европейцы стали усиленно заниматься анализом структуры слова и выделением языковых единиц более низкого уровня, а именно, морфем [см. 18, с. 12]. Противопоставляя по значению и по словообразовательной или формообразовательной функции корни и аффиксы, европейская лингвистическая традиция классифицирует последние по их позиции в слове относительно корня, различая при этом префиксы, инфиксы, суффиксы и т. п. Большое внимание уделяется при этом проблеме межморфемных границ внутри слова, вызывающей серьезные разногласия [см. 19]. Нетрудно заметить, что имеется некоторое сходство между подходом китайской традиционной фонологии к ее объекту — слогу и подходом европейской морфологии к слову. В обоих случаях процесс выделения и установления языковых единиц имеет направление от целого к части, в связи с чем особое внимание уделяется классификации целых единиц и анализу их структуры с целью выделения единиц низшего уровня по их позиции в составе целого ⁷.

Китайская классическая филология состоит из трех взаимосвязанных разделов, общим объектом изучения которых выступает иероглиф, рассматриваемый и описываемый с разных сторон: как письменный знак — его изучает теория письма (*вэньцзысюэ*), его звучанием занимается фонология (*иньюньсюэ*), и, наконец, его значение составляет предмет семантики или, точнее, — схоластики (*сюньгусюэ*). Немногочисленные наблюдения над морфологией и синтаксисом [например, классификация *цзы* (иероглифов) на «полные» (*шицзы*) и «пустые» (*сюцзы*), описание употребления пустых *цзы* и т. п.] помещались в словарях и текстологических комментариях, т. е. входили в раздел *сюньгусюэ*, а не выделялись в специальный раздел и никогда не достигали такого развития, как морфология и синтаксис в европейском языкознании ⁸. Таким образом, если в Европе в фокусе лингвистических исследований всегда было слово, то в Китае основное внимание филологов привлекал *цзы* — слог, обозначенный иероглифом, как наиболее самостоятельная единица языковой системы. Но, с другой стороны, *цзы* является наименьшей двусторонней единицей, и в этом отношении вполне может быть сопоставим с морфемой в европейской морфологии. Тем не менее китайцам эта единица не представляется как выделенная из какого-либо большего целого, и китайские филологи никогда не классифицировали свои *цзы* на корни и аффиксы

⁷ Весьма интересно отметить, что если в Европе языковеды часто говорят о словах или словоформах с нулевой морфемой [см. 20], то в Китае выделяют слог с «нулевой инициальной» [см. 8, 17].

⁸ Различение «полных» и «пустых» *цзы* проводится уже в словаре ханьской эпохи «Шэвэнь цзэцзы» (121 г.), составленном Сюй Шэнем (30—124 гг.). Впоследствии, в эпоху Тан (VII—X вв.), под влиянием санскритской грамматики китайцы писали о «падажах» (как, например, в трактате «Шэньмин люэ»), однако эта попытка не получила поддержки. Учение о слове и предложении появляется в Китае под влиянием европейской лингвистики только в конце XIX в. [см. 14, с. 129].

(префиксы, суффиксы и т. п.). Напротив, для китайцев *цзы* — единица исходная, функционирующая довольно свободно и способная входить в состав языковых единиц большего размера. Такой взгляд на *цзы* явно напоминает нам взгляд европейских исследователей на *фонему* (звук) как на основную фонетическую единицу, из которой образуются слоги и другие, большие по размерам фонетические единицы.

Итак, в итоге можно было бы представить следующую общую картину. В отношении членения целого объекта на составные единицы европейская морфология, где: слово → корни + аффиксы, может идти в сравнение с китайской классической фонологией, где: слог → инициаль + финаль. В отношении же вхождения элементарных единиц в состав единицы высшего уровня дело обстоит как раз наоборот: китайское учение о *цзы* (полных и пустых однословах) можно сравнивать с европейским учением о *фонеме* (гласных и согласных звуках).

2.

Чем объясняется такое различие? Следует подчеркнуть, что все указанные выше особенности исследовательских подходов европейской и китайской лингвистических традиций не связаны с философскими проблемами лингвистики, но относятся лишь к различному направлению и порядку выделения языковых единиц и определения их уровней в самой языковой системе.

Для носителей языка выделение значимых и звуковых единиц всегда происходит при взаимообусловленности двух планов языка — плана выражения и плана содержания [см. 21, 22]. Совершенно очевидно, что возможность сопоставления фонетического и семантического планов во флективных языках (русском, французском и др.) никак не ограничивается и не определяется границами слогов в высказывании: сопоставление может проводиться и внутри отдельных слогов, иначе говоря, членение речевого потока на самые естественные произносительные единицы не всегда соотносится с членением его на наименьшие значимые единицы. Именно это несовпадение и является предпосылкой, позволяющей носителям языка выделять звуки, а не слоги, как кратчайшие отрезки звукового ряда, как основные фонетические единицы, служащие десигнаторами значимых единиц. Таким образом, в сознании носителей этих языков отдельный звук выделяется как языковая величина, существующая объективно в их речевой деятельности. Языковеды — носители флективных языков (наиболее типичными из которых являются древние и современные языки Европы), выделяя в родном языке фонологические (фонетические) единицы, исходили как раз из представления об «отдельных звуках» речи как психолингвистических единицах в языковом сознании носителей языка. Сталкиваясь с малознакомым или вовсе неизвестным ему языком, такой языковед продолжал исходить из готовых представлений о звуках своего родного языка (флективного) [см. 2. с. 358; 23].

Китайские филологи прошлого строили свою теорию на материале родного языка, и в процессе речевой деятельности им не приходилось наблюдать несовпадения между границами слогов и границами значимых единиц. В китайском языке, как и во вьетнамском и ряде других языков изолирующего типа, границы тонированных слогов почти всегда совпадают с границами значимых единиц, а это приводит к тому, что звуковые элементы меньше слога (соответствующие примерно звукам флективных языков) не могут иметь статус самостоятельных фонетических единиц вне слога. Иначе говоря, каждый тонированный слог, постоянно соотносимый со значимой единицей, предстал перед исследователями как единство звучания и значения, как монолитное целое, обладающее законченностью формы в речевой деятельности носителей языка⁹. Совершенно естественно поэтому, что китайские филологи, вы-

⁹ Монолитный и законченный характер китайского однослова с точки зрения фонологии и морфологии в сравнении с фонемой и морфемой флективных языков отмечался многими советскими исследователями [см., например, 24, 25].

деляя фонетические единицы своего языка, исходили именно из слога (а не из звука).

Когда границы слогов в языке не связаны с границами значимых единиц, говорящий на данном языке, если это позволяют артикуляционно-акустические условия, может произвольно членить звуковой поток на слоги, проводя слоговые границы по-разному, как это и имеет место во флективных языках¹⁰. Именно здесь кроется причина споров о критериях выделения слогов и членения речевого потока на слоги в европейском языкознании.

Неясность и амбивалентность слоговых границ могут быть полностью устранены только в том случае, если слоговые границы будут в то же время и границами значимых единиц языка, — положение, существующее в китайском языке, особенно в его средневековом состоянии (а также во вьетнамском и других изолирующих языках). Поэтому в китайском традиционном языкознании проблема границ слога никогда не считалась сложной и дискуссионной. Для того же, чтобы выделить фонетические единицы, меньшие чем слог, китайским ученым пришлось разработать специальные приемы анализа.

В то же время анализ структуры слога не вызывал особого интереса у европейских исследователей, поскольку составные элементы слога (т. е. звуки) рассматривались ими с самого начала как самостоятельные фонетические единицы. С другой стороны, постоянное несовпадение слоговых и морфемных границ в речевом потоке приводило к неустойчивости звуковой оболочки морфем, к тому, что она то и дело менялась с изменением границы слога¹¹. Это, вероятно, мешает говорящему на флективном языке легко идентифицировать морфему. Морфема как компонент слова может быть выделена только с помощью анализа структуры слова. Во флективных языках поэтому представление о словах как данных заранее единицах языка, из которых состоит высказывание, складывается не только на основании номинативной функции слова, не только на основании его способности к самостоятельному употреблению в предложении, но и благодаря в значительной мере регулярному совпадению границ слова с границами сочетания слогов, а также благодаря наличию в нем флексии, могущей служить сигналом словораздела в высказывании.

Совершенно другая картина наблюдается в изолирующих языках — китайском, вьетнамском и им подобных. Регулярное совпадение слогового и смыслового планов при членении речевого потока приводит к тому, что почти каждый тонированный слог в этих языках может семантизироваться, употребляться и быть квалифицирован как морфема и/или как самостоятельное слово. Такой тонированный слог носители языка, а за ними и китайская лингвистическая традиция, называют *цзы* [см. 26], а ряд советских востоковедов обозначает термином «морфосиллабема» [см. 25, с. 22]. (Соответствующая единица языковой системы во вьетнамской классической филологии носит название *тиенг* [см. 27]). Языковые единицы большего размера, вообще говоря, представляют собой сочетания отдельных морфосиллабем, связанных между собою фонетически и/или семантически, и различаются по степени спаянности. Не случайно поэтому китайская традиционная лингвистика основное внимание уделяет различению «полных» и «пустых» *цзы*, безотносительно к их позиции в составе таких сочетаний. В этой связи вполне понятно также, что в грамматике языков данного типа большие трудности представляет отграничение сложного слова от других сочетаний морфосиллабем.

В советской литературе по востоковедению было убедительно доказано, что способность к изменению морфологической формы в предложении появляется у слова только тогда, когда основные фонетические

¹⁰ Например, слово *бомба* делится на слоги двояко: *бом-ба* и *бо-мба*, слово *ardra* допускает деление *ar-dra* и *ard-ra*. См. [5, с. 175; 6, с. 4—18].

¹¹ Ср., например, русскую морфему *ход* в таких словах и формах, как *хо-ди/у/ть*, *в/хо-ж/у*, *в/ход*, *у в/хо-ди/а* и т. п.

единицы (фонемы) обладают способностью к свободной широкой сочетаемости и могут порождать значительное количество различных звуковых комбинаций, как это наблюдается в индоевропейских языках. В языках же Восточной Азии, подобных китайскому, в связи с тем, что границы значимых единиц регулярно совпадают с границами слогов, чередование и свободная сочетаемость фонетических единиц уровня фонем невозможны, а потому и нет материальных (фонетических) условий для изменения морфологической формы слова [28]. В конечном счете изолирующий или флективный характер слова в разных языках теснейшим образом связан с явлением совпадения или несовпадения планов звучания и значения при членении речевого потока, которое производит в своей речевой деятельности носитель языка. Совершенно очевидно, что развитие морфологии и формального синтаксиса во флективных языках обусловлено способностью флективного слова изменять свою форму в составе высказывания, что чуждо языкам изолирующего типа.

Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что различный подход лингвистических традиций Европы и Китая к выделению основных единиц языка по сути дела отражает основное типологическое различие языков, являющихся объектами изучения¹². Языковеды, создававшие эти традиции, были носителями языка, владевшими механизмом функционирования языковой системы до того, как они приступали к ее описанию. Эти языковеды (как европейцы, так и китайцы) описывали язык «изнутри», не опираясь на какие-либо представления, почерпнутые «извне», составленные на материале языков иных типов. В этом и состоит основной принцип описания, это и есть единое основание обеих лингвистических традиций. Различия же между ними является лишь результатом последовательного проведения этого принципа при описании языков, относящихся к совершенно иным типам.

В этой связи следовало бы вспомнить, что Бодуэн де Куртенэ в свое время придавал большое значение изучению языка «изнутри», с позиций его носителей. Вот что он писал по этому поводу: «Я полагаю, что всякий предмет нужно прежде всего исследовать сам по себе, выделяя из него только такие части, какие в нем действительно имеются, и не навязывая ему извне чуждых ему категорий. В области языка объективным руководителем при подобных научных операциях должно служить чутье языка и вообще его психическая сторона» [29, с. 22]¹³. Важно отметить также, что предлагаемый Бодуэном лингвистический принцип как определенный метод научного познания языковых объектов, по всей видимости, весьма близок к общему методу познания объективной истины, на который В. И. Ленин обратил большое внимание в конспектах из книги Гегеля «Наука логики»: «[...] абсолютный метод» (т. е. метод познания объективной истины) „проявляется не как внешняя рефлексия, а берет определенное из самого своего предмета, так как этот метод сам есть его имманентный принцип и душа.— Это есть то, чего Платон требовал от познания,— *рассматривать вещи сами по себе*, отчасти в их всеобщности, отчасти же не уклоняться от них в сторону и не хвататься за побочные обстоятельства, примеры и сравнения, но иметь единственно эти вещи перед собой и доводить до сознания то, что в них имманентно...» [30]. Вероятно, всякое лингвистическое описание, последовательно проведенное по указанному принципу, смогло бы соответствовать психологической реальности выде-

¹² Следует признать, что на направление исследований в каждой из лингвистических традиций оказал влияние и т и п и с ь м а. Этот вопрос заслуживает специального изучения и обоснования. Здесь, однако, можно отметить, что различные типы алфавита и письма, созданные в древности и средневековье в цивилизованных регионах мира, в конечном счете также были обусловлены различиями в типах языков и отражали их особенности.

¹³ «Ссылаюсь же я на чутье языка потому, — продолжает Бодуэн, — что для меня оно не есть какая-то выдумка, не есть какой-то субъективный самообман, но факт действительный и вполне объективный. Чутье каждого языка может открыть и понять и иностранец, точнее, иноплемяник, если только он изучит этот язык как следует, если он обладает достаточным знанием фактов и научно сообразительностью и, наконец, если его голова свободна от навязанных преданием предрассудков» [29, с. 22].

ленных при этом языковых единиц и, следовательно, смогло бы дать адекватные модели описываемого языка.

Само собой разумеется, что приведенное утверждение о важности изучения языка «изнутри» отнюдь не означает отрицания всякой попытки лингвистических описаний по каким-либо иным принципам, и прежде всего по так называемому принципу «сверху», в котором исходными посылками послужили бы все универсальные законы и свойства человеческого языка вообще. Эти же законы и свойства, однако, выявляются прежде всего именно благодаря имевшимся результатам «традиционного» изучения ряда конкретных языков «изнутри», с позиций их носителей.

Что касается подхода, предлагаемого Е. Куриловичем для современной лингвистики (см. выше), то такой порядок анализа [на всех уровнях от целых структур (объектов) к их элементам] в лучшем случае может быть представлен как один из возможных подходов, которые одинаково применимы для описания разных языков по принципу «сверху» и необходимы прежде всего для сопоставительной типологии языков различных систем. В то же время из всего вышеизложенного совершенно очевидно, что при подобных подходах невозможно учесть психологическую реальность языковых единиц всех уровней в языках самых различных систем и, следовательно, получить психологически адекватные модели описания отдельных языков. Таким образом, для современной лингвистики оказываются необходимыми также подходы, выработанные по принципу изучения языков «изнутри» и в силу этого специфичные для отдельных групп языков определенного типа, что позволяло бы построить психологически адекватные модели лингвистического описания¹⁴. В этом отношении, кроме всех общепринятых теоретических положений современной лингвистики, представляются весьма интересными, как подчеркивал Н. И. Конрад [13, с. 27], достижения различных лингвистических традиций как на Западе, так и на Востоке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
2. Леонтьев А. А. Мысли о транскрипции. — В кн.: Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
3. Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970, с. 9—112.
4. Зиндер Л. Р. Фонология и фонетика. — В кн.: Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968, с. 193—231.
5. Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967.
6. Лekomцева М. И. Типология структур слога в славянских языках. М., 1968.
7. Перельмутер И. А. Аристотель. — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980, с. 169—170.
8. Ван Ли. Ханьюй пиньюньсюэ (Фонология китайского языка). Бэйцзин, 1956.
9. Ван Ли. Чжунго юйяньсюэ ши (История китайского языкознания). — Чжунго юйянь, 1963, №№ 3—6; 1964, №№ 1, 2.
10. Ло Чанпэй. Ханьюй иньюньсюэ даолунь (Введение в фонологию китайского языка). Бэйцзин, 1962.
11. Цэнь Цисянь. Юйяньсюэ ши гайяо (Очерки по истории языкознания). Бэйцзин, 1964.
12. Чжао Инътан. Дэнъюнь юаньлю (Историческое развитие учения о классификации рифм). Шанхай, 1957.
13. Конрад Н. И. О национальной традиции в китайском языкознании. — ВЯ, 1959, № 6.
14. Амирова Т. А., Ольховиков В. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
15. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.). — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир.
16. Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (XI—XIX вв.). — В кн.: История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
17. Nguyen Quang Hong. Am tiet tieng Viet, chuc nang va cau truc cua no (Слог во вьетнамском языке, его функция и структура). — Нгон нгы, 1976, № 3.
18. Томсен В. История языковедения до конца XIX века. М., 1938.
19. Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа. М., 1972, с. 26—64.
20. Солнцев В. М. Морфема и слово. — В кн.: Языки Юго-Восточной Азии. Вопросы фонетики, фонологии, морфологии. М., 1970.

¹⁴ Сходного мнения придерживается, видимо, и В. М. Алпатов, ср.: «Психологически адекватные модели языков должны строиться по-разному и действительно строятся по-разному в различных лингвистических традициях» [31].

21. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 114—115.
22. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики.— В кн.: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 144—145.
23. Зиндер Л. Р., Бондарко Л. В. Исследование фонетики.— В кн.: Основы теории речевой деятельности. М., 1971, с. 145—149.
24. Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. М., 1930.
25. Драгунов А. А. Грамматическая система китайского разговорного языка. Л., 1962.
26. Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики. М., 1954, с. 21 и сл.
27. *Nguyen Tai San. Ngu phap tieng Viet. Tieng. Tu ghep. Doan ngu* (Грамматика вьетнамского языка. Тиенг. Сложное слово. Доан-нгы). Ханой, 1975, с. 9 и сл.
28. Рождественский Ю. В. О некоторых предпосылках флексии и изоляции.— В кн.: Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии. М., 1964.
29. Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963.
30. Ленин В. И. Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29, с. 201.
31. Алпатов В. М. О двух подходах к выделению основных единиц языка.— ВЯ, 1982, № 6, с. 72.

ЛАШКАРБЕКОВ Б. Б.

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВАХАНСКОГО ГЛАГОЛА НА ТРЕХ СТАДИЯХ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

При рассмотрении структуры ваханского глагола в историческом аспекте выявляются такие случаи, когда та или иная форма восходит непосредственно к древнеиранскому уровню, и такие, когда совершенно очевидно ее позднее происхождение. Наряду с теми и другими отмечаются также формы, которые не восходят к древнеиранским и не могут трактоваться как поздние, поскольку образуются по застывшим схемам, принципы построения которых с точки зрения современных норм не ясны.

В настоящей статье предпринята попытка установить методом внутренней реконструкции этапы исторического развития ваханского глагола, вскрывая взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных явлений, что дало бы возможность проследить его эволюцию как единой целостной системы, выявить динамику развития языка.

Проведенный анализ дает основание говорить о становлении ваханской глагольной системы на трех стадиях языкового развития, определяемых как протоваханское, ранневаханское и поздневаханское состояния. С поздним состоянием вплотную соприкасается современный этап развития системы глагола.

Протоваханское состояние. Эта стадия определяется как период становления одного из поздних древнеиранских диалектов, легшего в основу ваханского языка. Его возникновение связывается с распадом более крупного диалектного объединения — восточноиранского. Применение термина «диалект» (а не «язык») по отношению к восстанавливаемому периоду обосновывается тем, что все его особенности развивались в соответствии с нормами древнеиранских языков и на базе тех же унаследованных морфологических единиц. На хронологической шкале этот период является третьей (после общеиранского и восточноиранского) и, пожалуй, последней стадией в развитии данного диалекта древнеиранской языковой эпохи. Следующий этап его развития ознаменовался рождением нового иранского языка — ваханского.

Выделение протоваханского, судя по всему, намечилось уже на очень раннем этапе, о чем, в частности, свидетельствует особое отражение др.-ир. **θú* (и.-е. **kú*) как вах. *š* при *sr* в остальных памирских языках, использование отглагольных имен на **-na* в качестве основ прошедшего времени (чем ваханский отличается от всех остальных иранских языков), а также факты, связанные с особенностью косвенной конструкции предложения, не ограничивающейся выделением одних лишь переходных глаголов. В результате мы не имеем веских аргументов в пользу промежуточной общности ваханского с другими известными иранскими, прежде всего — памирскими языками.

Как известно, уже на общеиранском уровне многие унаследованные от индоевропейского грамматические формы стали утрачивать прежние функции, переходя в разряд непродуктивных застывших форм, другие же, наоборот, на иранской почве становятся более продуктивными, примером чего может служить ранняя активизация класса так называемых каузативных основ на **-aya* [1, с. 86—87, 100]. В каких-то случаях происходило смешение некоторых грамматических форм [1, с. 100—101]. Все эти тенденции более ярко стали проявляться в поздних диалектах, возникших в результате распада иранского праязыкового состояния.

Поздние диалекты вместе с тем унаследовали от праязыкового состояния богатый флективный тип, что открывало перед каждым диалектом-языком широкие возможности вырабатывать специфические тенденции развития, оказывая при этом предпочтение той или иной языковой форме или явлению.

Протоваханскому диалекту, судя по всему, были присущи следующие структурные черты.

В нем заметно уменьшилась численность глагольных классов — примерно до пяти. Сохранившиеся классы наполняются, однако, более четкими значениями и становятся более продуктивными.

Особую активность приобретает класс так называемых каузативных основ на **-aya* с обязательным усилением корневого гласного. В ряде примеров каузативный суф. **-aya* нашел непосредственное отражение¹: *дыуу*-² «красть» < **dāβ-aya-*, $\sqrt{dāb}$ -; *рытму*- «дразнить» < **pati-māya*-³, ср. *pətməy-* «измерять» < **pati-maya*, $\sqrt{mā(y)}$ -; *выздыу*- «стирать, мыть» < **ava- snāya-*, $\sqrt{snā(y)}$ -, ав. *snā-*, др.-инд. *avasnāyati*.

Основной приметой этого класса на современном этапе является огласовка *ы* (< **ā*). Существенно, что из имеющихся около 60 глаголов с «ы»-огласовкой 50 являются переходными. В парных глаголах этот гласный всегда выделяет переходный или каузативный глагол: *пыу*- «увлажнять, мочить» при *nav-* «впитывать влагу», $\sqrt{nab}$ -; *быт*- «разрушать» < (**ham-*) *pātaya* при *bəδ-* «рушиться», $\sqrt{pat}$ -; *тыс*- «набивать» при *təç-* «расти», $\sqrt{tak/g}$ -; *спын*- «наполнять» при *span-* «наполняться», $\sqrt{prn}$ -; *дрыуу*- «заставлять косить» при *draw-* «косить», $\sqrt{drav}$ -; *рəшыв*- «возвращать» при *pšəw-* «возвращаться», возможно, < $\sqrt{šyav}$ -(?); *нысыв*- «укладывать спать» (< **ni-sāya-* с прибавлением позднего каузативного суф. *-v*) при *nəšəy-* «ложиться спать», $\sqrt{sa(y)}$ -; *кыф*- «заставлять лопаться» при *kaf-* «лопаться», *šыр*- «заставлять сосать (грудь)» при *šar-* «сосать», возможно, < $\sqrt{θvar}$ -, ср. шугн. *sipaf-*; *выу*- «жечь» при *vau-* «гореть», $\sqrt{vav}$ -; *ныс*- «терять» при *naš-* «теряться», ав. *nas-*.

Что касается непреходных глаголов с «ы»-огласовкой, то большинство из них выражает произвольное действие, в связи с чем можно полагать, что эти глаголы изначально оформлялись по каузативному типу (поскольку действие в них совершается не по воле субъекта, а как бы принудительно) и спрягались в прошедшем времени по образу и подобию переходных глаголов⁴ (см. ниже). Ср.: *гышыр*- «засыпать», < **fra-h^vap-aya*, $\sqrt{h^vap}$ -, ср. шугн. *šofc-*; *пыу*- «плакать», $\sqrt{nab}$ -; *зытмыу*- «зевать», возможно, < **zāmb-aya-*, ср. русск. *зевать*, *сдыу*- «казаться», $\sqrt{sad}$ -, ав. *sad-aya-*, *гыу*- «лягать» и *зрыу*- «выть», $\sqrt{rā(y)}$ -; *хрыф*- «храпеть».

При сочетании основ с суф. **-aya-* на протоваханском уровне усиливались также огласовки сонантного происхождения, о чем можно судить, исходя из наличия значительного числа переходных глаголов с современной «и»-огласовкой⁵ (< **ai* < **au*, которые равняются по своей функции сильной ступени «ы»-огласовки). Ср. следующие примеры этого типа: *вин*- «видеть», $\sqrt{win}$ -; *пити*- «нанизывать», $\sqrt{tik/g}$ -; *нимил*- «подшивать»,

¹ В некоторых иранских языках следы этого суффикса прослеживаются в виде умлаутной перегласовки корневого гласного (хотаносакский [2], шугнано-рушанская группа [3, с. 114]).

² Уподобление огласовки двусложных основ по типу сильного гласного **ā* > *ы* — характерное явление исторической фонетики ваханского языка.

³ Основы от корней на **-^oā (y)* могут иметь корневой тип *C -^o ay* или тематический *C + āya* уже в древности и лишь потом переосмыслиются как каузативные основы (*C +* любой гласный).!

⁴ О возможных структурных особенностях глаголов, выражающих состояние и произвольное действие, см. [3, с. 100; 5].

⁵ Соотношение переходных/непереходных глаголов в данном случае составляет 25 : 8.

$\sqrt{mil}$ -; δic - «доить», duk/g -; $\dot{z}ip$ - «прясть», $\sqrt{gib}$ -; riz - «пороть», $\langle *rau\dot{j}-aya-$, $\sqrt{rug}$ -; ав. *fra-uruxti* и др.

Непереходные глаголы с «i»-огласовкой также в большинстве случаев выражают непроизвольное действие типа: *liv*- «поскользнуться» $\langle *lai\beta$ - [4, с. 1,73]; $\pi idic$ - «гореть», $\sqrt{dei}/dei\dot{a}$ - [3, с. 44]; $ni\dot{z}ir$ - «желтеть (о посеве)», ср. шугн. *nižêr*; *riž*- «болеть», $\dot{t}if$ - «чихать», $wi\dot{s}$ - «садиться (о солнце)».

В оппозиции к классу каузативных основ на протоваханском уровне развивается класс так называемых медиальных основ на $*-ya$. См. случаи сохранения рудимента $*-ya$ в глаголах: *məru*- «умирать» $\langle *mr-ya$, $\sqrt{mr}$ -, др.-инд. *mriya*-, х.-с. *mar*- $\langle *m\dot{r}-ya$ [6, с. 109]; *kəru*- «хотеть», $\sqrt{kam}$ -, др.-перс. *kama*-; *wəzu*- «приходить», $\sqrt{waz}$ - [4, с. 220] (возможно, также $\langle *awa-za-ya$ -) [7, с. 877], ср. язг. *za(y)* «приходить»; *pərvu*- «попадать», возможно, $\langle *pari-bav-ya$, $\sqrt{bav}$ - [4, с. 188], ав. *pari-bav-a*- «одолевать». См. также случаи сохранения рефлекса $*-ya$ только в 3-м л. ед.ч.: *čirmit* (от глагола *čərat*- «входить») $\langle *čərm-i-t$ - $\langle *čərm-ya-ti$, $\sqrt{k/čərm}$ -; *pirmirit* (от глагола *pərmər*- «вянуть»).

Следы класса на $*-ya$ обнаруживаются также в следующих исходных элементах:

а) $-č$ $\langle *č-ya$ [8, с. 463; 4, с. 39]; *pəč* «вариться» $\langle *pač-ya$ при *pac*- «варить» $\langle *pač-a$ -, $\sqrt{pak/g}$ -; *rəč*- «идти» и *wərəč*- «оставаться», $\sqrt{rik/g}$ -; *təč*- «расти» при *tyc*-, «набивать», $\sqrt{tak/g}$;

б) $-δ$ $\langle *d-ya$ или $*-t-ya$ (с озвончением и последующей спирантизацией $t \rightarrow d \rightarrow \delta$): *bəδ*- «падать» $\langle (*ham-)pad-ya$ - (при *byt*- «валить»), $\sqrt{pat}$ -, ав. conj. *paidyāite* (*pad-ya*-), др.-инд. *pad-ya-te* «падает»; *škəδ*- «ломаться» при *škənd*- «ломать», $\sqrt{skad}$ -; *žəδ*- «рассыпать», возможно, $\langle *zrad-ya$ -(?), др.-инд. *hrad* «град», ишк. *žid*- «проливать»; *rəδ*- «убегать», возможно, $\sqrt{rud}$ -, ав. *fra-raodayeiti* «заставлять течь».*

На отражение $*a > \dot{a}$ в вышеприведенных односложных основах также мог повлиять $*-ya$. Основы *yož*- «рожать» и $wi\dot{s}$ - «садиться (о солнце)» возводятся также к классу на $*-ya$ соответственно $\langle *a-za-ya$ -, $\sqrt{z\dot{n}}/za$ - и $*awa-is-ya$ - [8, с. 549].

На протоваханском уровне в связи с тематизацией ранее корневых основ (явление, характерное для позднего периода развития древнеиранских диалектов [9]) широко распространяется класс основ на $*-a$, куда входят также ранее корневые основы. Признаком этого класса в современных односложных основах является «а»-огласовка и абсолютная нейтральность этих основ к переходности/непереходности: именно класс на $*-a$ в древнеиранском не имел залоговой закреплённости (типа *barati* «он несёт» и «его несут»). В ваханском языке существует приблизительно равное количество переходных и непереходных (35 : 30) глаголов с «а»-огласовкой. Ср. переходные: *draw*- «косить», *šar*- «сосать», *zway*- «наматывать», *car*- «делать» (соответственно $\langle *draw-a$ -, $*vvar-a$ -, $*uz-way-a$ -, $*čar-a$ -) и непереходные: *čaw*- «идти», *san*- «подниматься», *nav*- «мокнуть, впитывать влагу» (соответственно $\langle *čyav-a$ -, $*san-a$ -, $*nav-a$ -). Ср. также примеры, говорящие о том, что «а»-огласовка лишена грамматической функции: при маркировке переходного *vayw*- «жечь» $\langle *vāw-aya$ -за классом $*-a$ закрепляется непереходное значение — *vaw*- «гореть» $\langle *vaw-a$ -; и наоборот, при маркировании непереходного *pəč*- «вариться» $\langle *pač-ya$ - этот класс приобретает переходное значение *pac*- «варить» $\langle *pač-a$ -.

В двусложных основах все древнеиранские краткие гласные отразились в ваханском как «а», так что явных примет класса на $*-a$ в этих случаях не сохранилось. Логически к классу на $*-a$ при этом можно возвести те переходные двусложные основы с огласовкой «а» (непереходные могут восходить как к классу на $*-a$, так и на $*-ya$), которые не имеют в своем составе явных примет других классов, типа: *nəšpər*- $\langle *ni-spara-a$ - «на-

ступать», $\sqrt{spar-}$, ав. *spara-*, шугн. *niṣpār-*; *yər wər-* «выбирать» < $*ā-var-a-$, ав. *var-*, согд. *ywʾr* «выбор» и др.

Класс основ на $*-n-$ и $*-na$ в отличие от предыдущих выделяется на протоваханском уровне уже как непродуктивный. Почти все засвидетельствованные основы с этими показателями унаследованы от более древнего состояния, в отличие от языков шугнано-рушанской группы, где налицо новообразования с этими показателями [3, с. 122]. Однако класс на $*-n(-)$, несомненно, имел в этот период лексико-грамматическое значение переходности, поскольку все глаголы этого типа в современном ваханском языке переходные: $\check{x}ənz-$ «лить», $\sqrt{h}vin/g-$, ав. *hinčaiti* «льет»; *vərdənz-* «давить», $\sqrt{dra(n)k/g-}$, ав. praes. *dranjaya-*; *rəsənz-* «вешать», $\sqrt{sa(n)k/g-}$, ср. тадж. *sanj-* «проверять», *tanz-* «натягивать нитку (паутину)», $\sqrt{ta(n)k/g-}$, ав. *tanjaya-* «тянуть»; *vrin-* «стричь», $\sqrt{brī-}$, ав. impv. Med. *orinanuha* (*brin-*, *brina-*), ср.-перс. *brin-*, ягн. *virin-*; *wičin-* «сыпать (зерно из кузова мельницы)», ав. *čīnav-* «выбирать», согд. *w(y)čyn*, шугн. *wizīn-* «освобождать, удалять»; *zənd-* «отнимать» < $*zi-na-$ [4, с. 229], $\sqrt{zī/zyə-}$, ав. *zinā-*, др.-перс. *a-di-nā*; *škənd-* «разбивать» при *škəb-* «разбиваться», $\sqrt{ska(n)d-}$; *rand-* «давать» < $*ra(n)d-a-$ (возможно, на индоиранском уровне причастное образование < $*rata$ [10]; *rygənd-* «продавать» < $*para-rand-a-$ [11, с. 238] (усиление огласовки, возможно, явление позднее, хотя см. сочетания с каузативом в Авесте: *sčindayeiti* (*skandaya-*) «ломает»; *vand-* «завязывать», $\sqrt{ba(n)d-}$; *nund-* «сажать» < $*ni-hand-a-$, $\sqrt{had-}$, санг. *nēnd-*, шугн. *nēd-* < $*ni-hadāya-$ [12]; *zrənd-* «скоблить», $\sqrt{ra(n)d-}$. Ср. также глаголы, не имеющие достаточно прозрачных этимологий: *niṣind-* «вытаскивать», ср. шугн. *naṣfēn-*; *yund-* «пести», возможно, < $*yand-$ [8, с. 554]; *zələnd-* «трясти».

На протоваханском уровне имел распространение также класс так называемых инхотивных основ на $*-sa$ (др.-ир. $-sua$, и.-е. *skē(o)*), хотя в ваханском он оказался менее продуктивным, чем в шугнано-рушанской группе языков. Здесь, в отличие от класса на $*-n(-a-)$, помимо основ, восходящих к древнему состоянию, мы находим и поздние образования типа: *rədməṣ-* «пухнуть» < $*dam-s-ya-$ [7, с. 863; 8, с. 533; 4, с. 187], др.-инд. *dham-* «надуваться»; *gəfs-* «бегать», возможно, < $*gif-sa-$, $\sqrt{gīv/b-}$ «вращаться», *pidic-* «гореть» при *pičw-* «жечь» (позднее образование от $*pidic + w-$ с отпадением слога $-di-$), ср. шугн. *pidis-* «гореть» при *pidin-* «жечь», язг. соответственно *paḍays-* и *paḍay-*, $\sqrt{deṭ-/deṭə-}$ [3, с. 44]; *wərəfs-* «стоять», $\sqrt{rap-}$ [4, с. 218], шугн. *wirəfs-* «стоять» при *wiremb-* «заставлять стоять, ставить»; *šəx(ə)s-* «проходить», $\sqrt{sak-}$, ав. *sačate* (*sača-*) «истекать», др.-перс. *θakata-* «прошедший»; *nəḍəfs-* «прилепляться», $\sqrt{dab-}$; *naṣ-* «теряться», < $*nas-sa-$ при *nys* «терить».

Сравнительно малую продуктивность этого суффикса следовало бы, очевидно, видеть в наличии одновременно двух грамматических средств для выражения непереходности $*-ya$ и $*-sa$, первое из которых получило более широкое распространение, точно так же, как распространение каузативных основ на $*-aya$ тормозило развитие носовых суффиксальных и инфиксальных основ на $*-n-$, $*-na$. Сходная с ваханским картина наблюдается в мунджанском языке: генерализация непереходных основ по типу $*-ya > -i$ очень рано приостановила развитие основ на $*-sa$ [3, с. 120]. В шугнано-рушанской группе происходит обратное: $*-sa$ занимает более активную позицию, а суф. $*-ya$ здесь постепенно утрачивает свое морфологическое значение [3, с. 126].

Древнеиранские превербы $*fra$, $*ni$, $*pati$, $*pari$, $*ava$, $*avi$, $*uz$ в протоваханском в какой-то степени оставались самостоятельными лексическими элементами. Ср., например, собственно ваханские префиксальные образования: *ryṣyr-* «спать» < $*fra-h^v\bar{a}p-aya-$ (см. выше), $\sqrt{h^v}ap-$ при ав. $h^v\bar{a}p$, шугн. *ṣofc-* < $*h^v\bar{a}f-s-$, тадж. инф. *xuftan*; *nišw-* «подсматривать» < $*ni-sār-aya-(?)$ при шугн. *sēr-* < $*sār-aya-$, тадж. (бадахш.) *sor-*; *rədməṣ-* «пухнуть» < $*pati-dam-s-ya-$ при тадж. *dam kardan*

«опухать»; *rəwəz-* «летать» < **fra-waz-a-* (или *waz-ya-*) при вах. *waz-* «падать», √ *waz-*. Однако на последующих этапах старые превербы утрачивают прежнее значение, перестают осознаваться и сохраняются лишь в составе неразложимых основ. Только префикс *pər* < **pari*, по-видимому, оставался активным вплоть до поздневаханского состояния. Ср. случаи позднего префиксального образования: *pərpəṣ-* «созревать» (о гнойнике) от глагола *pəṣ-* «вариться»; *pərp(i)dic-* «сгорать» при *pidic-* «гореть»; *pərpəṣ-* «вянуть» при *təṣ-* «умирать»; *rygyf-* «штопать» при *(w)yf-* «вязать»; *pərwic-* «просеивать» при *wic-* «помещаться».

Данные современного состояния не дают возможности воссоздать, хотя бы в наиболее общих чертах, картину развития спрягаемых форм протоваханского состояния. Наиболее употребительной формой, судя по всему, мог здесь стать древнеиранский презенс индикатива актива, легший в основу современной формы настоящего-будущего времени. В качестве императива, возможно, получила распространение форма с показателем *-a (типа ав. *bara!* «неси!»), о чем свидетельствует наличие в современном ваханском языке формы императива 2-го л. ед. ч. с нулевым признаком: *waz!* «падай!».

Относительно функционирования других глагольных форм можно высказать лишь некоторые догадки. Возможно, что уже на протоваханском уровне отпала необходимость в форме медиального залога в связи с широким распространением типа залогово расчлененных основ на *-*aya* и *-*ya*, взявших на себя ту же функцию, что и личные окончания — показатели залога. В древнеперсидском, например, при пассивных основах на *-*ya* всюду стали употребляться окончания активного залога: *vayam Naḫāmanišiyā vahyātahi* «мы Ахеменидами называемся». Аналогичные случаи имеются в Авесте: *kiryēiti* (< *kr-ya-ti*) «делается».

Явления разного рода фонетических переходов могли привести к смешению, а впоследствии к отмиранию в ваханском языке различных неизъявительных форм глагола.

На протоваханском уровне значительно шире, чем в древнеперсидском и авестийском языках, активизируется действие именных оборотов, легших в основу нынешней формы прошедшего времени. При этом выявляется значительная самостоятельность протоваханского (по сравнению с протошугнано-язгулямским и протомунджанским состоянием) в выборе и употреблении именных оборотов. В качестве предикатов в этих конструкциях в ваханском, помимо исторических причастия на *-*ta*, использовались также отглагольные имена на *-*na*, типа *wəṣṣən* «оставаться» < **wi-*, **awi-riy-na*, √ *rik/g-*, происхождение которых недостаточно ясно. С одной стороны, это могли быть причастия на *-*na* (типа ав. *pṛ-na* «наполненный»), но они встречаются в древнеиранских текстах редко, и, может быть, были уже непродуктивными на протоваханском уровне. С другой стороны, это могли быть отглагольные имена на *-*na* (типа ав. *yas-na* «почитание, моление»). Кроме того, можно полагать, что параллельно с формами на *-*na* и *-*ta* предикатами именных конструкций становились также отглагольные имена на *-*ti*, должно быть, эти две последние формы и являются истоком нынешних основ прошедшего времени на *-t/d(i/əy)*. Известны случаи параллельного использования форм на *-*ta* и *-*ti* в функции именного сказуемого в среднеперсидских надписях [13], а также в языках шугнано-язгулямской группы и в мунджанском [14, с. 28—30; 3, с. 99—100].

В пользу происхождения части основ прошедшего времени ваханского глагола от древнеиранских отглагольных имен на *-*ti* говорят следующие факты:

1. Двойное отражение др.-ир. **a*, что предполагает положение *i*-умлаута⁶ в одних случаях — (čaw): *taṣd*⁷ «ходить» < *(*čyav-a-*): *taṣ-ti* и нейтральное в других — *tukn* «хождение» < **tak-na*, √ *tak/g-*.

⁶ О положении *i*-умлаута в ваханском языке см. [15, 16].

⁷ Супплетивный глагол.

Двояко в ваханском языке отражается также древнеиранский долгий *ā — как *y* и как *o* — в пределах каузативных основ настоящего и прошедшего времени, что также может быть объяснено открытостью слога в основе настоящего времени и *i*-умлаутным положением в основе прошедшего времени: *kyn:kot* «копать» < *kān-aya :kā-ti⁸, √kan-.

2. Наличие факультативного элемента *-i/əy* в исходе основ прошедшего времени вообще нельзя объяснить иначе, чем прямым отражением самого форманта *-ti*: *vand :vasti/əy* «завязывать» < *banda :basti, √ba(n)d-, распространившегося позже на все типы основ (и даже на основы на *-n*: *wəraç :wəraçni/əy* «оставаться»). В то же время по аналогии с основами, восходящими к причастиям на *ta- и к формам на *-na, исход *-i/əy* становится необязательным факультативным элементом.

3. Именно частое использование имен действия на *-ti в роли сказуемого в именных оборотах могло сказаться на таких немаловажных фактах, как нейтральность ваханской косвенной конструкции к переходности/непереходности, субъектное согласование, развитие посессивной (а не эргативной) конструкции (подробнее об этом см. ниже).

Косвенным свидетельством того, что имена на *ti- вошли в состав основ прошедшего времени, является факт отсутствия в современном ваханском языке самостоятельных рядов отглагольных имен на *-t/d* < *-ti, имевших столь широкое распространение в других памирских языках.

На протоваханском уровне вокруг вышеуказанных отглагольных имен развиваются два типа именных оборотов, являющихся прототипом нынешних прямой и косвенной конструкций предложения.

П р я м а я к о н с т р у к ц и я представляет собой обычное древнеиранское именное образование с подлежащим в прямом падеже + связка + именное сказуемое. Ср. ав. *azəm ...ahmi haomō ašava* «я есмь Хом праведный». Эта конструкция становится особенностью непереходных глаголов; переходные в пределах данной конструкции приобрели пассивное значение, что видно из ав. *āat a'nhe ahi a'w-yaštō* «(ты) им (т. е. поясом) еси опоясан» (Хом Яшт 26).

Для выражения активного деятеля требовалась постановка субъекта в косвенном падеже, что исключало его согласование с пассивным причастием. Такое построение фразы засвидетельствовано в древнеперсидском языке [*ima tya manā kartam (asti)* «то, что мною сделано (есть)»], что привело в дальнейшем к развитию в ряде иранских языков эргативной или — точнее — эргативообразной конструкции при переходных глаголах с ориентацией глагола на объект действия [17]. Древнеперсидская модель отражает один из возможных, но далеко не единственный путь снятия пассивного значения глагола.

Для ваханской косвенной конструкции предложения, с учетом ее специфических черт, можно реконструировать следующую форму: косвенный падеж для действующего лица (необязательно родительный, как в древнеперсидском) + отглагольное имя на *-ta или *-ti или же *-na: *maž kart(i/əy)* < *mazya kṛta или kṛti «я сделал» < «у меня (мною) сделанное» или «у меня мое делание». Для перевода пассивного построения в активное в эту конструкцию рано были введены энклитические местоимения, указывающие на принадлежность действия субъекту: *maž(-əm) kart* < *mazya kṛta-am или kṛti-am «я сделал» < «у меня мое сделанное (или делание)».

Так с помощью энклитических местоимений образовалась посессивная конструкция с ориентацией глагола на субъект действия.

Восстановление этой конструкции хорошо объясняет отсутствие в ваханском каких бы то ни было следов объектного (пассивного) спряжения, заметных в других памирских языках, для которых восстанавливается эта же конструкция [3, с. 94—100]. Переходный глагол в притяжательной конструкции, получив с самого начала ориентацию на субъект действия, исключал тем самым возможность пассивного его понимания, а, следова-

⁸ На раннем этапе происходит усиление огласовок прошедших основ по аналогии с каузативными основами настоящего времени.

тельно, и становление объектного спряжения. О раннем и изначально широком употреблении энклитических местоимений в косвенной конструкции в роли личных показателей говорит их распространение на прямую конструкцию, из которой они вытеснили связку: *tu-at wašt* «ты упал». Теоретическая же возможность допущения притяжательной конструкции с энклитическими местоимениями в роли личных показателей едва ли может оспариваться, тем более, что типологически вполне аналогичную конструкцию мы находим в северных таджикских говорах на базе отглагольного имени на *gi* + местоименные энклитики. Ср. тадж. *man-a guftagi-m* «я сказал», букв. «у меня мое сказанное»; *tu-ya guftagi-t* «ты сказал», букв. «у тебя твое сказанное». Построение же этой формы со связкой (факультативной в таджикском языке) переводит фразу в пассивный план: *šumo ruuxat-ba navištagi-ed* «вы записаны в список».

Сказанное означает, что конструкция с причастием на **-ta* могла получить двоякое развитие: а) со связкой, что дало в ряде языков (среднеперсидский, курдский, афганский) объектное (пассивное) спряжение, т. е. эргативообразную конструкцию; б) с энклитическими местоимениями, что дало в памирских языках субъектное (активное) спряжение, т. е. косвенную конструкцию⁹.

Развитию в ваханском языке именно посессивной, а не эргативной конструкции способствовал тот факт, что в нем большую роль в образовании основ прошедшего времени играло отглагольное имя действия на **-ti*. Эта форма сама по себе была лишена залогового аспекта, а потому не могла вызвать к жизни пассивного (объектного) спряжения. Если было возможно др.-пр. **azəm ahmi abi-yasta(h)* «я емь опоясан», то невозможно было **azəm ahmi abi-yasti* «я емь опоясывание», т. е. в роли финитного глагола отглагольное имя на **-ti* исключало использование связки, требуя косвенного падежа не только для субъекта, но и для объекта действия (типа: «у меня взятие мое того-то» или «по отношению к тому-то»).

Притяжательная конструкция в отличие от эргативной устраняла противоположение переходных и непереходных глаголов. Построения «у меня мое взятие» и «у меня мое сиденье» были одинаково возможными, в чем и лежат истоки безразличия косвенной конструкции к переходности/непереходности в современном ваханском языке: *maž(-əm) vast(i/əy)* «я привязал», ср. *ma. (-əm) taŷd(i/əy)* «я ушел».

Функционирование некоторых непереходных глаголов в косвенной конструкции отмечается, как известно, и в других памирских языках. Косвенная конструкция, как предполагает В. С. Соколова, лучше подходила для отдельных групп непереходных глаголов, в частности для глаголов, выражающих состояние типа «плакать», «смеяться», «кашлять», ср. «у меня (мое) кашляние». «Непереходные глаголы при этом использовали, по всей вероятности, не причастие на **-ta*, а отглагольное имя на **-ti* как залогово нечленимое. Во всяком случае, *i*-умлаутную перегласовку в сохранившихся старых основах прошедшего времени мы находим в мунджанском языке, главным образом, именно у непереходных глаголов: *rəv* : *rəvd* «лаять», *xəf* : *xīft* «кашлять» [3, с. 100].

Восстановление изначально широкого круга непереходных глаголов, использовавших косвенную конструкцию для ваханского языка, тем более вероятно, что широкое применение в нем отглагольного имени на **-ti* несомненно. Иными словами, есть все основания восстанавливать для ваханского языка две изначально параллельные конструкции в сфере переходных глаголов: прямую с причастием на **-ta*: **azəm ahmi rix-ta* «я ушел» и косвенную (посессивную) с отглагольным именем на **-ti*: *mazyu wašti*

⁹ Роль энклитических местоимений, встречающихся в эргативообразной конструкции, принципиально иная. Они выступают там в своем прямом назначении субстантивного местоимения, заменяющего во фразе не названное имя (или полное местоимение), и к глаголу, конструирующемуся со связкой, отношения не имеют. При названном субъекте действия энклитические местоимения, естественно, отсутствуют. Ср. ср.-перс. *u-š nāmak ōi Pāpak kart* (Кн., I, 525) «и он написал письмо Папаку», при *Sasīn hangīnak kart* (Кн., I, 418) «Сасан так и сделал». [18]. Ср. при наличии объекта: *u-m imin saxʷan ahend* «мною эти слова сказаны».

«я упал», причем последняя, по всей вероятности, использовалась первоначально для выражения неактивного действия (состояние или непроизвольного действия). Подтверждение тому — наличие у глаголов непроизвольного действия, как и у каузативных основ, сильного корневого гласного в настоящем и прошедшем времени, указывающего на изначальное спряжение этих глаголов по типу переходных (через косвенную конструкцию).

В результате в ваханском языке косвенная конструкция так и не получила специальной грамматической нагрузки в качестве приметы переходных глаголов, в отличие от других памирских языков, где использование имен на **-ti*, надо полагать, было менее распространено. Ср., например, обычную для шугнано-ягулямской группы огласовку основ прошедшего времени, возникающую из нейтрального положения (< причастия на **-ta*) при сравнительно редкой огласовке, возникшей из положения *i*-умлаута (< отглагольного имени на **-ti*) [3, с. 107]. Для ваханского языка, напротив, характерна *i*-умлаутная огласовка прошедших основ.

Ранневаханское состояние. Характерные черты данного периода заключаются: в частичном отмирании флексии и распаде системы древнеиранского глагола; в появлении на новой базе грамматических образований, не свойственных древнеиранскому (протоваханскому) состоянию; в переосмыслении значения ряда унаследованных форм.

Именно с этого периода, т. е. с периода появления образований, построенных на новой базе, и можно говорить о собственно ваханском языке.

Значение унаследованных древнеиранских глагольных классов в этот период всюду сводится к выражению переходности / непереходности, причем функция выражения переходности/непереходности с отпадением флексии частично возлагается на огласовки основ. Так, основной приметой переходности становится огласовка **ā > ы*, сочетавшаяся на древнем уровне с суф. **-aya*. Новые переходные пары стали строиться путем усиления огласовки по аналогии с историческими каузативными основами, в результате чего в языке появляется большое число (около 50) переходных глаголов с «ы-огласовкой». Явление, связанное с усилением огласовки, было живым вплоть до последнего времени. В единичных случаях перегласовка по типу исторических каузативов наблюдается даже на современном этапе языкового развития — *čip : čəvd/čyp : čopt* «собирать»; *žip : žəvd/žyp : žovd* «прятать».

По переходности этим основам могли противостоять основы с исторической слабой огласовкой; прежде всего это «ə» < **a, *i, *u*, сочетавшихся иногда с суф. **-ya*. Но эта огласовка, как можно полагать, очень скоро утрачивает связь с морфологическим значением из-за слияния в ней различных исторических гласных в зависимости от фонетических позиций.

Другие унаследованные классы, ставшие плеонастическими, переходят в разряд застывших форм.

Новую активизацию на качественно иной базе получают некоторые унаследованные, но уже непродуктивные суффиксы застывших корневых образований. Так, новые отглагольные имена стали строиться путем присоединения к бывшему отглагольному имени на **-ti* (утратившему вследствие использования в роли основ прошедшего времени свое именное значение) суф. *-n*, по типу *pit-n* (от глагола *piv : pit* «пить», *nyid-n* (от *nəzd : nəyn* «садиться»), *yit-n* (от *yaw : yit* «есть»); *škid-n* (от *škəδ : škən* «разбиваться»), причем этот тип образований, судя по многочисленности примеров, становится весьма продуктивным.

Формы на *-n* перестают, также на раннем этапе, выполнять двойную роль; по преимуществу они, как и прежде, стали употребляться в именной функции, закрепившись в роли основ прошедшего времени лишь в небольшом количестве глаголов.

Причастие на **-ta* (так же, как и имя на **-ti*), превратившееся в основу прошедшего времени, было заменено унаследованным вторичным причастием на **-taka*, общим для всех памирских языков (тип **kəɣtaka* «сделанное» > вах. *kərk*, шугн. *čuŋi*). Однако в отличие от других памирских языков элемент *-lk* старого причастия был переосмыслен на

ранневаханской почве в самостоятельный суф. *-k* и приобрел продуктивность, образуя прошедшие причастия от основ прошедшего времени на *-n* по типу **bən-k > bəŋ* — причастие от глагола *bəd : bən* (*√pat-*) «падать» [ср. старую форму *bətk < *(ham-)pataka* — причастие от глагола *byt : bət* «разрушать»].

Таким образом, в синхронном плане для ранневаханского мы постулируем продуктивное образование отглагольных имен от основ прошедшего времени на *-t* и *-n*, иначе говоря, базой для образования новых форм в этот период становится основа прошедшего времени.

Окончательное оформление основы прошедшего времени означало вступление ее в прямую коррелятивную связь с основой настоящего времени с противопоставлением обоих основ по признаку времени. Основы презенса имели лишь одну дополнительную грамматическую нагрузку: различие переходности/непереходности посредством внутренней флексии (прежде всего — перегласовки гласных основ). Наиболее продуктивным и наиболее стойким морфологическим элементом оказался сильный гласный каузативных основ **ā*, который и был перенесен в прошедшие основы для обозначения переходности по типу **kān(aŋa) : kāti/a*. Расщепление **ā* (вероятно, ранневаханский **ǝ*) на две фонемы в зависимости от фонетической позиции (см. выше) дало закономерное чередование *ы : о* в подобных каузативных основах. Ср. *kyn : kot* «копать». По типу огласовки позже стали выравниваться и согласные элементы обеих основ. Так возникли и широко распространились ранневаханские вторичные прошедшие основы каузативного типа, составляющие ныне правильные глаголы II группы (59 глаголов) с регулярно чередующимися огласовками: *spyŋ : spond* «наполнять» при *span : spat* «наполняться»; *nyw : novd* «увлажнять» при *nav : navd* «впитывать влагу»; *pšyw : pšowd* «возвращать» при *pšaw : pšat* «возвращаться»; *wydyr : wodort* «держать», *syž : sožt* «мазать» и др.

Полное преобразование причастия на **-ta* в основу прошедшего времени привело к окончательной функциональной нейтрализации прямой и косвенной конструкции. Эти формы стали выравниваться между собой не только по своей функции, но даже по внешним морфологическим признакам: из косвенной на прямую конструкцию переносятся показатели лица и числа, происходящие от энклитических форм местоимений, вытесняя, а в ряде случаев скрещаясь со старыми связочными элементами. По аналогии с последними энклитические местоимения приобретают способность свободно менять место во фразе. В результате в вахацком языке, как и в других памирских, возникают особые подвижные показатели лица и числа претерита, функционально эквивалентные личным окончаниям настоящего-будущего времени.

Поздневаханское состояние. Данная стадия характеризуется глагольными новообразованиями уже исключительно от основ настоящего времени. Основы прошедшего времени как база образования новых форм оказались несостоятельными, во-первых, по причине двойного оформления на *-t/d(i/əy)* и *-n(i/əy)*, во-вторых, по причине выраженного в этих основах признака времени.

Модель образования от основ настоящего времени фактически формировалась уже на раннем этапе развития языка, когда фонетическое развитие привело, в ряде случаев, к закономерному совпадению основ настоящего времени с корневой частью основ прошедшего времени и отглагольных имен *-pərs : pərst(i/əy)*, имя действия *pərsn* «спрашивать» *< *pṛsa : pṛsta* (или *pṛsti*), имя действия **pṛs-na, √pṛs-*; *nav : navd(i/əy)*, имя действия *navn* «мокнуть» *< *naβa : naβti* (или *naβta*), имя действия **naβ-na, √nab-*. Эти нередкие случаи стали восприниматься как сочетание основы настоящего времени с окончанием прошедших основ *-t/d(i/əy)* или с суффиксом имени действия *-n*.

По аналогии с этим на позднем этапе суффикс отглагольных имен стал присоединяться уже не к прошедшей (см. выше), а к настоящей основе по типу *pac + n* «варка (чего-то)» (от глагола *pac : pac* «варить»); *pač + n* «варение (процесс)» (от глагола *pač : pačt* «вариться»).

Противопоставление сильной и несильной (слабой и средней) огласовок не могло стать универсальным признаком различия переходности/непереходности, поскольку сильная огласовка $*\bar{a} > y$ не могла быть прямо перенесена на глаголы с сонантными корнями. Кроме того, наряду с переходными глаголами, как упоминалось, изначально существовала также особая семантическая группа непереходных глаголов с огласовкой $*\bar{a} > y$. Для последних требовался дополнительный способ маркировки переходности. Таковым оказался новый суффикс переходности, вероятно, заимствованный, но принявший на себя чисто ваханскую перегласовку каузативных глаголов $-yuv : ov$. Этот суффикс стал производить новые переходные глаголы от основы настоящего времени и ныне является единственным продуктивным признаком переходности — $lakuv : lakovd$ «качать» при $lak : lakt$ «качаться»; $kanduv : kandovd$ «сместить, заставлять смеяться» при $kand : kand$ «смеяться», $\check{c}awuv : \check{c}awovd$ «заставлять идти» при $\check{c}a(w) : ta\check{y}d$ «идти» и т. п.

Новая модель образования имени действия на $-n$, о которой говорилось выше, не могла стать универсальной, во-первых, в силу своей двузначности (основа прошедшего времени на $-n$, типа $k\check{s}yu : k\check{s}n$ «слышать» и имя действия на $-n$ типа $ra\check{c}-n$ «хождение, идти»), во-вторых, в силу образования имен на $-n$ по тройному структурному типу: древнеиранские первичные формы — $da\check{y}n$ «доение, доить» $< *duy-na, \sqrt{duk}/g-$, ранневаханские вторичные формы, образованные по модели основ прошедшего времени ($<$ старых отглагольных имен на $*-ti$) $+ n$ — $pit-n$ «питье, пить», и поздневаханская модель — основа настоящего времени $+ n$ — $dic-n$ «доение, доить». К тому же суф. $-n$ не мог присоединяться к основе настоящего времени с исходом на $-n$ (например, $*win + n$ «видение, видеть»), что вело бы к его отпадению или ассимиляции.

Поэтому для образования отглагольного имени от основ на $-n$ уже на раннем этапе должен был использоваться широко распространенный именной суф. $*-ka > (ə)k/g$, причем подобные имена вследствие вымирания корней могли строиться уже непосредственно от основы настоящего времени: $wing$ «видение, видеть» $< *win(a)k(a)$; $kyng$ «копание, копать» $< *k\check{a}n(a)k(a)$; $byng$ «бросание, бросать» $< *dv\check{a}n(a)k(a)$.

Позже при выявлении «несостоятельности» форманта $-n$ этот суффикс получил продуктивность¹⁰, особенно после перемещения корневого гласного в исход основы и далее его отхождения к суффиксу $[pac + k \rightarrow p(a)ca\check{k}$ «варить»; $na\check{s} + k \rightarrow n(a)\check{s}ak$ «исчезать»], результатом чего явилось возникновение универсального полногласного суффикса инфинитива $-ak$.

Старые вторичные формы причастия прошедшего времени в этот период превращаются в основу перфекта. Новые перфектные основы стали образовываться не от основы прошедшего времени и не посредством суф. $-k/g$ ¹¹ (см. выше), как на раннем этапе развития языка, а непосредственно от основы настоящего времени с помощью $-tk$. При этом происходит уже знакомое нам фонетическое явление, суть которого сводится к перемещению огласовки от исхода основы настоящего времени к суффиксу, вследствие чего возникает новый подударный и продуктивный суф. $-\acute{t}k$. Образование новых перфектных основ от основ настоящего времени с помощью данного суффикса получает широкое распространение: $win-$ «видеть» перф. $win\acute{a}tu$; $stow-$ «хвалить», перф. $stow\acute{a}tu$ и про

На позднем этапе развиваются две новые неспрягаемые глагольные формы: причастия прошедшего времени, возникшие из сочетания прежних вторичных форм причастий (в связи с освоением последним значения перфекта) с суф. $-in$ или $-yng$ типа: $\check{s}k\check{a}ng-in$ или $\check{s}k\check{a}ng-yng$ «разбитый», причастия настоящего времени, образующиеся от формы инфинитива с помощью суф. $-yng$: $ra\check{c}ak-yng$ «идущий».

¹⁰ Суф. $(ə)k/g < *ka$ в ваханском всегда оставался живым морфологическим элементом, о чем говорят факты его использования при различных именных образованиях.

¹¹ Подобное образование в ряде случаев должно было бы привести к совпадению перфектных основ и форм имен действия, образованных также с помощью $-k/g < *ka$.

Очевидно, на грани позднего и современного этапов из сочетания перфектной основы (причастия) со вспомогательным глаголом «быть» в форме прошедшего времени возникла форма преждепрошедшего времени. Сейчас данный глагол в этой своей функции фактически превратился в суффикс преждепрошедшей основы *-tu*, начав присоединяться уже не к основе перфекта, а к основе настоящего времени в трансформированном виде *-ātu** (верхний говор *-ātuw*) по типу: *diš-ātu* от глагола *diš*: *dišt* «знать»; *wyd(y)r-ātu* от *wydyr*: *wodort* «держать». Прежняя самостоятельность глагола *tu* в составе преждепрошедшего времени прослеживается лишь при старых перфектных основах, прежде всего при основах с исходом на *-ng*, где не происходит какого-либо слияния с перфектной основой: *wuz-am rang-tu* «я убежал», букв. «я был убежавшим».

Современный этап языкового развития. Некоторые языковые процессы позднего периода, не нашедшие своего полного завершения, продолжают протекать на современном этапе развития ваханского языка. Нынешний период является, таким образом, не новой стадией, а логическим продолжением поздневаханского состояния.

Для современного этапа характерна дальнейшая унификация основ по типу правильных, образующихся от основ настоящего времени, иначе говоря, имеет место процесс перехода от старых неправильных основ к новым правильным типам основ, строящимся по модели:

Основа настоящего времени (*pitic*-«наннизовать») +

1) <i>-t/d(i/əy)</i>	=	осн. прош. вр.	—	<i>pitic-t</i> (<i>/pityaʔn</i>)
2) <i>-ət k</i>	=	осн. перф.	—	<i>pitic-ət k</i> (<i>/pityaʔk</i>)
3) <i>-ātu'uw</i>	=	осн. плюсквамп.	—	<i>pitic-ātu'uw</i> (<i>/pityaʔtu'uw</i>)
4) <i>-ət k + in</i>	=	прич. прош. вр.	—	<i>pitic-ət k-in</i> (<i>/pityaʔk-in</i>)
5) <i>-n</i>	=	им. действ.	—	<i>pitic-n</i> (<i>/pityaʔn</i>)
6) <i>-ək</i>	=	инф.	—	<i>pitic-ək</i> (—)
7) <i>-ak + ɨzɡ</i>	=	прич. наст. вр.	—	<i>pitic-ak-ɨzɡ</i> (—)

Следствием распространения данного процесса явилось возникновение большого количества глаголов с дуплетными основами.

Для определения нынешнего уровня развития переходного процесса и выявления основных тенденций его развития целесообразно исходить из статистических данных. При анализе этих данных выявляется, что процесс перестройки в целом ведет к созданию для прошедшего времени правильных основ I и II групп. Правильные глаголы II группы представляют собой застывшие формы¹².

Из общего числа более 500 простых глаголов ныне более 70% являются правильными глаголами I и III групп. На долю правильных глаголов II группы приходится 12% глаголов. Из оставшихся 18% неправильных глаголов ныне еще 7%¹³ перестраиваются по типу правильных глаголов I группы, что говорит в пользу дальнейшего уменьшения числа неправильных основ, наличие которых в определенной степени противоречит создавшейся системе. Существенно, что новообразования более характерны для речи молодежи, а старые формы чаще, а иной раз исключительно, употребляются ваханцами старшего поколения.

Заметным признаком настоящего периода является также процесс вымирания косвенной конструкции предложения, изжившей себя в результате ее полного функционального совпадения с прямой конструкцией. В нижних ваханских селениях в какой-то степени, возможно, под влиянием местных таджикских говоров, эта конструкция полностью исчезла,

¹² Правильные глаголы только в прошедшем времени делятся на три группы, исходя из а) прямого соответствия огласовок основ настоящего и прошедшего времени *win*: *wind* «видеть» (I группа); б) регулярного чередования огласовки *ы*: *о* в обеих основах — *wadyr*: *wodort* «держать» (II группа); в) регулярного чередования огласовки каузативного суф. *-uw*: *ov* — *kanduw*: *kandovd* «заставлять смеяться» (III группа) [19, с. 593]. При образовании основы других времен и неспрягаемых глагольных форм все эти группы сливаются в единую первую группу, поскольку в этих случаях огласовка «ы» не изменяется качественно.

¹³ Проценты во всех случаях исчисляются от общего числа 500 глаголов (100%).

в верхних селениях она удерживается всего лишь при субъектах, выраженных местоимениями 1 и 2-го л. ед. числа.

На современном этапе наблюдается тенденция превращения некоторых свободных синтаксических сочетаний в глагольную форму. При этом в качестве спрягаемой формы можно выделить регулярное сочетание perfectных основ со вспомогательным глаголом *ытыу-* «быть: являться», употребляющимся для передачи различных модальных значений в прошлом: *yaw zi ĭnətk ытыт ki...* «будто бы он сказал так...», *wiz winətk ытуэм niv-ət-šə ĭiz vityw* «если бы я повидал (свет), то наверняка теперь уже научился бы чему-нибудь».

Выделяются и некоторые другие формы [11, с. 78; 19, с. 599], которые, однако, еще не достигли должного уровня развития: они не превратились окончательно в регулярные сочетания, и их составные компоненты пока сохраняют свою самостоятельность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколов С. Н. Авестийский язык. М., 1961.
2. Герценберг Л. Г. Хотаносакский язык. М., 1965, с. 99.
3. Соколова В. С. Генетические отношения мунджанского языка и шугнанско-язгулямской группы. Л., 1973.
4. Стеблин-Каменский И. М. Историческая фонетика ваханского языка: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук, Л., 1971.
5. Эдельман Д. И. О конструкциях предложения в иранских языках. — ВЯ, 1974, № 1.
6. Emmerick B. Saka grammatical studies. London, 1968.
7. Tomaschek W. Central-Asiatische Studien. II. Die Pamir Dialekte. — SWAW, Phil.-hist. Klasse, 1880, 96, I—III.
8. Morgenstierne G. Indo-Iranian frontier languages. V. II. Iranian Pamir Languages. Oslo, 1938.
9. Tedesco P. *a*-Stämme und *aya*-Stämme im Iranischen. — Zeitschrift für Indologie und Iranistik, 1923, Bd. II, Hft. 2.
10. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. I. М. — Л., 1949, с. 190.
11. Пахалина Т. Н. Ваханский язык. М., 1975.
12. Morgenstierne G. Etymological vocabulary of the Shughni group. Wiesbaden, 1974, p. 47.
13. Соколов С. Н. Описательные обороты и глагольные гетерограммы в среднеперсидских сасанидских надписях. — Вестник ЛГУ, 1957, сер. истории языка и литературы, вып. 2, № 8, с. 98—99.
14. Соколова В. С. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.
15. Пахалина Т. Н. О роли *i*-умлаута в истории развития вокализма иранских языков. — ВЯ, 1977, № 4.
16. Соколова В. С. К истории вокализма ваханского языка. — В кн.: Иранское языкознание. 1980. М., 1981.
17. Пирейко Л. А. Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. М., 1968.
18. Расторгуева В. С. Среднеперсидский язык. М., 1966, с. 96—99.
19. Грюнберг А. Л., Стеблин-Каменский И. М. Языки Восточного Гиндукуша. Ваханский язык. М., 1976.

ВОРКАЧЕВ С. Г.

О НЕКОТОРЫХ МОДАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРАХ (ЗНАЧЕНИЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ)

Объектом исследования в настоящей работе являются речевые единицы, выражающие безразличие и способные функционировать в качестве лексических наполнителей конструкции эксплицитного модуса [1] и их семантических эквивалентов (в дальнейшем ПБ — «показатели безразличия»): *da igual* «все равно», *no importa* «не важно» и т. д. Будут исследованы структурные, функциональные и семантические свойства этих единиц. За пределами нашего анализа остаются такие показатели, как *cualquiera, quienquiera* «всякий; любой», *dondequiera* «где угодно» и т. д., связанные с оценкой отдельных членов предложения, а не содержания всего высказывания в целом.

Поскольку частотность появления ПБ в речи относительно низка, для иллюстрации синтаксического употребления этих единиц в работе будут использоваться высказывания со свернутой диктальной частью, представленной либо непредметным местоимением *eso*, либо инфинитивом и событийными именами (*eso no importa* «это не важно», *da igual irse o quedar* «все равно, уйти или остаться», *su conducta no me importa* «его поведение мне безразлично») и модусом в непрямых модальных контекстах, отличных от первого лица настоящего времени индикатива.

В системе операторов субъективно-модальной оценки безразличие выступает в качестве противочлена как оператору дезидеративной оценки [2] (желание — безразличие), так и операторам эмоциональной оценки (положительная эмоциональная оценка — безразличие — отрицательная эмоциональная оценка). Если в плане содержания оператор безразличия характеризуется отсутствием положительных признаков, присущих его противочленам в соответствующих оппозициях, то в формальном плане безразличие передается довольно обширной группой лексических единиц. Как можно видеть, здесь складывается ситуация, в каком-то смысле противоположная существующей в системе операторов рациональной оценки, где модальность простой достоверности, семантически противостоящая модальностям категорической и проблематической достоверности, субстанционально не находит выражения и передается отрицательно [3—4]. Если в качестве микрополя рассматривать модальные операторы, обобщенно передающие значения более дробных лексико-семантических образований — тематических групп, то встает вопрос о статусе безразличия: является ли оно оператором или же оно имеет внутреннюю семантическую дифференциацию и представляет собой микрополе.

Безразличие определяется как «состояние духа, при котором субъект не чувствует ни склонности, ни отвращения к какому-либо предмету, делу или человеку» [5]. Словарная статья *indiferencia* «безразличие» словаря синонимов и антонимов содержит три десятка синонимов, которые противопоставляются трем антонимам: *acción* «действию», *interés* «интересу» и *amor* «любви» [6]. Если антонимы *acción* можно соотнести с отсутствием эмоциональной оценки, антонимы *amor* — с отсутствием дезидеративной оценки, то антонимы *interés*, очевидно, соотносимы с представлением об отсутствии какой-либо ценности у объекта оценки.

Желание, чувство удовольствия или неудовольствия — атрибуты нормальной жизнедеятельности человека, и, видимо, поэтому отсутствие их рассматривается скорее как отрицательное, чем положительное качество субъекта, а отсутствие каких-либо положительных характеристик

у объекта оценки отождествляется зачастую с отрицательной оценкой, презрением. В то же время безразличие или презрение к конкретному объекту оценки могут и часто подчеркивают заинтересованность субъекта как раз в том, сообщение о чем выходит за рамки данного высказывания. Специальными выражениями для передачи такого аффектированного, «смещенного» безразличия располагает, в частности, также и французский язык (ср.: *je m'en fous, je m'en fiche, je m'en moque* «мне плевать»).

Встает вопрос: возникает ли значение аффектированного безразличия в процессе функционирования ПБ в речи или же оно как-то заложено в семантике лексем, наполняющих конструкцию ПБ?

Как известно, логическая формула абсолютных оценок включает в себя субъект оценки, операторы оценки, объект (объекты) оценки и основание оценки. В формуле субъективно-модальной оценки субъект в прямых модальных контекстах представлен говорящим, объект — диктумом высказывания, а в качестве основания выступают те доводы и аргументы, которые склоняют субъекта к вынесению той или иной оценки.

Со стороны своего формального состава единицы — ПБ разбиваются на два численно неравнозначных класса: ПБ, содержащие в своем составе глагол в личной форме (полнозначный либо строевой), и ПБ, глагола не содержащие. Первый и более крупный класс представлен такими глаголами и конструкциями, как *no importa, da igual, tanto da, deja frío*, второй — первичными и производными междометиями ¡Ps!; ¡Pse!; ¡Pche!; ¡Buen viaje!; ¡A mí qué!

Некоторая часть ПБ — свободные словосочетания (*no importa, es igual*), однако большинство ПБ — это словосочетания, фразеологически связанные. Значительная часть ПБ — такие словосочетания, один компонент которых является выразителем семантики целого, а другой — морфологизирован и выполняет строевую функцию: *da igual, lo mismo da, tanto da, tanto monta* «(это) все равно». Другую большую группу образуют фразеологизмы идиоматического характера, отличающиеся идиоматичностью, регулярной воспроизводимостью и раздельнооформленностью: *dejar frío, no dar ni frío ni calor, ni sufrir ni padecer*. Если фразеологизмы — это, главным образом, словосочетания, выполняющие функции членов предложения или частей сложного предложения, то афоризмы — это регулярно воспроизводимые в речи отдельные высказывания [7]. К числу афоризмов — ПБ относятся такие фразы, как ¡*Ahí me las den todas! Tal día hará un año, ¡Arda Bayona!; Hágase el milagro y hágalo el diablo!* (все эти фразы приблизительно означают «все равно, безразлично») и т. д.

Формальный состав ПБ допускает определенную вариативность как строевых, так и лексических компонентов. Лексические варианты возможны у выражений *no dar ni frío ni calor — no producir ni frío ni calentura, no sufrir ni padecer — no sentir ni padecer* [эти выражения означают «(мне) ни холодно, ни жарко, (меня) это не волнует»]. Особенно обильно число лексических вариантов у идиомы (*no*) *importar un bledo (comino, pepino, pito, pimienta)* «(это) не имеет значения». Лексико-грамматические варианты ПБ образуются заменой строевого элемента конструкций *es lo mismo (igual) — da lo mismo (igual), tanto da — tanto monta* «(это) все равно». К числу синтаксических вариантов можно отнести чередование отрицания *no* и коммуникативной установки в конструкциях *no importa — ¿qué importa?*, союзов *que — como* в выражении *tanto (lo mismo) da Juan que (como) Pedro* «все равно, безразлично» и времен глагола в афоризме *Tal día hará un año — Tal día hace un año* «безразлично».

В конкретном речевом произведении место ПБ относительно объекта оценки не является фиксированным. Чаще всего они (за исключением, естественно, междометий и афоризмов) занимают начальную позицию в высказывании и выступают в качестве главного или придаточного сказуемого предложения¹: «No importa que sientas frío en el alma»

¹ В статье приняты следующие сокращения: AST — *Alarcón P. El sombrero de tres picos. La Habana, 1975*; ASH — *Alas L. Su hijo único. La Habana, 1977*; BO — *Blas de Otero. Que se trata de España. La Habana, 1964*; BA — *Bombal M. L. La amor-*

(ВО 161) «Не важно, что ты чувствуешь холод в душе». В стилистических целях, для эмфатизации диктума, позиция модуса может инвертироваться: *no me importa que te vayas — que te vayas no me importa* «не важно, что ты уйдешь». ПБ могут также вставляться в высказывание в качестве вводных синтагм, выступая в виде парцеллированных высказываний и реплик вопросно-ответного диалогического единства: «Échale ese mismo aceite, total, da igual, estos tractores funcionan como quiera» (ZL 113) «Залей туда то же самое масло, в конце концов все равно: эти трактора работают на чем угодно»; «Para ustedes los cubanos todos los españoles son gallegos. A mí me da lo mismo» (SP 313) «Для вас, кубинцев, все испанцы — гальегос. А мне — все равно»; «Será cuestión de siglos. — No importa. El que espera lo mucho espera lo poco» (GM 39) «Придется ждать сто лет. — Неважно. Кто прождал долго, подождет еще немного».

Большинство ПБ — безличные конструкции (*es igual, da lo mismo, no importa, no le hace* «все равно, не важно».) В личной форме глаголы употребляются в таких немногочисленных выражениях, как *ni sentir (sufrir) ni padecer* «меня это не волнует», *dejar, dejar eso, dejarlo pasar, dejar que ruede, dejar rodar la bola, no hacer caso* «не важно». Тем не менее все безличные конструкции свободно авторизуются добавлением соответствующих личных местоимений в предложном и беспредложном падежах: «Me es lo mismo — balbuceé la joven» (AST 222) «Мне все равно — выговорила девушка»; «A mí no me importa que haya reyes» (PA 233) «А мне все равно, есть короли или нету».

Помимо авторизации при помощи личных местоимений распространение ПБ типа *no importa* осуществляется также за счет включения в их состав различного рода опустошенных семантически лексем, соотносимых в представлении говорящего с малоценными или вовсе не имеющими никакой ценности предметами: *bledo, comino, pito, chita, higa, rábano* [8, с. 207; 9] «Todo aquello no me importaba un ardite» (PD 94) «Все это мне было совершенно безразлично». Отрицание *no* в таких конструкциях может опускаться, что никак не меняет общего смысла высказывания: «Aquello me importaba un bledo» (PD 290) «Мне это было глубоко безразлично». В качестве отрицания может использоваться также иронически переосмысленное сочетание *valiente cosa*: «Valiente cosa le importaba en aquel momento a Boris que se riera de él mundo entero» (ASH 81) «Очень было важно Борису в этот момент, что все над ним смеялись!».

Подобный процесс грамматикализации и семантического обеднения лексем исторически находит свою аналогию в этимологии отрицательного местоимения *nada* «ничего», образовавшегося из *res nata*.

Помимо стилистически нейтральных *comino, pepino, bledo, pimienta*, в функции усилителей отрицания в конструкции *no importa* могут появляться в просторечии нецензурные *mierda, cojón, hostia*.

Другим способом усиления отрицания глаголов *importar* и *dar* в функции ПБ является их употребление в прономинальной форме *no importársele a uno, no dársele a uno*: «A mí no se me importaban ya la palizas que me dieran» (HC 52) «А меня уже совсем не волновало, что меня за это поколотили».

Большинство ПБ не фиксировано по отношению к коммуникативной установке высказывания и может употребляться как в повествовательной речи, так и в вопросительных, а при известных обстоятельствах и в повелительных высказываниях. Тем не менее часть ПБ жестко связана с коммуникативной установкой высказывания. Такие ПБ, как *dejar, dejar eso,*

tajada. La Habana, 1969; CA — *Cofiño M.* Amor a sombra y a sol. La Habana, 1981; DC — *Cinco horas con Mario.* Moscú, 1979; GS — *Garófalo J. B.* Se dice fácil. La Habana, 1968; GM — *García Márquez G.* El coronel no tiene quien le escriba y otros relatos. La Habana, 1981; HC — *Hernández F.* Cuentos. La Habana, 1968; PD — *Payró R. J.* Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira. La Habana, 1976; PZ — *Pérez Galdós B.* Zaragoza, La Habana, 1976; PN — *Pérez Galdós B.* Napoleón en Chamartín. La Habana, 1976; PA — *Pérez Galdós B.* La batalla de las Arapiles. La Habana, 1976; SP — *Soler Puig J.* El pan dormido. La Habana, 1975; WO — *Walsh R.* Operación masacre. La Habana, 1970; ZL — *Zumbado H.* La limonada, La Habana, 1979; QA — *Quiroga H.* Anaconda y otras narraciones. La Habana, 1981.

dejarlo pasar, dejar que ruede, dejar rodar la bola, употребляются лишь в императиве. Императивная форма глагола фиксирована также в ряде афоризмов: *¡Arda Bayona!*; *¡Ahí me las den todas!*; *¡Con su pan se lo coma!*

Коммуникативная установка вопроса в сочетании с восклицательной интонацией позволяет употреблять в качестве эквивалентов *no importa* выражения *¿qué importa?* *¿qué le hace?*: «Y eso ¿qué le hace?» (PD 108) «Ну и что?»; «Casacas rojas o casacas azules ¿qué más da?» (PA 180) «Красные или синие мундиры, какая разница?».

Исключительно в форме интеррогативов функционируют выражения *¿a mí qué?* и *¿y eso qué?*. Байнхауер рассматривает *¿a mí qué?* как усеченную форму *¿a mí qué me importa?* или *¿a mí qué más da?* [8, с. 325].

Что касается употребления наклонений глагола в высказываниях с ПБ, то появление ПБ в функции вводной синтагмы на глагол диктума никакого влияния не оказывает. Однако употребление ПБ в качестве главного или придаточного предложения, формальным признаком чего является присутствие союзов *que* или *si*, накладывает свои ограничения на выбор формы глагола: после союза *que* здесь, как правило, появляется субхунтив, а после *si* — индикатив. Ср.: «No me importa que se haya echado un marido» (CS 29) «А мне все равно, что она завела себе муженька»; «No importa si ha llorado y sufrido» (CA 332) «Не важно, что она плакала и страдала».

Употребление субхунтива после глагола *importar* в отрицательной форме и прочих ПБ, вводящих придаточное с помощью союза *que*, объясняется аналогией с употреблением наклонений в придаточных предложениях после безличных конструкций, выражающих возможность, необходимость, сомнение, удивление, вероятность и пр., т. е. различные оттенки субъективно-оценочной и объективной модальности [10]. Тем не менее практика речевого употребления ПБ свидетельствует и о появлении здесь индикатива, что, в общем-то, логически, может быть, более оправдано, поскольку безразличие — это как раз отсутствие какой-либо оценки: «A mí me importa poco que Narices e n t r ó o no en Salamanca» (PA 171) «Меня мало волнует, вошел Нарисес в Саламанку или нет».

Попытки семантической классификации ПБ позволяют, как представляется, более или менее определенно выделить три тематические группы в составе этих единиц, представленные корневыми морфемами *no importa* «не важно», *igual* «все равно» и *frío* «ни холодно, ни жарко». Все остальные ПБ не поддаются лексической классификации и могут быть распределены в классы по синтаксическим или иным признакам.

В группу *no importa* попадают грамматические отрицания глаголов *importar* и *dar*, их синтаксические (*no importársele a uno, no dársele a uno, ¿qué importa? ¿qué más da?*), лексические (*no importa un bledo, comino*) и стилистические (*no le hace, ¿qué le hace?, importa un bledo, comino*) варианты и трансформы (*no tiene importancia, no tiene importancia alguna*), а также оборот *tener sin cuidado*.

О структурных вариантах *no importa* речь уже шла. Хочется, однако, добавить, что лексикографические источники дают список лексем, усиливающих отрицание в этом выражении, насчитывающий около двух десятков единиц: *bledo, comino, pepino, patata, pito, pimienta, pitillo, higa, higo, chita (dos chitas), ardite, pitocho, rábano, ochavo, migaja, (miaja), hostia, mierda, cojón* [8, с. 207; 9]. Опускание грамматического отрицания в этих конструкциях, помимо усиления их экспрессии, придает им явно разговорный характер.

Список усилителей экспрессивности оборота *no importa* формируется за счет включения: 1) названий растений, плодов, овощей и вообще съедобных, но количественно незначительных вещей: *bledo* «петуший гребешок» (бот.), *comino* «тмин», *pepino* «огурец», *patata* «картофелина», *pimiento* «перец», *rábano* «редька», *higo* «инжир; плод смоковницы», *migaja (miaja)* «хлебная крошка», *hostia* «облатка»; 2) названий вышедших из употребления старинных испанских монет: *ardite* «ардита», *ochavo* «грош»; 3) малоценных, «пустяковых» предметов: *chita* «таранная кость» (анат.), *pito*

«свистулька», *piñillo* «сигарета», *higa* — «амулет в форме кулака», «кукиш»; 4) непристойностей: *mierda*, *cojón*. Опрос информантов-кубинцев показывает, что в современном испанском языке Кубы наиболее употребительными в данном случае являются лексемы *bledo* и *comino*, причем *bledo* имеет книжную окраску, а *comino* — разговорную.

На регионализм выражения *no le hace* (*¿qué le hace?*) как лексического варианта *no importa* указывает Кейни [11]. *No le hace* в этой функции употребляется преимущественно в испанском языке Латинской Америки: «¡No le hace!» (PD 130) «Не важно!».

ПБ *tener sin cuidado* «безразлично, меня это не волнует» лексикографически зафиксирован в словаре Касареса [9]. Все единицы этой тематической группы объединяются своей «внутренней формой», построенной на отрицании важности, значимости объекта оценки для говорящего. Момент отсутствия предпочтения какой-либо одной из альтернатив модального выбора положен в основу объединения в одну тематическую группу (*igual*) единиц *es indiferente*, *es (da) igual*, *es (da) lo mismo*, *tanto da (monta)*, *tanto se le da a uno*, *lo mismo (tanto) da Juan que (como) Pedro*. Фразеологизм *tanto (lo mismo) da Juan que (como) Pedro* «безразлично, все равно» встречается как в пиренейском варианте испанского языка, так и в латиноамериканском: «...a él lo mismo le daba Juan que Pedro» (PZ 31) «Ему было все равно»; «Tanto les da Juan como Pedro con tal de que ellos figuren» (PD 205) «Им все равно, лишь бы они там фигурировали».

По признаку отсутствия эмоционального воздействия объекта оценки на говорящего можно объединить в одну тематическую группу такие ПБ, как *dejar frío*, *no dar (producir) ni frío ni calor (calentura)*, *no sufrir (sentir) ni padecer* [12]; «...у no es que a mí eso me interesa especialmente, que ni frío ni calor, ya me conoce» (DC 49) «...и не то чтобы меня это особенно интересовало, ты меня знаешь, мне ни холодно, ни жарко»; «...a todo el mundo choca menos a ti que ni sientes ni padeces» (DC 16) «...всех это шокирует, кроме тебя, а тебе хоть бы что».

В отдельную группу по синтаксическому признаку можно объединить ПБ-междометия, как первичные (*¡Ps!* *¡Pse!* *¡Pche!* *¡Pchs!*), так и производные (*¿y eso qué?* *¿a mí qué?* *¡por mí!* «ну и что?»), и выражение *para el caso*. Сюда же примыкают такие промежуточные образования, как *ni fu ni ja* и *a mí plin* «а мне-то что?», которые, однако, могут быть связаны с синтаксической структурой высказывания, где они употребляются.

Остальные ПБ, как уже отмечалось, последовательной семантической классификации не поддаются. Рассмотрим некоторые фразеологизмы и афоризмы.

No ser ni chicha ni limonada (limoná) «ни то, ни сё», судя по компоненту *chicha*, имеет латиноамериканское происхождение и активно употребляется в речи испаноязычных жителей Латинской Америки; *caer en el vacío (hacer el vacío)*, *quedarse en el aire* — не находить какой-либо реакции или ответа у слушающего; *no irle ni venirle a uno* «быть безразличным, быть ни к чему»; *no ser inconveniente* «быть безразличным»; *(allá) con su pan se lo coma (si caga blando)* (передает безразличие, с которым говорящий относится к чьему-либо поведению или решению, и предоставляет другому всю ответственность за его действия); *¡Arda Bayona!* «Пусть горит Байона!» (передает безразличие говорящего к тому, что не представляет для него никакой ценности); *¡Buen viaje!* «Счастливого пути!» (передает безразличие к ошибке или промаху, которые могли бы причинить неприятности говорящему); *tal día hará (hace) un año* (просторечное и фамильярное выражение безразличия по отношению к какой-либо угрозе; передает отсутствие интереса к какому-либо событию); *¡Ahí me las den todas!* (выражение, при помощи которого говорящий передает свое безразличие к неприятностям, выпадающим на долю кого-либо другого).

Заканчивая описание лексики, передающей безразличие в предикативных конструкциях, хотелось бы обратить внимание на то, что в своей массе ПБ относятся к экспрессивным средствам языка и в качестве таковых функционируют главным образом в разговорной речи. Действительно, к коллоквиализмам относится большинство афоризмов, почти все меж-

дометные образования, единицы тематической группы *frío*, глагол *importar* с лексическими усилителями отрицания *comino*, *pito* и др.

Наблюдения над функционированием ПБ в тексте, т. е. в составе синтаксических единств, выходящих за рамки предложения, позволяют выявить два основных типа их употребления. Во-первых, они могут выступать в качестве семантических аналогов уступительных союзов: «El viaje es largo y molesto.— ¡Eso no importa! ¡Hay que ir!» (PD 319) «Поездка будет долгой и трудной.— Не важно! Надо ехать!». Формальным признаком этой функции ПБ в тексте может служить присутствие в ближайшем контексте модальных глаголов объективной и субъективной необходимости *deber*, *haber que*, *tener que*. Другая функция ПБ в тексте — их употребление в качестве связующего элемента объекта модальной оценки и оснований этой оценки: «Pepe Serna, el secretario particular del presidente, me dijo más tarde en el club, que mi actitud había complacido mucho al presidente.— ¡Poco me importa! — contestó.— Lo único que quiero es demostrar carácter» (PD 289) «Пепе Серна, секретарь президента сказал мне потом в клубе, что мои слова очень понравились президенту.— Меня это мало волнует! — ответил я.— Я хочу лишь показать характер».

Как можно заметить, и в той, и в другой функции ПБ выступают скорее как показатели смещенного, аффектированного безразличия, подчеркивая важность для говорящего суждения, заключенного в высказывании — основании оценки или в модальном суждении объективной/субъективной необходимости.

Таким образом, проведенное исследование структурных, функциональных и семантических свойств предикативных единиц, передающих безразличие в испанском языке, позволяет прийти к следующим выводам.

1) Большинство единиц, передающих безразличие, в испанском языке представлено идиоматикой: фразеологизмами и афоризмами, имеющими различную степень связности и воспроизводимости.

2) Семантическая классификация лексем — ПБ позволяет выделить несколько тематических групп, единицы которых объединяются общим значением корней *importar*, *igual* и *frío*. Значительная же часть ПБ, прежде всего афоризмы, сохраняет индивидуальный характер и имеет ограниченное употребление, оставаясь тем самым за пределами тематических групп. Поскольку единицы ПБ допускают объединение в тематические группы по лексическому признаку, то они по определению образуют лексико-семантическое поле, имеющее свой центр и периферию. Центр ЛСП безразличия образуют наиболее употребительные и специализированные единицы тематических групп *importar* и *igual*. На периферии поля остаются такие малоупотребительные и ограниченно используемые ПБ, как междометия и большинство афоризмов.

3) Наблюдения над функционированием ПБ в речи показывают, что значения безразличия и аффектированного безразличия обусловлены контекстом употребления этих показателей, а не связаны с лексическим наполнением конструкций, передающих безразличие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алисова Т. Б. Дополнительные отношения модуса и диктума. — ВЯ, 1971, № 1.
2. Воркачев С. Г. Некоторые способы выражения желательности в испанском языке. — ФН, 1983, № 3, с. 62—64.
3. Ломтев Т. П. Структура и парадигматика предложений на основе свойств грамматической категории модальности. — Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1969, № 341, с. 233.
4. Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978, с. 325.
5. Pequeño Larousse ilustrado. La Habana, 1968, p. 573.
6. Saiz de Roblez F. C. Ensayo de un diccionario español de sinónimos y antónimos. La Habana, 1968, p. 617.
7. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., 1983, с. 90.
8. Weinhauser W. El español colonial. Madrid, 1973, p. 207.
9. Casares J. Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona, 1963, p. 237.
10. Васильева-Шеева О. К. Грамматика испанского языка. М., 1963, с. 138.
11. Kany Ch. E. American-Spanish syntax. Chicago, 1945, p. 231.
12. Moliner M. Diccionario de uso del español. T. 2. Madrid, 1977.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Булаховський Л. А. Вибрані праці в п'яти томах. — Київ: Наукова думка. Т. I — 1975, 496 с.; Т. II — 1977, 632 с.; Т. III — 1978, 592 с.; Т. IV — 1980, 576 с.; Т. V — 1983, 616 с.

Издание трудов Л. А. Булаховского стало важным событием нашей научной жизни. В пяти томах около трех тысяч страниц, на которых разместилось десять монографий и 67 статей из четырехсот работ покойного академика, известных нам полностью или в незаконченном виде. Таким образом, пятитомник — не совсем полный свод, однако нужно помнить, что в нем опущены большие книги автора (некоторые из них не раз переиздавались), учебники, большинство рецензий и множество заметок и выступлений по поводу текущих научных дел. Отбор работ для публикации в академическом собрании произведен вдумчиво и основательно. Редакционная коллегия в составе И. К. Белодеда, Ю. Л. Булаховской, В. А. Дыбо, Т. Б. Лукиновой, А. С. Мельничука, О. Н. Трубачева рачительно отобрала все то, что сохраняет высокую научную ценность сегодня. Мало сказать, что некоторые из опубликованных работ впервые напечатаны именно здесь; и большинство прежних публикаций стало библиографической редкостью, сохраняя между тем свое научное или историческое значение. Теперь они снова доступны для читателя и, обретя вторую жизнь, становятся фактом современной науки. Жаль, может быть, только рецензий и персональных, опущенных ввиду ограниченного объема. Наши учителя много и охотно писали рецензии не только на монографии, но и на статьи своих коллег. Эти быстрые отклики на актуальные проблемы науки, на только что обнародованную точку зрения, на новые материалы давали столь необходимую для активного развития науки «обратную связь», какой, к сожалению, сейчас нет. Мнение авторитетного ученого, высказанное кратко, но всегда аргументированно, позволяло расставить акценты на результатах текущей научной работы, внести необходимые поправки и в конечном счете ориентировать ученых в нужном направлении исследования. Подобные рецензии были не формой самовыражения их авторов, а практической формой организации науки. И для самого Л. А. Булаховского, рецензия — оперативный жанр, который имел исключительное значение в развитии новых идей. Большинство его оригинальных исследований выросло как раз из предварительных откликов на работы коллег; по мере ис-

полнения, развития мысли и переработки конкретного материала они становились совершенно самостоятельными исследованиями. Общественный темперамент ученого и университетского профессора требовал от него такой же — публицистической — реакции на важнейшие события современной ему науки. Оттого они и сохраняют накал борьбы своего времени, но также и индивидуальную манеру ученого и тот, как сказали бы мы теперь, конструктивный вклад Булаховского в практику научного исследования, который удивительно ясно представлен в пятитомнике.

В подобном отклике на живейшие проблемы дня уже виден представитель Харьковской школы лингвистики, каким и был Булаховский (свое влияние на него оказала и Петербургская школа, представители которой также отличались публицистической активностью). Публицистичность и индивидуальность, но также и непреходящая актуальность работ Л. А. Булаховского определяются и тем, что большинство из них первоначально готовилось для студенческой аудитории, т. е. было устремлено в будущее, которое мы сегодня и переживаем. Аннотации на выступления и тезисы докладов — также характерный для Булаховского научный жанр. Видимо, в архиве найдутся и отзывы на диссертации, по которым ученый выступал в качестве оппонента, — еще один жанр творчества современного ученого, ставший почему-то апокрифическим. Между тем отзыв ведущего специалиста — всегда событие, и жаль, что ВАК не издает лучшие из них хотя бы в качестве образца для подражания другим оппонентам.

Из остальных особенностей публикуемых работ отметим следующие.

Эти работы написал специалист, глубоко знающий конкретный материал и широко образованный. В самом подходе к интерпретации каждого лингвистического факта легко заметить одновременно и генетические, и типологические истолкования, поскольку язык воспринимается как многоаспектный объект социальной истории. Даже частная словарная иллюстрация, необходимая по ходу изложения, несет с собой информацию о культурном фоне, который этот факт породил, о научной школе, которая его интерпретировала, и о том велении времени, которое заставляет обращать

внимание именно на данный лингвистический факт. Ничего случайного в материалах Булаховского нет.

В науке Л. А. Булаховский предпочитал идти непроторенными путями, избирая для исследования наиболее сложные и самые спорные проблемы. Оттого-то два последних тома и посвящены полностью исследованиям по славянской акцентологии — той области языкознания, которая до сих пор признается наиболее сложной, но исключительно важна для теории языкознания, так и в практике научного исследования языка. После 1920 г. в течение почти сорока лет Л. А. Булаховский был у нас в стране единственным акцентологом, сохраняя преемственность научных исследований в данной области от гениальных трудов Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова и Л. Л. Васильева до наших дней. Оценивая результаты деятельности ученого, уже ушедшего от нас, не следует забывать и подобный — гражданственный — вклад в развитие науки.

Л. А. Булаховский — славист в широком смысле слова, а потому и «узкие» темы (вроде изучения отдельного суффикса в одном языке или у одного автора) мало его интересовали. Он изучал язык проблемно, в категориальном его наполнении, пытаясь обнаружить основную закономерность развития или функционирования языкового явления в данный период или в известном языке. Это касается и этимологических штудий, и истории литературного языка, и акцентологических реконструкций — любой проблемы, которую затрагивал ученый.

В первый том вошли очерки по общему языкознанию — переработанные для книги публикации 20-х и 30-х гг., и популярных и научных, и реферативных и исследовательских, и исторических и описательных. Здесь много заметок по методологии и методике научного исследования (в те годы советская лингвистика только создавалась); особое внимание уделяется анализу текста, проблеме происхождения языка и его развития, в частности — проблеме «прогресса» в языке, а также теории письма, социолингвистическим и психолингвистическим проблемам языкознания, — другими словами, всему тому, что интересовало языковедов в первой половине XX в. Но и сегодня мы возвращаемся к тем же проблемам, уже обогащенные опытом структурного, типологического и контекстного изучения языка. Сжатое изложение основной проблематики в методологическом ее отношении с традиционной точки зрения явится полезным руководством в лабиринте уже решенных вопросов теории. Коспективно, но в принципиальном решении касается Л. А. Булаховский всех сторон языковой функции, которые сегодня вновь становятся актуальными. Эту незавершенную книгу воспринимаем как завещание — наши предшественники поставили перед нами задачи, и вчитываясь в них, начинаешь понимать, что ничего принципиально нового вторая половина века языкознанию не принесла: она только отработывала установки, сделан-

ные гораздо раньше. Верный себе, Л. А. Булаховский большое внимание и здесь уделяет практическим вопросам, также актуальным сегодня: художественная речь, эстетика слова, культура речи в социальных и психологических тонкостях (например, о влиянии речи женщин и детей на развитие просторечия, о гиперизме как явлении социальной психологии, и т. д.), хотя и без подробностей изложения. Подробностями эти проблемы обрастают в трудах последователей и учеников.

«Возникновение и развитие литературных языков» рассматривается на широком предметном поле истории всех европейских литературных языков; автора интересуют типологические закономерности образования национальных языков в новое время. И это чрезвычайно актуальная постановка проблемы, поскольку сегодня история литературного языка все резче предстает как история культуры языка; возникает необходимость проследить развитие каждого национального языка как факта духовной культуры развивающейся нации. Основной тезис, который Булаховский доказывает в данной работе, и сегодня звучит современно: культурные и политические обстоятельства в процессе формирования новых литературных языков иногда преобладали над собственно лингвистическими, возникала некая «компромиссность» в отношении к диалектной основе литературного языка. Не один какой-то говор становился основой литературного языка нации, а некоторая их усредненность, представлявшая общенациональные тенденции развития (автор показывает это на примере акцентных норм в современном украинском языке, на материале среднерусских говоров и т. д.). Другими словами, и литературный язык проходит обычные стадии развития нового качества — путем столкновения и смещения разнотипных систем. Булаховский рассматривает и многообразные процессы «шлифовки» литературного языка как социально важного коммуникативного канала: ясность, точность, лаконичность и другие его свойства с точки зрения передачи смысла. В развитии новых норм подчеркивается и значение популярных в то или иное время литературных жанров — в наши дни это научно-популярная литература и публицистика. В этом утверждении Булаховский современнее многих других авторов, разрабатывающих ту же проблематику в наши дни. Специально подчеркивается выдающаяся роль в этом процессе не одних только писателей-классиков, но и грамматистов, и создателей образцовых словарей. Дело ведь не только в тех, кто порождает образцовые тексты, но и в тех, кто на основе таких текстов создает «парадигму» литературной нормы. В конечном определении основных признаков «литературного языка» Булаховский склонялся к мнению, что его «письменность», пожалуй, важнее «нормативности», поскольку компаративисту ясно, что «нормативность» всегда присутствует и в «народно-разговорном языке»; «нормативность» вообще есть в любой языковой

с и с т е м е, поскольку каждая система структурно организована именно как «нормальная». Отсюда один лишь шаг до современного разграничения «нормы» и «стандарта», что во время написания работы было еще неизвестным.

Второй том целиком посвящен украинскому языку; здесь работы о происхождении и развитии украинского языка, о литературном языке, о языке украинских писателей. Изданные в полном виде, эти работы выглядят очень внушительно и дают представление о личном вкладе Л. А. Булаховского в обоснование самостоятельности и национального своеобразия украинского языка (в том числе и украинского литературного языка); в начале нашего века это приходилось еще доказывать, и многие работы Булаховского в историко-сопоставительном исследовании в отношении к русскому и белорусскому языкам сыграли в этом ведущую роль. Сейчас в таких работах мы не видим уже никаких публицистических преувеличений или национальных пристрастий, как видели их современники. От публицистики через научное исследование к утверждению самостоятельного значения проблемы — такой путь прошла в исследованиях украинского академика и эта социально важная проблематика. Пожалуй, только в отношении к некоторым древнерусским материалам сегодня можно было бы внести некоторые фактические поправки. Так, переход *е* в *о* после шипящих (типа *носящому*), чередования *у ~ в*, рефлексия отвердения /*р*/, развитие флексии *-ои* в дат. п. ед. числа, некоторые лексические явления (*оболонь*, *вервь*, *вазань*, *въкраина* и др.) не являлись чисто украинскими (или, как по традиции называл их Булаховский, — «ужнорусизмами») в древнерусский период.

Третий том посвящен работам по славистике и русистике. Все они также легко собираются в тематические «комплекты», поскольку представляют собою совместное как бы части незавершенных книг: этимологические исследования, работы по истории литературного языка, о грамматической аналогии и т. д. Показаны, например, различные типы аналогий, направление индукции в каждом конкретном случае, синтаксические контексты, в которых индукция оказывается возможной, обязательно в связи с морфологическими результатами (особенно подробно разработана теория альтернатив и значение акцентных чередований), с учетом исключений на лексическом уровне и в обязательной связи с ведущими категориальными изменениями системы (подробнее всего в связи с развитием категорий рода, числа, падежа). Абсолютной ценностью обладают работы Булаховского о языке и стиле («Слова о полку Игореве», в том числе и знаменитые конъектуры к тексту (например, в «попевке Баяна» «не пьтцу горазду» вместо «не птицу» — поскольку это явная несообразность с общим контекстом). В литературе об этом древнерусском памятнике не много найдется столь содержательных и доказательно представленных результатов, как в этом цикле

статей и заметок. Хорошо, что он собран теперь в одном месте.

Четвертый и пятый тома посвящены славянской акцентологии. Хорошо известно, что Л. А. Булаховский собирался издать большую работу «Введение в славянскую акцентологию»; предварительные публикации, а также прежде не публиковавшиеся части этого труда, собранные теперь вместе, показывают весь этот грандиозный замысел. В монографии описываются в отношении к акцентным системам все славянские языки, здесь же собраны и редчайшие издания акцентологических этюдов Булаховского, а также заметки довоенных лет, статьи и рецензии, касающиеся акцентологических законов Фортунатова — де Соссюра, Розвадовского, Шахматова, Вейка, Мейе, Васильева и других. Напомним здесь, что и «законом Станга» именно Булаховский в рецензии на «Славянскую акцентологию» этого норвежского слависта назвал выделенную последним отяжку ударения со срединного нисходящедолгого слога на предшествующий начальный слог слова (см. т. IV, с. 534). Опять-таки верный своему отношению к актуальности научной проблематики, Булаховский и здесь исследовал наиболее спорные, иногда на первый взгляд безнадёжные и во всяком случае сомнительные (до сих пор неясные) аспекты акцентной истории, как бы готовя современную нам акцентологию к истолкованию подобных фактов в общем системном отношении. Неизвестно, была ли бы вообще возможна современная акцентология без тщательной обработки всех таких неясных фрагментов системы праславянского языка. Именно, Булаховский исследует проблемы, связанные с полударными редуцированными, с новоакутем в спорных словах (типа *вляя*), он изучает изменение интонации в «мягких» типах именных основ (**jo*, **jā* — об этом специфически славянском аспекте иногда забывают современные акцентологи), об акцентовке архаических форм (например, в консонантных основах), о своеобразии акцентовки имен среднего рода или **ž*-основ, суффиксальных слов, а также утраченных форм супина или дуалиса. В последнем случае он решался идти против установившихся в мировой науке утверждений, говоря, например, что в форме им.-вин. дв. числа мужского рода никогда не было окончательного ударения. Все эти, на первый взгляд, частные вопросы, на самом деле были важны как приближение к системному исследованию акцентных единиц и парадигм, а также как возможность адекватного истолкования многих грамматических изменений в языке (например, форм типа *gorodŭ* во мн. числе). Лишь в отношении к так называемым «метатониям» интерпретации Булаховского сегодня кажутся во многом устаревшими (но покажутся ли они таковыми в XXI веке, когда мы снова отойдем от интерпретаций по акцентным парадигмам?!); особенно это относится к так называемой «новоциркумфлексной» интонации, существование которой во всех славянских языках теперь подвер-

гается сомнению. Современная акцентология уже не принимает и чрезмерной усложненности фонетической транскрипции, свойственной старой акцентологии. Тем не менее издатели с чрезвычайной тщательностью и точностью передали в пятитомнике все тонкости акцентологической транскрипции, использованной Булаховским (иногда, от работы к работе, она менялась, что также учтено при переиздании). Набор этих томов исключительно сложен по типографским знакам, но все же эти знаки, как и следует академическому изданию, налицо; это повышает уровень издания, делая его непревзойденным (в прежних публикациях были опечатки, которые нуждались в корректурных исправлениях). Публикация всех трудов Л. А. Булаховского по акцентологии важна тем, что подводит итог предшествующих исследований по славянской акцентологии и делает зримым тот качественный рынок современной акцентологии, который подобными трудами и был подготовлен. Вместе с тем в исследованиях Булаховского сохраняется множество идей, еще не разработанных

современной наукой; они — по-прежнему программа для ученых (прежде всего это касается проблемы количественных различий и оппозиций в славянских языках).

Говоря об издании, невозможно обойти вниманием самоотверженной работы издателей, готовивших тексты и следивших за их подготовкой к печати. Особенно большой вклад в эту работу внесли сотрудники Института языковедения АН УССР Т. Б. Лукинова и (для акцентологических томов) В. Г. Складченко. Издания представляют современный уровень исполнения мемориальных изданий: кроме археографических и кодикологических комментариев, мы найдем здесь и вводные статьи, и библиографию, и (чрезвычайно важно!) словоуказатели к акцентологическим томам, что делает это издание настоящей энциклопедией научных трудов Л. А. Булаховского. Книга снабжена иллюстрациями, прекрасно издана и сразу же оказалась в центре современных лингвистических проблем и забот.

Колесов В. В.

Schanidze A. Altgeorgisches Elementarbuch. I Tl. Grammatik der altgeorgischen Sprache. — Tbilissf: Universitätsverlag, 1982. 197 S.

На фоне заметно выросшего за последние два десятилетия интереса зарубежного языкознания к проблемам картвелистики со всей определенностью заявляло о себе отсутствие широко доступного руководства по древнегрузинскому языку. Крайне немногочисленные публиковавшиеся за рубежом работы этого плана либо уже давно устарели [1, 2], либо очень схематичны [3]. Поэтому должно быть очевидным, что с выходом в свет немецкой версии известной монографии А. Г. Шанидзе, посвященной древнегрузинскому языку [4], удовлетворяется уже длительное время ощущавшаяся в среде негрузинского, в том числе и отечественного, читателя потребность в подобного рода издании.

В целом рецензируемый немецкий перевод книги, выполненный Г. Фебрихом, очень близок к тексту его грузинского оригинала и полностью повторяет его структуру — помимо вступительных параграфов, в которых, в частности, рассмотрены письмо и фонетика древнегрузинского языка, здесь имеются занимающий основной объем работы раздел морфологии и словообразования, а также раздел синтаксиса. Основные его отличия от грузинского издания заключаются в предпосланном к немецкому переводу предисловии автора, в отсутствии краткого древнегрузинского словаря, заключавшего грузинскую публикацию (все языковые иллюстрации переводятся здесь непосредственно в тексте), в довольно незначительном сокращении числа однотипных примеров, а также в отдельных примечаниях, адресованных читателю, не знакомому с картвелистикой.

Обращаясь к содержанию монографии, необходимо отметить по крайней мере два следующих, бросающихся в глаза

картвелиста обстоятельства. Во-первых, изложение древнегрузинского материала построено автором в терминах метаязыка описания номинативной системы. Во-вторых, интерпретация фактов отчетливо отражает основные черты грамматической концепции А. Г. Шанидзе, развиваемой им уже в течение длительного времени.

Рецензенту уже приходилось подчеркивать высокую степень адекватности разработанной автором модели описания для дескриптивного анализа не только современного грузинского языка, как она представлена, например, в его фундаментальной публикации 1973 г. [5], но и древнегрузинского. Действительно, совокупность понятий переходного и непереходного глагола, прямого и косвенного дополнения, залога (строящегося прежде всего на базе оппозиции актива и пассива), версии (субъектной, объектной и нейтральной), субъектной и объектной серий личных показателей глагола, именительного падежа составляет, как известно, характерный инструментарий описания языков, являющихся в своей основе представителями номинативного строя. Вместе с тем, вполне естественно, что ввиду типологической неоднородности картвелских языков автор прибегает в нескольких случаях и к понятийному аппарату, используемому в компаративистике по отношению к тем фрагментам структуры индоевропейских языков, которые не укладываются, строго говоря, в рамки номинативной системы. Ср., в частности, используемое здесь понятие депонентных глагольных словоформ, которые, принадлежа формально пассивному залогу, имеют семантику активного (ср. депонентные формы латинского глагола), а также понятие медиума, выделяемого наряду с активом и пассивом. Нетрудно увидеть, сколь ценны

подобные характеристики для решения проблемы соотношения номинативного и доминативного типологических компонентов в структуре картвельских языков.

С другой стороны, рецензируемый труд интересен как образец лингвистического описания, в котором находят свою конкретную реализацию общеграмматические идеи А. Г. Шанидзе. Как и в предшествовавших работах автора по современному грузинскому языку, в книге показано, что и в древнегрузинском имеются основания говорить о вокативе как о полноправной единице падежной парадигмы (с. 35 и сл.). Это становится очевидным, поскольку его показатель не только формально включается в парадигматику, но и способен передавать синтаксические отношения между именными членами предложения. Ср. падежное согласование в составе атрибутивного комплекса типа *mta-o mayal-o* «о гора высокая!» или *saxl-n-o zma-ta cem-ta-n-o* «о дома братьев моих!». В монографии систематически используется выдвинутое автором еще в 1941 г. понятие морфологической субкатегории ряда, или скривы [см. 6 и 7], как органического формального единства выражения категорий времени и наклонения в морфологической структуре грузинских глагольных словоформ (ср. с. 78 и сл.). Разработанное им же понятие глагольной морфологической категории контакта, основывающееся на противопоставлении форм непосредственного и опосредствованного контакта с объектом (с. 96—97), должно быть, вероятно, учтено теми лингвистами, которые придерживаются трактовки каузатива в качестве словоизменительной категории. Наконец, в работе в особый разряд выделена совокупность неизменяемых слов, т. е. не имен и не глаголов, квалифицируемых А. Г. Шанидзе как удетеры (от греч. οὐδέτερος «ни один из двух»). Как уже отмечалось в специальной литературе, за всеми перечисленными деталями описания стоит отчетливое стремление автора к последовательной реализации системного подхода к структуре языка, обладающего чрезвычайно сложным морфолого-синтаксическим механизмом [ср. 8, с. 58—62].

Нельзя не отметить высокий профессиональный уровень перевода книги, выполненного известным картвелистом проф. Г. Фенрихом (ГДР), автором ряда интересных работ и неизменным пропагандистом достижений советского кавказоведения за рубежом (являющимся, в частности, инициатором совместного периодического издания Тбилисского и Йенского университетов «Georgica»). Переводчику удалось достичь большой степени адекватности немецкого текста грузинскому. Можно обычно оправдать переводчика и в тех специально оговоренных случаях, когда ему не удалось подыскать скольнибудь удовлетворительных эквивалентов для передачи семантики древнегрузинских форм.

В целом рецензируемая монография представляет собой компактное изложение совокупности знаний современной на-

уки о древнегрузинском языке. Приводимый в ней материал отчетливо свидетельствует о существовании довольно жесткой его литературной нормы. Некоторая вариативность или неодинаковая частотность употребления ряда однородных форм справедливо понимаются в качестве синхронных манифестаций изменений, непрерывно происходящих в языке. Хотя изложение и имеет строго синхронную ориентацию, в некоторых случаях оно снабжено краткими диахроническими экскурсами (ср., например, с. 16, 33, 35, 63, 70, 74 и др.). Необходимость последних нетрудно понять, если принять во внимание огромные хронологические рамки существования древнегрузинского языка, памятники которого относятся к эпохе V—XI вв. Фразовые примеры, как правило, документированы. Простота изложения материала, сохраненная в немецком тексте, с большим числом полных словоизменительных парадигм сообщают работе качества не только ценного исследования, но и руководства, доступного для широкого контингента негрузинского читателя (курсы древнегрузинского языка читаются в настоящее время не только в СССР, но и ряде стран Западной Европы). Нельзя не заметить, наконец, что книга тщательно выверена, свидетельством чего является минимальное число опечаток.

Касаясь недостатков издания, следует отметить, что они носят, на наш взгляд, всецело технический характер. Можно, в частности, указать на несколько случаев неудачного перевода терминов. Так, например, падеж субъекта переходного и так называемого полупереходного глагола, постоянно квалифицируемый в концепции А. Г. Шанидзе в качестве повествовательного (груз. *motxrobiti brunva*), по непонятной причине переведен как *Ergativ*, а не *Narrativ*, как этого следовало бы ожидать в соответствии с существующей традицией (ср. с. 36 и сл.). Диссонансом на фоне обычного для лингвистической литературы словоупотребления в виде *Transitivität* звучит повторяющийся на с. 66 и 171 термин *Transität*. Встречаются в тексте и отдельные неточные переводы древнегрузинских словоформ. Например, *kvelis sakmej* скорее должно быть *Wohllat*, а не *Almosen* (с. 26), *šurduli* — *Steinschleuder*, а не *Schleuderstein* (с. 31; ср. верную передачу на с. 39), *švenis* — *es ziemt sich*, а не *es sieht gut aus* (с. 58), *sevcirav* — (*ich*) *opfere, spende*, а не (*ich*) *gebe* (с. 61).

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что немецкое издание книги А. Г. Шанидзе — очень полезная и своевременная публикация, которая будет способствовать пропаганде картвелистики за рубежом. Как указывается в предисловии автора, «Грамматика древнегрузинского языка» составляет только первую часть издания, за которой вскоре должна последовать вторая, содержащая хрестоматию древнегрузинского языка и соответствующий словарь.

Климов Г. А.

1. Zorell F. Grammatik zur altgeorgischen Bibelübersetzung mit Textproben und Wörterverzeichnis. Roma, 1930.
2. Marr N., Brière M. La langue géorgienne. Paris, 1931.
3. Zwolaneck R., Assfaig J. Altgeorgische Kurzgrammatik. Gottingen, 1976.
4. Шанидзе А. Г. Грамматика древнегрузинского языка. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
5. Шанидзе А. Г. Основы грамматики грузинского языка. I. Морфология. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).

М. М. Гухман. Историческая типология и проблема диахронических констант. — М.: Наука, 1981. 249 с.

Рецензируемая книга М. М. Гухман является обобщением многолетних исследований, наблюдений и теоретических выводов автора. Располагая обширным материалом по истории германских языков (и шире — индоевропейских, поскольку в книге привлекаются данные индоиранских языков, а также греческого и хеттского), М. М. Гухман сопоставляет их с тюркскими и финно-угорскими фактами. Широкому языковому фону соответствует и объем привлекаемых языковедческих штудий: автор охватывает множество работ, относящихся к теме исследования, делая это с большой тщательностью и непредвзятостью. Все это должно способствовать тому, чтобы рецензируемая книга послужила стимулом для широкого обсуждения механизма структурной эволюции языков и статуса лингвистической дисциплины, его изучающей. Эта дисциплина, учитывая данные типологии синхронного описания языков (методы определения сходства языковых структур и теория универсалий, с одной стороны, и развитие сравнительно-исторического языкознания, — с другой), стремится ответить на вопросы о причинах языковой эволюции. Историческая типология явится как бы мостом между данными синхронной типологии и сравнительно-исторического языкознания.

В своей работе М. М. Гухман обсуждает как проблематику формальной, так и контентивной типологии языков; каждой из них посвящается отдельная глава книги.

Суть исторической типологии и круг ее интересов рассматриваются во Введении и первой главе. Двумя полюсами, от которых автор отталкивается, являются, во-первых, диахронические универсалии, т. е. общезыковые изменения, во-вторых, частноязыковые процессы, не имеющие общесистемного характера и активные лишь в период замкнутого хронологически отрезка. М. М. Гухман предлагает к обсуждению такое понимание исторической типологии, согласно которому существенны эволюционные процессы, охватывающие «сучок взаимосвязанных координат» (с. 16). Процессы эти однонаправленны и узуальны. Естественно, что изучение их должно проводиться в тер-

6. Шанидзе А. Г. Категория ряда в глаголе. Общие вопросы формообразования глаголов на примерах грузинского языка (предварительное сообщение). — Известия Ин-та языка, истории и мат. культуры АН Груз ССР. Т. X. Тбилиси, 1941.
7. Шанидзе А. Г. Грамматические заметки. — ВЯ, 1984, № 2.
8. Мачавариани Г. И. Некоторые вопросы грамматической концепции А. Шанидзе с точки зрения структурной лингвистики. — В кн.: «Орион. Акакию Шанидзе». Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).

минах соответствующих единиц, которые и являются предметом исторической типологии как самостоятельной дисциплины. Подобными единицами, в концепции М. М. Гухман, оказываются диахронические константы. Это понятие проходит через всю книгу, однако цель автора — не перечислить константы развития, например, для германских языков, но представить на обсуждение читателя теорию диахронических констант.

Понятие диахронической константы является далеко не простым, и автор приводит к нему читателя и теоретически, и иллюстративно. Не повторяя формулировок М. М. Гухман (с. 34 и сл.), можно сказать, что диахронические константы — это процессы, типичные для ряда языков (родственных и неродственных), однонаправленные, постепенно развертывающиеся, содержательно интерпретируемые, но — самое главное — допускающие варианты и модификации по языкам: как конкретно-количественные, т. е. определяющие идиозыковую систему, так и количественно-темповые, т. е. реализуемые с разной скоростью. Таким образом, «в отличие от диахронических универсалий диахронические константы моделируют не только инвариантное общее содержание однонаправленных процессов, но и реальные модификации их осуществления в конкретных языках, раскрывая сложное соотношение общего и индивидуального в развитии языков мира» (с. 56).

Будучи по своей сути теоретической, монография М. М. Гухман отличается очень большой сдержанностью в отношении к интерпретации процессов, выходящих за рамки обсуждаемой концепции. Но это не означает ухода от сложнейших проблем еще не сложившейся дисциплины, проблем как языковых, так и лингвистических. Например, какова роль внешнего фактора при реализации диахронической константы и насколько его следует принимать во внимание? Где можно провести границу реализации диахронической константы внутри вертикального среза языковой системы? В решении первого из этих вопросов, как представляется, можно различать три аспекта. 1) Внешним фактором можно

считать самого человека, говорящего, в его ментальной эволюции. Перекликающиеся идеи находим и в работах отечественных лингвистов 30-х — 40-х годов. Ср. у И. И. Мещанинова: «Содержание насыщает все элементы речи. Таким путем передаются в языке различные понятия. Они выступают в семантике слов, в смысловом содержании предложения и в разнообразных видах грамматических построений. Случайное возникновение последних, конечно, отпадает. Они выполняют определенный социальный заказ и потому осмысленны во всех своих слагаемых частях» [1, с. 322]. Роль духовной эволюции человека, его растущей способности к обобщению и дифференциации явлений действительности, мена «картины мира» освещается в книге при описании функций медиума, перфекта, форм на *-hi*, возникновения пассива, соотношения эргативных и номинативных конструкций.

2) Внешний фактор — это и история носителей данного языка. Так, в группе германских языков в рамках одной диахронической константы выявляется интенсивность преобразований английского языка и особое положение исторически изолированного исландского (с. 78—84), в пределах группы иранских языков известным аналогом могут служить данные эволюции пушту и персидского (с. 90, 3). Третьим внешним фактором можно считать соседство с языковой группой, не включенной в данную систему диахронических констант. Влияние такого соседства М. М. Гухман видит в особом развитии скандинавских языков: слияние опорного слова с постпозитивными служебными словами и энклитиками, образование так называемых возвратных глаголов, объединяющих скандинавские языковые факты со славянскими и балтийскими (с. 78). Анализируя далее и данные финно-угорских языков, М. М. Гухман склоняется к мнению о «существовании на севере Европы языкового союза, в состав которого входили некоторые индоевропейские и финно-угорские языки» (с. 127). Гипотеза эта перекликается с наблюдениями А. А. Зализняка о русском языке новгородских берестяных грамот, в свете которых меняется традиционное представление о славянских диалектных изоглоссах и выделяется особая северная зона контакта, соотносящаяся и с финно-угорскими языками [2, 3].

В пределах фактов внутренней структуры языка М. М. Гухман также намечает определенные границы анализа. Так, звуковая оболочка слова становится как бы исходной границей, за пределами которой начинается собственно исследование. Автор отмечает (с. 72), что движущим началом в древней системе словоизменения и германских, и иранских языков является отсутствие изоморфизма между формой и содержанием, лабильность лексических основ, дробность глагольных парадигм. Это создавало структурную неустойчивость. Слабый участок словоизменительной системы обусловил ее изменчивость; в тюркских же языках эти позиции были стабильными.

Центром внимания М. М. Гухман является грамматика и ее эволюция. Автор

прослеживает пути преобразования словоизменительной парадигмы в индоевропейских, финно-угорских и тюркских языках (глава II). Особенно детально анализируется судьба словоизменения в германских языках по данным 15 столетий. Реализация диахронических констант состояла в установке на регулярную обобщенную парадигму (в отличие от первоначальной дробности), в переразложении и опрощении трехморфемной структуры, в тенденции к ликвидации вокалических альтернатив и т. д. Однако степень воплощения в отдельных языках была разной. Так, древнее многообразие комбинаторных изменений было отмечено и в древнеисландском, и в древнеанглийском языках, но их последующее развитие привело к противоположным результатам. Автор подробно рассматривает неоднородность реализации диахронических констант на примере общей инновации: становления новой содержательной оппозиции «определенность/неопределенность» и оформления категории артикля. Словоизменительная парадигма глагола в германских языках также демонстрирует стремление к унификации структуры основ и утрате былого многообразия. Сопоставление германских фактов с иранскими раскрывает общность в развитии именной парадигматики: снятие вокалических чередований, обобщение классов склонения, переразложение и опрощение трехморфемной структуры. И здесь необходимо подчеркнуть концептуальную специфику исторической типологии как дисциплины: важно раскрыть именно типологию эволюционных процессов, не отстраняясь при этом от доказанных фактов языкового родства. Так, например, в иранских языках формирование артикля шло совершенно иными путями, чем в германских, поскольку категория определенности/неопределенности могла реализоваться при помощи иных средств. В той или иной степени новогерманские языки, даже не соседствовавшие с агглютинативными языками, обнаруживают развитие словоформ агглютинативного типа. Вообще инновации агглютинативного характера прослеживаются в разных подгруппах индоевропейской семьи. М. М. Гухман в этой связи ссылается на предположение о существовании на периферии зоны индоевропейского словоизменительного архетипа моделей агглютинативного характера: «гипотеза Ф. Боппа вновь привлекается к рассмотрению» (с. 95). Иначе говоря, идея циклической мены: «фузия — агглютинация — фузия» и т. д. может оказаться более общей при изучении всех феноменов языковой коммуникации.

Идея запрограммированности изменений, демонстрируемая М. М. Гухман на примере иранской глагольной системы, входит в качестве одного из основных компонентов в излагаемую теорию диахронической типологии и диахронических констант: лингвист может выявить «в свернутом виде прообраз будущих преобразований» — автор обсуждает справедливость положения о том, что «предпосылки тех или иных типологических преобразований заложены в свернутом

виде еще в отношениях и связях предшествовавшего состояния» (с. 11).

Подобные процессы были чужды тюркским языкам, поскольку изоморфизм формальной и содержательной стороны морфологических показателей был им присущ с древнейшей поры. Таким образом, этот тезис влечет за собой поставленную глобальную проблему: соотношение языковой эволюции и стабильности формального типа, к которому тяготеет данный язык (или языковая семья). Этим проблемам посвящена третья глава, где автор обращается к морфологическому типу языка, широко обсуждавшемуся в науке XIX в. и парадоксальным образом исчезнувшему в некоторых направлениях синхронной типологии. Обращение к морфологическому типу есть, естественно, и обращение к слову, словоформе, в которой и отражается или как бы фокусируется тип данного языка¹.

Определяя основные различия агглютинативного и флективного типов языков, М. М. Гухман показывает принципиальную гетерогенность индоевропейских языков на более раннем этапе (продуктивность агглютинативных словоформ в глагольных парадигмах хеттского), но также, например, и в самых последних инновациях английского языка, которые можно характеризовать как аналитико-агглютинативные. Однако односторонность диахронических констант подобного типа тормозится, с одной стороны, типологическими особенностями отдельных языков, с другой, нетождественностью реализации преобразований в развитии глагольной и именной парадигматики (с. 148). Поскольку «набор» формально-структурных типов ограничен, а следовательно, ограничены и возможности их трансформации, не удивительно поэтому, что в истории разных языков наблюдаются аналогичные преобразования» (с. 150). Однако сосуществование в языке и других тенденций, помимо доминантных, дает возможность усиления и периферийных образцов другой формальной структуры.

Центральной по значимости для автора является четвертая глава книги «Контекстная типология и проблема диахронических констант» (эта глава и самая большая по объему), где ставится проблема развития индоевропейских языков, их типологических преобразований в применении к положениям контекстной типологии: от первичного отражения и моделирования внеязыковой действительности максимально иконическими средствами (см. об этом в связи с так называемым «прагматическим кодом» в [5])

¹ В связи с возрождением интереса к типологии слова хотелось бы обратить внимание на фундаментальное типологическое исследование Л. Г. Зубковой [4] о сегментно-фонетической организации слова, где автор не только описывает звуковую организацию слова в языках разных типов, связывая ее с морфологией (шире — с грамматикой) слова, но и показывает пути прогнозирования такого описания² и тем самым эволюционного движения языковых моделей.

до грамматикализации парадигматических изменений в столь же максимально выраженной форме. С уже указанной сдержанностью, высказывая гипотезы о внеязыковой обусловленности языковой эволюции, М. М. Гухман показывает на конкретном материале общую схему соотношения эволюции индоевропейских языков, которую она связывает с «контекстной типологией». В синхронно-языковом аспекте подобная схема была сначала дана С. Д. Кацнельсоном [6], а потом в несколько модифицированном виде развита в историческом плане Г. А. Климовым. К проблемам этой же главы относятся и многие идеи, высказывавшиеся И. И. Мещаниновым о соотношении эргативного и номинативного строя языка.

Если перевести механизм всех приводимых в этой главе и подробно разбираемых эволюционных процессов на язык обобщенной и потому неизбежно упрощенной теории, то результирующую картину можно описать следующим образом. Вначале основными в исследуемом материале были реализации оппозиций центробежности/нецентробежности процесса и одушевленности/неодушевленности актанта. Таким образом, центральным по коммуникативной важности становится представленный позднее реликтами тип высказывания: $S_{\text{одуш}} + V$ с семантикой вовлеченности на субъект и замкнутости на нем. Естественно, что подобные высказывания могут включать глагол с семантикой эмоционально-психического состояния или статального результата. Такое значение входит в греческие медиальные глаголы, в меньшей степени — глаголы древнеиндийского и хеттского (в книге приводятся подробные списки таких глаголов). Медиальность есть как бы замкнутость на субъекте³. Сема статальности (результативности) воплощается в перфекте, семантика которого тем самым соотносится с презенсом. К этой же системе примыкает серия глаголов на *-hi* в хеттском (см. об этом подробно в книге Вяч. Вс. Иванова [7], где указывается также на связь притяжательных компонентов с глагольной основой в индоевропейском для раннего периода [7, с. 70 и др.]; см. также работы И. И. Мещанинова)³. С этой же линией замкнутости на субъекте автор сопоставляет два языковых феномена, уже давно ею исследовавшиеся: конструкции с дат./вин. лица (*Мне нравятся розы*) и слова категории состоя-

² О том, насколько медиальная конструкция обращена на субъект и тем самым связана и с посессивностью, можно судить по примеру Э. Бенвениста [8]: $\lambda\upsilon\sigma\iota\ \tau\omicron\upsilon\ \pi\iota\pi\omicron\iota$ «он отвязывает лошадь» и $\lambda\upsilon\sigma\alpha\tau\iota\ \tau\omicron\upsilon\ \pi\iota\pi\omicron\iota$ «он отвязывает лошадь» (затрагивая этим себя, т. е. лошадь принадлежит ему) [8, с. 189].

³ Временное совпадение работ, описываемых в [5], в книге М. М. Гухман и в монографии Вяч. Вс. Иванова [7], видимо, неслучайно: в них затрагиваются единые проблемы. Все это говорит об актуальности и необходимости построения исторической типологии и решения ее задач.

ния вплоть до русских диалектных бесподлежащих конструкций с пассивом типа *У Маши теленка зарезано* (на исключительно важную именно этих русских конструкций для построения исторической типологии указывает А. Тимберлейк [5]). Итак, в самом архаичном пласте выделяются состояния центробежные или нецентробежные. Им, точнее, актант, играет в высказывании как бы меньшую роль. Позднее сквозной категорией высказывания становится активность-инактивность [см. также 9]. М. М. Гухман раскрывает механизм столь типичной супплетивности личных местоимений: за ним стоит ментальная несовместимость сочетать в качестве форм одного слова категории агенса и пациенса (с. 206). Средний род, обозначающий неживое, сохраняет поэтому неразличение по форме субъекта и объекта. Древняя модель оппозиции: *Casus Indefinitus* — емкий по своему содержанию родительный падеж предшествует созданию специального падежа, коммуникативного центра. Им становится *Nominativus*, не случайно сохраняющий во многих индоевропейских языках реликтовое совпадение с *Genitivus*. Именительный падеж добавляет топикализирующий демонстратив: *-s* (см. об этом написанную еще в 1901 г. работу Х. К. Уленбека [10, с. 101]). М. М. Гухман говорит о расщеплении *Casus Indefinitus*, о более позднем добавлении *-t* и возникновении падежа объекта. Оуществляется переход к становлению категории переходности — непереходности (данные процессы не характеризуют, разумеется, языки эргативного строя). Это выражается в утверждении номинативного падежа при переходных и непереходных глаголах. Дальнейший шаг — подключение неодушевленного агенса, т. е. грамматикализация именительного падежа; на этапе, уже в книге не прослеживаемом, понятие субъекта соотносится с грамматическим подлежащим, а далее возникают «пустые» подлежащие: франц. *il*, нем. *es*, англ. *it*. Естественно, что позднейшей на этом пути является становящаяся категория пассива: «Пассив является вторичной формой, синтаксически производной от актива. Он может существовать только как трансформация актива и без актива немислим, тогда как актив в качестве первичной формы возможен и без пассива» [6, с. 71]. Описанная и де-

тально разработанная в книге М. М. Гухман система грамматических преобразований действительно охватывает основные компоненты исторической направленности языкового развития. В отличие от намеченной цикличности в преобразовании формальных структурных типов (гл. III), М. М. Гухман считает описанные процессы однонаправленными, хотя, конечно, и эргативные языки структурно очень разнообразны и подвержены историческим модификациям.

В целом в книге прослеживается двуплановость языковой эволюции, несомненное падение ее темпов, разнообразие реализаций. Представляется, что плодотворная идея диахронических констант выявит новые факты, подкрепляющие изложенную теорию на материале, возможно, других языковых групп и других языковых уровней.

Николаева Т. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мещанинов И. И. Проблемы развития языка. Л., 1975.
2. Зализняк А. А. К исторической фонетике древненовгородского диалекта. — В кн.: Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982.
3. Зализняк А. А. Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском. — В кн.: Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
4. Зубкова Л. Г. Сегментная организация слова. М., 1977.
5. Николаева Т. М. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции. — ВЯ, 1984, № 3.
6. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
7. Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981.
8. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
9. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Активная типология языка и происхождение праиндоевропейских местоимений и глагольных парадигм. — ИАН СЛЯ, 1982, № 1.
10. Эргативная конструкция предложения. М., 1950.

Мирчук Ю. Н. Проблемы машинного перевода. — М.: Наука, 1983. 232 с.

Трудно найти, на наш взгляд, в истории лингвистической науки такую отрасль знаний, которая испытала бы в своем развитии столько взлетов и падений, беспредельного энтузиазма и воинствующего скептицизма, как инженерная лингвистика. Вместе со становлением инженерной лингвистики получала конкретные формы основная ее идея — идея машинного перевода, превращаясь из утопии, яркой мечты в научный феномен, для постижения которого были найдены реальные пути и возможности.

Интерес к теоретическим и практическим исследованиям по машинному переводу (МП) в настоящее время объясняется целым рядом причин, наиболее существенными из которых являются новые достижения в области МП как в СССР, так и за его пределами, возрастающий спрос на быстрое и массовое (промышленное) переводческое обслуживание специалистов различных отраслей знаний, а также потребности международного сотрудничества по использованию ЭВМ в информационной практике [1]. В настоящее

время уже не дискутируется (по крайней мере, в кругу специалистов вопрос о возможности или невозможности осуществления МП. Экспериментальные системы, апробированные на машинах первого и второго поколений и получившие статус действующих систем, переросли в промышленные системы, работающие на ЭВМ третьего поколения и выдающие приемлемые переводы. В Советском Союзе работы по промышленному МП успешно ведутся во Всесоюзном центре переводов научно-технической литературы и документации Государственного Комитета СССР по науке и технике и АН СССР, в общесоюзной группе «Статистика речи» в течение последних семи-восьми лет [2—4].

Рецензируемая монография является убедительным примером плодотворной работы в области МП, которая развернута во Всесоюзном Центре переводов научно-технической литературы и документации (ВЦП). В доказательство того, что современный человек уже не справляется с возрастающим потоком научно-технической информации, автор в предисловии приводит очень любопытные данные. В начале 70-х годов продукция ВЦП исчислялась в пять-шесть тыс. авторских листов переводов за год; в конце 70-х годов переводились уже несколько десятков тысяч, а в пределах СССР — сотни тысяч авторских листов, причем спрос на переводы примерно в два раза превосходил выполняемый объем (с. 3). Разрядить создавшееся положение может автоматизация переводческой службы и создание систем МП. Исходя из этого, автор в своей работе не ограничивается решением только теоретических вопросов, таких, как исследование подходов к моделированию перевода, изучение основных особенностей функционирования системы на текстах, но и ставит задачу построить действующую, промышленно-ориентированную систему для конкретной пары языков с конкретным наполнением теоретических компонентов модели, оценить ее технико-экономическую эффективность при промышленной реализации в заданных конкретных условиях эксплуатации и определить основные этапы построения систем машинного перевода. Специальным объектом исследования выступает созданный в рамках принятой концепции англо-русский контекстологический словарь для машинного перевода многозначных слов [5].

Основным теоретическим положением, идейной позицией автора служит точка зрения, согласно которой для построения системы МП, имеющей практическое значение, необходимы специальные модели, комплексный подход к самой проблеме МП как проблеме научно-технической информации и информационного обслуживания в современных технических условиях. Поэтому автор касается сложных лингвистических проблем, таких, как проблема структуры языкового и машинного знака, проблема контекста, теория перевода, сущность важнейших грамматических учений и т. д. По каждой из этих проблем возможны и необходимы самостоятельные исследования. Автор

затрагивает важнейшие вопросы теории языка в той мере, в какой это нужно для формирования его научной концепции, причем освещение этих вопросов ведется в инженерно-лингвистическом аспекте. Действительно, инженерная лингвистика, вырабатывая свою теорию, пользуется богатым наследием традиционной теоретической лингвистики и в свою очередь также обогащает ее новыми идеями и языковыми фактами.

Практическая часть работы содержит описание созданной под руководством автора системы МП с английского языка на русский АМΠΑР (автоматизированный машинный перевод с английского языка на русский) текстов по вычислительной технике и программированию. Эта система создавалась и совершенствовалась в течение многих лет. В 1979 г., впервые в СССР, система была принята межведомственной комиссией и с 1980 г. находится в опытно-промышленной эксплуатации в ВЦП, снабжая потребителей отредактированным машинным переводом. Как сообщает автор, работа над созданием практически пригодных систем МП продолжается. Создаются усовершенствованные варианты АМПАР'а для других подязыков и новых режимов работы. В ВЦП разрабатывается первая очередь системы французско-русского машинного перевода ФРАП. Эта система строится на принципиально другой основе, чем АМПАР, и автор считает, что после ее завершения возникнут объективные основания для сравнения двух разных подходов по технико-экономической и качественной эффективности.

Давая обзор современного состояния МП, автор усматривает в нем два направления, два подхода к решению проблемы. Первое направление представлено работами по формальному описанию семантики и созданию универсального языка смысла. Автор справедливо замечает, что эти работы лишь косвенно касаются существа проблемы МП. Принципиально дедуктивный подход к созданию теории МП, моделирование языка в целом, стремление к универсальным решениям и применениям (машинный перевод, информационный поиск, искусственный интеллект) «размывали» практическую цель данных разработок. Именно это послужило основанием для скептицизма и разговоров о бесперспективности МП или о его неосуществимости.

Остановившись на втором подходе к решению проблемы МП, Ю. Н. Марчук формулирует так называемую селективную стратегию — для перевода нужно брать только то, что для него нужно, не уходя в смежные области разработок. Методическая суть этого подхода — изучение индивидуального поведения языковых единиц, особенно в языковом контексте; моделирование человеческого владения языком, особенно в процессе межязыкового перевода; переход от простого, легко формализуемого, к более сложному. Теоретическое представление, образующее теорию МП в рамках этого подхода, создавались методом проб и ошибок. Реальный машинный перевод, увенчавший довольно трудоемкую работу по его

осуществлению, однако, как считает автор, не лишен существенных недостатков. Отсутствие эффективных алгоритмов семантико-синтаксического анализа и синтеза, неудобное программное обеспечение приводят к тому, что выполненные переводы еще низкого качества. Проблема улучшения систем МП сегодняшнего дня является самой острой в инженерном языкознании.

Можно не согласиться с мнением автора, что нельзя получить достоверной статистики синтаксических явлений языка (с. 12). Другое дело, что такие наблюдения провести гораздо труднее, чем на морфологическом или лексическом уровне. Мало помогает в этом случае и ЭВМ ввиду разной размерности синтаксических конструкций и нечеткости их границ. Однако работы такого плана известны, и они должны быть положены в основу моделирования синтаксиса в ЭВМ.

Основной теорией, рассматриваемой в рецензируемой книге, является теория моделирования. Особое внимание уделяется автором так называемым воспроизводящим инженерно-лингвистическим моделям (ВИЛМ), предложенным Р. Г. Пиотровским [2]. Развивая теорию ВИЛМ, Ю. Н. Марчук уточняет их статус и место среди других видов моделей, возводя в ранг промежуточных — переходных моделей между теорией и языковыми фактами (с. 14). В работе выдвигается понятие модели по переводным соответствиям. С целью обоснования своего подхода автор обращается к истории МП, выделяя собственно лингвистическую проблематику, в частности проблематику обнаружения свойств релевантной переводу структуры. Им выбирается, на наш взгляд, верный подход, базирующийся на идеях лингвистики текста. В приложении к МП этот подход можно интерпретировать следующим образом: вначале нужно строить системы лексического МП и рассматривать его в качестве базового, а затем возводить на его основе более сложные системы, например, семантико-синтаксического перевода. В моделировании перевода необходимо различать статику и динамику и, соответственно, провести разумное отделение словаря от алгоритма. Отметим, что именно эта стратегия обеспечивает быстрое действие, гибкость и простоту системы МП.

В главе «Лингвистические основания моделирования» автор обосновывает концепцию моделирования с помощью переводных соответствий. В работе уточняются термины «единица перевода» и «переводное соответствие» — при тесной понятийной близости эти термины разносятся по разным функциональным сферам, называемым соответственно статикой и динамикой.

Остальные главы книги посвящены практическому аспекту работы. Автор подробно описывает принципы построения модели МП на основе переводных соответствий, которая представлена в виде некоторого автомата, имеющего два основных состояния: генерацию и трансляцию. Первое предусматривает наполнение системы языковым материалом, второе обеспечивает перевод как таковой.

Вследствие этого в модели различаются два компонента — предметный и динамический. Предметный компонент отвечает на вопрос о том, что должно быть переведено, динамический — как должен быть осуществлен перевод.

Как известно, проблема словаря является центральной проблемой автоматической переработки текста, т. к. основная информация заложена в лексике языка. Принципы построения машинных словарей находятся в ведении вычислительной лексикографии, которой уделено значительное внимание в работе. Надо отметить, что до настоящего времени не унифицирована терминология для обозначения того раздела знаний, который занимается проблемой составления словарей для машины — термины «вычислительная лексикография», «машинная лексикография», «компьютерная лексикография» должны быть сведены в конечном счете к единому термину. Возможно, таким бы термином оказался термин «компьютерная лексикография». В раздел компьютерной лексикографии органически должна войти и так называемая статистическая лексикография [6], одним из приложений которой является выработка научных основ для составления автоматических словарей.

Ю. Н. Марчук проводит основные параллели между обычными словарями («словарями для человека») и машинными словарями. В данном случае вполне уместна мысль о слиянии компьютерной и традиционной лексикографии как в методах отбора материала, так и в достижении полноты описания, ибо лингвисту очень трудно порой проследить функционирование лингвистических единиц в тексте и получить сведения об их частотности. Быстродействующая ЭВМ, приспособленная к проведению такой работы, смогла бы существенно помочь в отборе текстового материала и его систематизации.

Контекстологический словарь — большая удача автора. В результате многолетней работы Ю. Н. Марчук пришел к интересному выводу о разрешающей силе контекста в зависимости от лексико-грамматического класса исследуемого слова — для глаголов и прилагательных наибольшей разрешающей силой обладает контекст с правой лексической детерминантой, в то время как для существительных и наречий такой силой обладает контекст из одного предшествующего и одного последующего слова. В среднем эффективность словаря для многозначных слов всех частей речи составляет 90%, с учетом стандартизации терминологии и узкой специализации текстов — до 95% (с. 167).

Ю. Н. Марчук проводит оценку описываемой системы и приходит к заключению, что временные параметры системы (и, естественно, стоимость) делают возможной ее промышленную эксплуатацию на современных ЭВМ. Образцы переводов, помещенные в книгу, на наш взгляд, подтверждают мнение о приемлемости их качества. К результатам МП автор относится довольно критически и дает тщательный анализ выданных машиной ошибок и сбоев.

Достоинством описываемой системы является еще и то, что она продвинута на этап по пути решения более сложных вопросов, выходящих за рамки поставленной задачи. Так, специальный модуль разрешает вопрос порядка слов в отрицательных конструкциях, предусмотрена перемена порядка слов в определительных конструкциях с причастиями и т. д.

Широкое использование в работе статистических данных, методов экспертных оценок придает убедительность изложению основных научных концепций.

В приложении к работе дается описание нескольких действующих систем МП за рубежом, а также образцы отредактированных высококвалифицированными редакторами ВЦП экземпляров одного текста, перевод которого выполнен на ЭВМ системой АМПАР.

Вполне очевиден вклад в теорию и практику МП, который сделан Ю. Н. Марчуком и коллективом ВЦП в целом. Век теоретизирования по поводу МП прошел. На повестку дня встают вопросы делового обсуждения работающих в промышленном режиме систем и ставятся проблемы их

усовершенствования. МП прочно вошел в практику информационного обслуживания, и в этом несомненная заслуга рецензируемой работы.

Садчикова П. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Международный семинар по машинному переводу. 26—30 ноября 1979 г.: Тезисы докладов. М., 1979.
2. *Пиотровский Р. Г.* Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979.
3. *Котов Р. Г., Марчук Ю. Н., Нелюбин Л. Л.* Машинный перевод в начале 80-х годов. — ВЯ, 1983, № 1.
4. *Нелюбин Л. Л.* Перевод и прикладная лингвистика. М., 1983.
5. *Марчук Ю. Н.* Контекстологический словарь для машинного перевода многозначных слов с английского языка на русский. Ч. I—II. М., 1976.
6. *Алексеев П. М.* Статистическая лексикография. Л., 1975.

Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США. — М.: Наука, 1983. 216 с.

Рецензируемая монография представляет собой конкретную разработку на материале американского варианта английского языка (American English, далее — АЕ) выдвигаемой А. Д. Швейцером социолингвистической теории. При этом А. Д. Швейцер опирается как на собственные наблюдения над современным АЕ в его социальных и ситуативно-стилистических разновидностях, так и на данные других исследователей (отечественных и зарубежных).

В книге рассматривается следующий круг проблем: проблема социальной дифференциации языка в общетеоретическом аспекте; собственно социальная, ситуативная и функционально-стилистическая варьированность АЕ; соотношение различных компонентов социально-коммуникативной системы, обслуживающей современное американское общество, и распределение функций между АЕ и другими языками, входящими в эту систему; взаимодействие литературного АЕ с социальными и территориальными диалектами; механизмы двуязычия и диглоссии в условиях многокомпонентной социально-коммуникативной системы. Особое внимание уделяется проблеме функционального многообразия литературного АЕ и таким его разновидностям, которые наиболее значимы в социальном и культурном отношении (ср. анализ языка средств массовой коммуникации).

Разработка каждой из этих проблем, представленная в монографии, позволяет оценить книгу А. Д. Швейцера как весомый вклад одновременно в теоретическую социолингвистику, социологию языка, функциональную стилистику, науку об английском языке и его национальных вариантах.

Рассматривая социальную структуру АЕ, А. Д. Швейцер не ограничивается

фиксацией ее современного состояния, а старается проследить историю формирования различных социально обусловленных подсистем АЕ. Такой подход дает возможность и более глубокого понимания процессов, протекающих в современном АЕ, и объяснения специфических форм взаимоотношений и взаимодействия подсистем АЕ (например, литературного языка и сленга, различных социально-территориальных диалектов как между собой, так и с другими разновидностями АЕ).

Для А. Д. Швейцера характерен широкий взгляд на сущность проблемы «социальная дифференциация языка». На страницах своей книги он убедительно показывает, что помимо такого расслоения языка, которое определяется собственно социальной неоднородностью общества, существуют и другие типы языкового варьирования, которые также должны рассматриваться в рамках указанной проблемы, т. к. и они находятся в связи — правда, сложной и далеко не всегда явно выраженной — с социальными факторами (такова, например, функционально-стилистическая дифференциация литературного языка). Справедливо указывая на отсутствие изоморфности между социальной структурой языка и социальной структурой общества¹, А. Д. Швейцер

¹ Несмотря на явный анахронизм прямолинейного взгляда на природу соотношений языка и общества, этого взгляда еще продолжают придерживаться некоторые современные исследователи, настаивающие (правда, по большей части декларативно) на изоморфных, полностью коррелирующих связях социальной структуры языка с социальной структурой общества (см., например, [1, 2]).

подчеркивает, что проблема социальной дифференциации языка несводима к стратификационной вариативности (которая связана с социально-классовым расслоением общества): она включает еще один вид вариативности — вариативность ситуативно-стилистическую (с. 15 и сл.). Стратификационная вариативность проявляется в речевых особенностях представителей различных социальных слоев и групп; ей соответствует один тип социолингвистических переменных — индикаторы (по терминологии У. Лабова). Ситуативная вариативность определяется особенностями сферы использования языка, ситуативными и стилистическими условиями речи; ей соответствует другой тип социолингвистических переменных — маркеры. В изучении указанных различий в характере социальной варьированности языка рецензируемая книга продолжает и развивает предшествующие исследования автора. Так, например, предложенное им ранее понятие социально-коммуникативной системы, под которой имеется в виду «совокупность всех используемых данным языковым коллективом языковых систем и подсистем» (с. 31)², удачно применяется к анализу языковой ситуации в современных США. Это позволяет «выявить функциональное тождество гомогенных (одноязычных и однодиалектных) систем и систем гетерогенных (двужычных и диглоссных), обслуживающих языковые коллективы в условиях билингвизма и диглоссии» (с. 16)³.

Понятие социально-коммуникативной системы оказывается удобным инструментом исследования, т. к. позволяет не только соотнести друг с другом различные характеристики языка, его носителей и процесса общения (например, такие, как социальная функция языка, диалекта, стиля, социальный статус, коммуникативная ситуация, языковая ситуация, социальная роль и др.), но и показать, как «работает» каждая из этих характеристик в конкретном социолингвистическом анализе языкового материала.

В связи с понятием социально-коммуникативной системы необходимо сделать следующее замечание. Отношения между

компонентами этой системы — самостоятельными языками или подсистемами одного языка (диалектами, жаргонами, стилями), как указывает автор, «задаются не внутривидовыми связями, а связями социальными, определяющими функциональное распределение компонентов»: последние находятся в отношении функциональной дополнителности друг к другу (с. 17). Поскольку это утверждение, как явствует из текста, касается всех типов социально-коммуникативных систем (как гомогенных, так и гетерогенных), то другое утверждение автора, сделанное им ниже, кажется противоречащим первому: в гетерогенных системах, подобных американскому варианту английского литературного языка, «компоненты находятся в отношении не функциональной, а структурной дополнителности». Иными словами, они взаимно дополняют друг друга не по социальным функциям, а по охватываемым ими уровням языковой структуры» (с. 68). Это объясняется тем, полагает автор, что в литературном АЕ нет единой фонетической нормы (в отличие от других уровней, где такая норма есть). Но разве в различных социальных и ситуативно-стилистических условиях общения не используются разные стили английского произношения? Если это так (а многочисленные исследования американских лингвистов да и работы самого автора рецензируемой книги убедительно свидетельствуют о таком варьировании произношения — помимо варьирования регионального), то, значит, и на этом, фонетическом, уровне социально-коммуникативная система вариативна функционально.

Этот пример свидетельствует о том, что проблема варьирования языка остается одной из наиболее сложных. Однако уже сейчас, опираясь на имеющиеся в этой области исследования, можно выделить несколько типов варьирования: так называемый исторический тип, т. е. изменение языка во времени, территориальный (подразделяющийся на территориально-национальный и региональный), т. е. изменение языка в связи с его распространением в разных странах и в разных регионах отдельных стран, тип социального варьирования (как стратификационного, так и ситуативного) и тип функционально-стилистического варьирования речи.

Совмещение разных типов варьирования, происходящее в различных национально-языковых условиях, дает пеструю и пока еще мало изученную картину языковой вариативности. Книга А. Д. Швейцера как раз представляет собой попытку внести ясность в эту сложную проблему⁴.

Исследуя литературный АЕ как основной компонент социально-коммуникативной системы современного американского общества, автор характеризует норму этого языка как ацентрическую (в отли-

² Это понятие перекликается с ранее введенными Дж. Гамперцем понятиями матрицы общения и кодовой матрицы: первая задает специфический для данного общества набор социальных ролей, а вторая — набор «кодов и субкодов, функционально связанных с матрицей общения» [3]. Надо признать, однако, что понятие социально-коммуникативной системы более адекватно отражает взаимодействие языка и его разновидностей с социальной структурой общества, т. е. учитывает не только ролевые различия между коммуникантами, но и многие другие переменные, существенные с точки зрения социально обусловленного варьирования языка.

³ Введенное А. Д. Швейцером понятие социально-коммуникативной системы уже используется в работах других исследователей, посвященных проблемам социальной и ситуативно-стилистической вариативности языка (см. [4, 5]).

⁴ Столь же плодотворной представляется разработка проблем вариативности на материале испанского, немецкого, русского и других современных языков (ср. [6—8]).

чие от моно- и полицентрической нормы в других литературных языках), когда формирование нормы «происходит не вокруг одного или нескольких центров, а на базе самого распространенного регионального койне, имеющего наилучшие перспективы стать общенациональной нормой. Такую модель формирования литературной нормы можно назвать ацентрической» (с. 71).

Однако помимо территориального, существует и собственно социальный аспект нормы, который характеризует как процесс формирования нормы, так и синхронное ее состояние: например, ориентация нормы на образцы речи, являющиеся социально наиболее престижными, — как присущие определенным социальным слоям. Если литературную норму АЕ рассматривать с этой точки зрения, то, по всей видимости, ее нельзя будет назвать ацентрической: несмотря на существование региональных вариантов языка, несомненно действует тенденция к моноцентризму, т. е. все большая ориентация на речевую манеру определенных социальных групп (эта тенденция является, по-видимому, общей для большинства современных литературных языков).

Вообще же надо сказать, что и в определении понятия «литературный язык», и особенно в описании литературного английского языка в США, позицию автора отличает «многофакторный» подход: учет целого ряда факторов (собственно языковых, социальных, этнических, психологических и т. п.), которые в какой-либо степени оказываются релевантными при характеристике системы литературного АЕ и его выразительных возможностей. В этом отношении показателем анализ средств массовой коммуникации (МК) как социально наиболее значимой функциональной разновидности литературного языка. Этот анализ позволяет автору выделить ряд характерных черт языка печати, радио, телевидения, связанных с такими свойствами этих средств МК, как универсальность и специализация, оперативность и вездесущность, централизация и монополизация и некот. др. При этом наряду с общими, «внеациональными» чертами, характеризующими язык средств МК, автор отмечает и такие, которые специфичны для системы МК в США, ср., с одной стороны, выявленные автором тенденции в употреблении штампов и в создании клишированных оборотов, противоборство экспрессивности и стандартности в языке прессы (это свойственно языку средств МК не только в США), и, с другой стороны, насыщенность текста американских газет неологизмами, окказионализмами, лексическими элементами сленга, что меньше представлено в прессе, радио- и телеречи в иных национальных условиях [9, 10].

Наблюдающееся в средствах МК массовое употребление профессиональных терминов, жаргонизмов и арготизмов, широкое использование некоторыми жанрами американской прессы элементов сленга автор рассматривает как одно из проявлений процесса «функциональной мобильности языковых единиц», который протекает как «по вертикали» (литературный

язык $\rightleftharpoons$ диалекты), так и «по горизонтали» (центр языковой системы $\rightleftharpoons$ периферия). Этот вывод представляется верным не только относительно современного АЕ, но и относительно других современных языков. При этом, естественно, характер этого процесса, его интенсивность, а также номенклатура используемых в литературном языке нелитературных средств могут быть различными: так, например, в современной русской печати достаточно широко и разнообразно употребляются специальные термины и профессионализмы, а просторечные и тем более арготические элементы (приблизительные аналоги сленгизмов) встречаются значительно реже.

Показав на примере языка средств МК, как литературный язык взаимодействует с другими компонентами АЕ, А. Д. Швейцер переходит затем к характеристике этих компонентов. Он рассматривает (1) социально-территориальные диалекты, (2) социально-этнический диалект Black English и (3) (собственно) социальные диалекты, которые представлены в США профессиональными диалектами, групповыми (корпоративными) жаргонами, а также арготическими элементами. Диалекты третьей группы образуют специальный сленг, противопоставляемый «общему сленгу», имеющему более широкую сферу употребления (ср. [11]).

При анализе этих подсистем автор использует современные лингвистические исследования американских социальных и территориальных диалектов, критически осмысливая данные и выводы этих исследований и в ряде случаев предлагая собственные решения обсуждаемых проблем.

Книга завершается главой о билингвизме и диглоссии, в которой основное внимание уделяется механизму «переключения кода», т. е. смены языка или стиля в той или иной ситуации общения в зависимости от социальных и других факторов.

В современной социалингвистике популярна модель кодового переключения, в основу которой положена теория социальных ролей: смена роли, изменение ролевых отношений между говорящим и слушающим влечет за собой переключение кода. При всей привлекательности этой модели, отмечает А. Д. Швейцер, она не вскрывает всех особенностей механизма взаимодействия кодов и субкодов в условиях билингвизма и диглоссии, т. к. помимо ролевых она не учитывает никаких других компонентов и характеристик речевого общения (например, социальный статус коммуникантов, их социальные и ценностные установки и т. п.). Автор полагает, что для изучения указанного механизма наиболее плодотворным окажется «комплексный анализ, учитывающий всю совокупность социальных и социально-психологических детерминантов речевого поведения» (с. 190) ⁵.

⁵ Подобный комплексный подход к изучению проблем двуязычия характерен для ряда работ советских социалингвистов; см., например, [12]. Особое вни-

Различая случаи подлинного переключения кода и случаи единичных иноязычных вкраплений, автор, ссылаясь на Дж. Гамперца, отмечает, что вкрапления играют стилистическую роль, «будучи маркерами этнической принадлежности коммуникантов» (ср. английские вкрапления в речи испаноговорящих американцев и испанские вкрапления в их же английской речи, с. 192). Случаи же подлинного переключения более разнообразны и поэтому более интересны с социолингвистической точки зрения. Для их анализа полезно было бы привлечь введенное Дж. Гамперцом и развитое в работах С. Эрвин-Трипп [14, 15] понятие «со-occurrences rules» — правил совместной встречаемости, правил сочетаемости — которые в известной мере регулируют процесс кодового переключения. Суть этих правил сводится к тому, что при полном переключении (возможно, что это соответствует термину А. Д. Швейцера «подлинное переключение») смена кода или субкода на одном уровне влечет за собой его смену и на других уровнях: например, если английский лексический материал вводится в русскую речь, то говорящий должен выбирать тот произносительный вариант, который фонологически является ближайшим к английскому, и строить из этого материала предложения в соответствии с требованиями грамматики английского (а не русского) языка.

В заключение остановимся на некоторых неясных и спорных моментах рецензируемой книги.

Как уже отмечалось, в своей монографии А. Д. Швейцер использует ряд разработанных им понятий социолингвистики и прилагает их к анализу American English. Они, как правило, имеют в работе эксплицитное определение (ср., например, определение понятий «языковой коллектив», «социально-коммуникативная система» и др.). Помимо этих понятий в книге фигурируют многочисленные термины, введенные в научный оборот авторами других исследований (таковы, например, «языковая ситуация» и «гипы языковых ситуаций», по терминологии Л. Б. Никольского, «социальная роль», «социальный престиж» и мн. др.). Наконец, в работе есть еще один разряд понятий и терминообразных оборотов: с одной стороны, они не имеют определений, а с другой, очевидно, что они не заимствованы автором из каких-либо источников. Так, например, неясно, каково содержание термина «социальная матрица»: «Диапазон социальных функций, выполняемых социально-коммуникативной системой, определяет структуру ее социальной матрицы» (с. 17). Никаких разъяснений по поводу того, что такое социальная матрица, каковы ее компоненты и т. п., читатель не получает.

На наш взгляд, чересчур широкий смысл придан термину «план содержания» (с. 30), который используется в лингвистике в достаточно строго определяемом

значении. Применение этого термина к социолингвистическим переменным, как кажется, ничего не проясняет в том, что автор называет омонимией и синонимией этих переменных.

Английскому термину «attitude» в книге соответствует термин «установка». Это — «чувство признания или неприязни, выбор или отвержение, предрасположенность или непридрасположенность, одобрение или неодобрение» в отношении фактов, событий, явлений (как несколько официально определяет этот термин один из цитируемых А. Д. Швейцером американских социологов). В указанном смысле «установка» используется автором применительно к разного рода субъективным оценкам языка в целом, каких-либо его форм, отдельных языковых единиц или их денотатов и т. п. По-видимому, стоило бы указать, что термин «установка» имеет и другой смысл, в котором он употребляется в психологии (начиная с работ Д. Н. Узнадзе): установка — психологическое состояние человека, в которое он приходит для какого-либо целесообразного действия, для восприятия событий, для общения с другими людьми и т. п. В этом втором, психологическом значении термин «установка» довольно широко употребляется и в языкознании (ср., например, работы по психолингвистике, а также исследования русской разговорной речи).

Справедливо критикуя авторов некоторых работ за неточное использование терминов (ср., например, с. 67 и сл., где обсуждается термин «диалект» и возможность его применения к разным формам существования АЕ), А. Д. Швейцер, однако, иногда высказывает упреки, которые не кажутся глубоко обоснованными. Так, на с. 159 автор сетует, что термин просторечие «вообще отсутствует в номенклатуре американских лингвистических терминов». И действительно: такие термины, как «general slang», «illiterate speech», «vulgar-speech», «non-standard language», обозначают явления, лишь отчасти пересекающиеся с теми, которые называются просторечием. Но это не случайно: просторечие — в значительной степени чисто русское явление, имеющее в других языках аналогии, но, по-видимому, не имеющее точных соответствий (как по социальному и языковому статусу, так и по истории своего формирования). Поэтому в применении к англо-американскому языковому материалу употребление этого термина (в сколь угодно адекватном переводе) вряд ли целесообразно.

Одно замечание касается композиционной структуры книги. Представляется вполне оправданным такое расположение материала, которое ведет читателя от общетеоретических вопросов, связанных с проблемой социальной дифференциации языка, к конкретным формам и проявлениям этой дифференциации. И в конце описания читатель хотел бы видеть некоторое заключение, подытоживающее проделанную работу. Заключение могло бы, в частности, содержать схему социальной дифференциации современного АЕ, в обобщенной форме и в то же время

манье при этом уделяется методам исследования двуязычия, а также проблеме моделирования процесса владения двумя языками [13].

наглядно представляющую различные социально обусловленные подсистемы этого языка и их соотношение друг с другом.

Перечисленные замечания касаются достаточно внешних сторон рецензируемой работы и не затрагивают ее существа. В целом же новая книга А. Д. Швейцера — несомненный успех ученого, бесспорное свидетельство плодотворности его исследования в области социолингвистики и ее конкретных приложений.

Крысин Л. П., Трескова С. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bright W. Introduction: the dimensions of sociolinguistics. — In: Sociolinguistics. Ed. by Bright W. The Hague, 1966.
2. Bock Ph. Social structure and language structure. — In: Readings in the sociology of language. 2-nd ed. The Hague, 1970.
3. Гамперц Дж. Типы языковых обществ. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975, с. 187—188.
4. Грумадене Л. А. Проблемы социальной обусловленности речевого варьирования (на материале литовского языка): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.

Brang P., Züllig M. Kommentierte Bibliographie zur slavischen Soziolinguistik. — Bern — Frankfurt-am-Main: Peter Lang, 1981. Bd. I — S. 1—627; Bd. II — S. 628—1404; Bd. III — S. 1405—1639.

Один из авторов рецензируемой «Аннотированной библиографии по славянской социолингвистике» — известный швейцарский славист П. Бранг — в докладе, подготовленном для IX Международного съезда славистов в Киеве (сентябрь 1983 г.), подчеркнул, что опубликование Библиографии, о работе над которой он впервые объявил на VII съезде славистов в Варшаве (1973 г.), при всей ее неполноте, не только является обобщением уже проделанной работы в этой области языкознания, но и создает предпосылки для дальнейших социолингвистических исследований в области различных языков [1]. С его мнением можно вполне согласиться — перед нами фундаментальный библиографический труд в трех томах, являющийся, как об этом не без оснований сказано в издательской аннотации, «первой попыткой дать общую картину славянских и славяноведческих работ по языку как социальному феномену...». Первые два тома, насчитывающие 1404 страницы, представляют собой собственно библиографию, включающую свыше 15 тыс. (15 061) названий социолингвистических работ, а третий том (с. 1405—1639) содержит сводный именной и предметный указатели, а также список принятых в Библиографии сокращений названий сборников научных трудов, журналов, книг и монографий. Таким образом, все три тома образуют единый корпус Библиографии. Работа была опубли-

5. Михальченко В. Ю. Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков. Вильнюс, 1984.
6. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976.
7. Домашнев А. И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах. М., 1983.
8. Русский язык по данным массового обследования. М., 1974.
9. Язык в развитом социалистическом обществе. Языковые проблемы развития системы массовой коммуникации в СССР. М., 1983.
10. Социолингвистические проблемы функционирования системы массовой коммуникации в СССР. М., 1983.
11. Маковский М. М. Английские социальные диалекты. М., 1982.
12. Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976.
13. Дешериев Ю. Д. Теория языка и языковая практика. — В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
14. Gumperz J. On the linguistic markers of bilingual communication. — Journal of social issues, 1967, v. 23, № 2.
15. Ervin-Tripp S. The structure of communication choice. — In: Ervin-Tripp S. Language acquisition and communicative choice. Stanford, 1973.

кована в качестве 17-го тома серии «Slavica Helvetica» («Швейцарская славистика»).

Основой рецензируемой Библиографии послужили собранные П. Брангом еще в начале 60-х годов названия работ «по славянской социолингвистике». К концу 1972 г. к сбору и систематизации библиографического материала присоединилась М. Цюллинг. Работа была продолжена в рамках группы славянских языков (Slavisches Seminar) Цюрихского университета, получив статус исследовательского проекта и материальную поддержку Швейцарского национального фонда развития научно-исследовательских работ (с 1973 по 1978 гг.).

Библиография содержит перечень изданных в странах распространения славянских языков (СССР, НРБ, ПНР, ЧССР, СФРЮ) публикаций, посвященных социолингвистической проблематике как славянских, так и других языков. При этом среди работ советских авторов в Библиографию включены и такие, которые написаны по соответствующей проблематике на различных национальных (туркменском, узбекском, эстонском и др.) языках. С другой стороны, Библиография охватывает также работы, принадлежащие лингвистам других стран, в которых соответствующая проблематика рассматривается на материале славянских языков. Тем самым подчеркивается характер Библиографии — быть

одновременно как славянской (по охвату стран), так и славистической или славяноведческой (по отбору языков описания). Таким образом, по своему содержанию рецензируемый труд швейцарских лингвистов оказывается более широко-объемлющим, чем позволяет заключить его название.

Библиография охватывает работы, опубликованные как в XX в., так и в XIX в. Работ более ранних периодов в Библиографии почти нет. Авторы учитывали в основном публикации, вышедшие в свет до конца 1977 г., однако в ограниченном количестве в нее включались работы, опубликованные и в 1978—1980 гг., если предварительно было установлено, что они имеют «важный характер» и позволяют судить о намечающихся «тенденциях исследования».

Большую трудность при разработке Библиографии составляло определение характера той или иной включенной в нее работы как социолингвистической. Здесь важно было определить границы самой социолингвистики и отграничить ее от таких «соседей» или близких дисциплин, как психолингвистика и этнолингвистика, но при этом не упустить из виду те из публикаций, которые имеют социолингвистическую направленность. Авторы исходили из того положения, что самый предмет социолингвистики еще не имеет достаточно четкого и общепризнанного определения, а теоретические и методические принципы обнаруживают широкий диапазон вариаций (*Variationsbreite*). В связи с этим они считали, что их задача состоит не в том, чтобы заниматься «нормализацией» предмета социолингвистики, а в том, чтобы «зарегистрировать» соответствующие публикации, исходя из широкого (*weitgefaßt*) его понимания. Однако сама идея составления комментированной библиографии определила необходимость систематизации всего собранного библиографического материала, что безусловно является попыткой самостоятельного отграничения предмета социолингвистики, а также ее внутреннего членения.

Собранные данные распределены по 158 тематическим группам, которые, в свою очередь, включены в 6 основных разделов: 1) социолингвистические исследования (исследовательские отчеты, доклады на конференциях и т. д.); 2) общие аспекты взаимосвязей языка и общества; 3) язык и социальная структура; 4) язык и культура; 5) идеология, политика и язык; 6) общество, язык и художественная литература. Наиболее обширным по охвату тематических групп является третий раздел — «Язык и социальная структура». В нем объединено 59 тематических групп, т. е. свыше одной трети всего количества названий, среди них: ономастика, антропонимика, топонимика; региональная и социальная стратификация языка; социальные аспекты региональных диалектов, язык города и села, формы существования языка (языковые слои, языковые варианты); функциональные стили, обиходно-разговорный стиль, стиль публицистики и средств массовой информации и коммуникации,

газета, радио и телевидение, кино, театр, реклама, спорт, стиль языка науки, стиль административно-делового языка, стиль художественной литературы; социолекты, специфика языка различных групп с точки зрения возраста и пола, арго, жаргон, сленг, «тайные» языки, табу, эвфемизмы и др. При этом некоторые названия тематических групп встречаются и в составе других разделов. Так, арго, жаргон, сленг, различные формы речи молодежи (*Jugendsprachen*) включены также в раздел шестой — «Общество, язык и художественная литература» — в связи с тем, что в данных публикациях рассматриваются вопросы использования подобных языковых фактов в текстах литературных произведений.

Сводный алфавитный предметный указатель, содержащийся в третьем томе Библиографии, сообщает читателю номера библиографических карточек публикаций, в которых рассматривается данное явление, а оглавление, помещенное в первом томе (с. I—XI), отражает тематическое структурирование библиографической картотеки в пределах упомянутых шести разделов. Большим удобством при пользовании Библиографией является наличие в третьем томе именного указателя авторов, работы которых включены в нее. Против фамилии и инициалов каждого автора, расположенных в алфавитном порядке, приведены номера библиографических карточек, под которыми они находятся в корпусе Библиографии. Это очень важно, т. к. часто случается, что читателю бывает необходимо сопоставить то или иное суждение о предмете с мнением какого-то определенного автора или получить сведения о том, какими вопросами более конкретно занимается данный автор. Для подобных случаев наличие такого указателя действительно необходимо.

Особенно важно подчеркнуть, что Библиография содержит труды В. И. Ленина по вопросам языковой политики и языкового строительства, проблемам культуры речи. В ней широко представлены также публикации, авторы которых на основе трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина разрабатывают вопросы общественной природы языка, его происхождения и развития в процессе социальной деятельности человека, проблемы взаимоотношения языка и мышления, языка и идеологии и другие кардинальные проблемы методологии языковедческой науки.

Значительную часть Библиографии занимают данные о публикациях по проблемам социолингвистики в нашей стране. При этом необходимо отметить, что здесь достаточно полно представлены относящиеся к самому раннему периоду в истории советского языкознания труды таких ученых, как В. М. Жирмунский, Н. М. Каринский, Б. А. Ларин, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, в которых закладывались основы нового направления. Именно это направление, по словам М. М. Гухман, стало «первым опытом построения марксистской социолингвистики» [2]. Одновременно авторам удалось отразить с наименьшей полнотой об-

щую картину советских социалингвистических исследований. В своей Библиографии они смогли охватить не только книги и статьи из ведущих лингвистических журналов, но и самые различные публикации, увидевшие свет в сборниках научных трудов институтов и университетов. Определенную помощь при этом им оказали общие библиографии по славистике и языкознанию, библиографические бюллетени, издающиеся в различных странах (СССР, ЧССР, СФРЮ, Нидерланды, ФРГ и т. д.).

Хотя рецензируемая работа и называется «комментированной библиографией», это не следует понимать в том смысле, что библиографическая статья всегда содержит аннотацию содержания данной публикации. Такие комментарии (не более одного предложения) имеются лишь в отдельных случаях, а именно, когда название работы никак не указывает на ее содержание или направление. Во всех остальных библиографических статьях приводятся только данные по обычной схеме: автор, название работы, место и год издания и др. Способом опосредованного комментирования характера публикаций является расположение их в корпусе Библиографии по принадлежности к одной из 158 тематических групп, которые, в свою очередь, распределены по шести основным разделам, упоминавшимся выше. Так, порядковый номер 3128, под которым приводится работа Г. В. Степанова «Социально-функциональная дифференциация литературного языка Испании и Латинской Америки» (далее следуют выходные данные публикации), содержащийся на с. 287 Библиографии, на основании «Оглавления» позволяет заключить, что данная публикация включена в тематическую группу «Форма существования языка», входящую в раздел «Язык и социальная структура». Таким образом, данная классификация работы становится способом ее комментирования.

В связи с систематизацией библиографической картотеки следует высказать несколько замечаний. Вызывает сомнение целесообразность включения таких тематических групп, как «Норма, нормализация языка», «Возникновение и разви-

тие стандартных языков», «Общая и сравнительная типология стандартных языков», «Культура речи», «Языковые контакты и языковые союзы», «Билингвизм» и др. в раздел «Идеология, политика и язык». С большим основанием эти тематические группы могли бы быть включены в раздел «Язык и культура», который, кстати заметим, оказался тематически не развернутым: здесь приводятся лишь четыре тематические группы — «Общие взаимоотношения (в том числе семиотика, вербально-невербальная коммуникация, страноведческая проблематика изучения языка и др.); «Отражение культурных и технических процессов в развитии языка»; «Научно-техническая революция и язык»; «Язык как фактор культуры». Возможно, следовало на основе упомянутых и других подобных тематических групп создать самостоятельный библиографический раздел.

Авторы не претендуют на то, чтобы считать свою Библиографию абсолютно полной. Они признают, что не могли этого сделать и не стремились к этому. Однако следует с уверенностью сказать, что она достаточно полна для того, чтобы служить надежным справочником для всех, кто занимается изучением языка как общественного явления, кто исследует вопросы связи языка и общества, различные аспекты социологии языка. Отныне мы располагаем уникальным библиографическим справочником, отражающим одновременно историю и развитие социалингвистических исследований вплоть до наших дней.

Десницкая А. В., Домашнев А. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Brang P. Zur Situation und den Aufgaben einer soziolinguistischen Erforschung der slavischen Literatur.— In: Schweizerische Beiträge zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev. September 1983. Bern, 1983, S. 8—9.
2. Гухман М. М. У истоков советской социальной лингвистики.— ИЯШ, 1972, № 4, с. 3.

Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. — М.: Наука, 1982. 155 с.

Известно, что ни одна из других грамматических категорий славянских и неславянских языков не была объектом такого внимания лингвистов, как категория вида. Сложность и своеобразие этого языкового явления породили необычайное разнообразие точек зрения на его природу и сущность, неослабевающий интерес к аспектологической проблематике и вместе с тем весьма сложную и запутанную ситуацию в аспектологии в целом. Исследование М. Я. Гловинской представляет собой попытку отыскать и использовать новые пути в описании инвариантов совершенного (СВ) и несо-

вершенного вида (НСВ)¹ в русском языке, внести ряд усовершенствований в теорию и практику аспектологического описания.

Рецензируемая книга состоит из Предисловия и четырех, соразмерных относительно друг друга глав; в конце работы помещен Указатель упоминаемых в изложении глаголов и отглагольных существительных. В I главе дается кри-

¹ Сокращениями СВ и НСВ ниже заменяются соответствующие полные выражения также и в цитатах из рецензируемой книги.

тический обзор основных точек зрения на вид, характеризуется суть выдвигаемого «смыслового» (противопоставляемого традиционному) подхода к изучению видов, формулируются принципы и задачи, характеризуются материал и методы исследования. Во II главе обсуждается ряд семантических проблем: 1) видовое и лексическое значение в глаголе, 2) статус потенциального и других модальных значений видов, 3) значение вида и контекст. III глава посвящена изложению вопроса, давшего название книги в целом, — вопроса о семантических типах видового противопоставления; в этой главе реализуются заявленные ранее принципы смыслового подхода, а также излагаются теоретические выводы, полученные из рассмотрения материала. В IV главе, содержательно не мотивированной предыдущими тремя главами, дается характеристика трех выделенных автором разновидностей общефактического значения, определяются условия, благоприятствующие или препятствующие его реализации.

Исходная мысль рецензируемой книги заключается в том, что традиционный (называемый «признаковым») подход к описанию семантики видов, согласно автору, в настоящее время уже исчерпал себя и современные аспектологи по сути топчутся на месте. «Большинство последних аспектологических работ, — пишет М. Я. Гловинская, — оперирует все тем же набором признаков, причем мера разногласий по поводу того, какой именно признак или набор признаков является определяющими для СВ и НСВ, несколько не уменьшается. В тех редких случаях, когда предлагаются какие-то новые признаки, они оказываются при ближайшем рассмотрении другим названием для старых» (с. 3).

В качестве иного, связанного с «новыми перспективами» образца описания семантики видов, предлагается описание, опирающееся на принципы, выработанные одним из направлений современной семантики — лексической семантикой. Главный принцип этого направления состоит в том, «что все языковые значения могут и должны описываться с помощью единого метаязыка, похожего на язык лексикографических толкований» (с. 4). При этом М. Я. Гловинская стремится «в полной мере учесть и результаты предшествующего изучения видов» (там же).

При внимательном рассмотрении выдвигаемый в книге М. Я. Гловинской «смысловой» подход, противопоставляемый, как уже сказано, традиционному, «признаковому», оказывается попыткой утвердить принципы индуктивного исследования в изучении и описании аспектологического материала. Сторонники таких принципов, как известно, настаивают на получении общего теоретического знания из единичного, эмпирического. По мнению М. Я. Гловинской, в аспектологии принципиально неверно и невозможно исходить «из априорного представления о том, что каждый вид обладает семантическим инвариантом» (целостностью, предельно-

стью, законченностью и т. п.). «Необходимо, — пишет, утверждая свои позиции автор, — сопоставить между собой видовые значения многих (в идеале — всех) глаголов каждого вида. Если у этих видовых значений окажется совпадающая часть, то она представит собой семантический коррелят — инвариант данного грамматического значения вида. Возможно, что единого инварианта не окажется, а будет несколько инвариантов, каждый из которых будет соответствовать значительной группе глаголов» (с. 37—38). И далее: «Выделение смысловых компонентов, соответствующих виду, возможно только на основе толкования глагола» (с. 38). При этом «значение должно быть в итоге выражено так, чтобы различие между членами видовой пары сводилось не к глаголам СВ и НСВ (хотя бы и более простым, чем толкуемые), но к каким-то другим элементам» (там же).

Однако, как известно, «без дедукции индукция несостоятельна» [1]. Назначение индуктивного пути исследования — отыскать объективные критерии подтверждения общих положений, в глобальном, теоретическом плане этот путь непродуктивен и малоперспективен. В применении к языку, писал К. С. Аксаков, «полное исчисление случаев невозможно», «сбивает», ибо это все случаи, «не только скрывающие общий закон, но часто противоречащие друг другу, как скоро не понять этот общий закон, в котором находят они свое единство и объяснение» [2]. Прецедент такого рода следствий преувеличения возможностей индуктивного подхода в какой-то мере представляет и рецензируемая книга: здесь немало интересных частных замечаний и наблюдений, но сравнительно мало так называемых «концептуальных» идей, встречаются положения, характеризующие явление только с какой-то одной стороны, причем подход автора при этом одновременно является и критерием оценки взглядов его предшественников. Последним снимается возможность установления связи между различными подходами, хотя такое сближение в ряде случаев было бы столь же полезно, логично и необходимо, сколь методологически важно, полезно и необходимо реализовать в конкретном описании связь между индукцией и дедукцией (см. ниже).

Поиски новых путей аспектологического описания М. Я. Гловинская пытается обосновать, указывая на недостаточные объяснительные возможности выработанных до сих пор теорий. За исключением работ, основанных на индуктивном подходе (Вежбицка, Богуславский и др.), при изложении теоретических идей предшественников в рецензируемой книге преобладает деструктивное начало. Эта черта анализа и оценки распространяется также на те случаи, когда предшественники М. Я. Гловинской, стремясь преодолеть или приблизить абстрактный признаковый подход к реальным фактам языка, обращались к наблюдениям над контекстным употреблением видовых форм.

Автор рецензируемой книги, в частности, не принимает пути установления или уточнения семантики видов посредством анализа особенностей их сочетаемости: «...исчерпывающее описание сочетаемостных условий реализации видов эффективно различит именно их сочетаемость, но не семантику видов» (с. 24—25). Показательно, что раздел «Значение вида и значение контекста» (с. 67—70) в сущности почти целиком посвящен ошибкам других авторов — разбору случаев, когда исследователи, по мнению М. Я. Гловинской, смешали значение вида и контекста. Хотя автору действительно удается отметить ряд очевидных оплошностей, допущенных его предшественниками, на наш взгляд, нельзя согласиться с ним в неприятии сочетаемости в качестве приема уточнения или определения семантики глагольного слова. Согласно М. Я. Гловинской, различие фраз *Простите, что я давно не писал* и *Простите, что я давно не написал* связано не с видом, а с тем, что слово *давно* здесь употреблено «в двух разных значениях»: первое эксплицируется словом *долго*, второе — словом *раньше* (с. 67—68). Однако возникает вопрос: почему все-таки слово *давно* употреблено здесь в разных значениях? Возможно ли, чтобы в пределах фразы (предложения) взаимодействие осуществлялось только на уровне формы? Утвердительный ответ на последний вопрос нельзя было бы не признать ошибочным; безусловно, согласование в речевой цепи (шире — синтагматике) осуществляется и на уровне формы и на уровне смысла, и именно из этого, по-видимому, исходят лингвисты, пытающиеся посредством анализа сочетаемости более полно описать семантику видов. Что же касается конкретных особенностей сочетаемости слов типа *давно*, *вдруг* и т. п. с глагольными формами, то здесь важно учитывать, что такие слова обычно не только синтаксически, но и семантически подчинены глаголу, хотя вполне возможно и обратное — подчинение глагола смыслу определителей (как в случае суммарного значения СВ).

Хотя сочетаемость как прием обнаружения и уточнения семантических признаков глагольных форм М. Я. Гловинской, как мы видели, отрицается, этот прием нередко используется автором в его же рассуждениях. В подтверждение этого процитируем одно место из рецензируемой книги: «Если НСВ глагола подставляется хотя бы в один из этих контекстов [„Смотри, вот он...“; „Он как раз...“ и др. — Л. Н.], он имеет актуально-длительное или процессное значение; если же он не подставляется ни в один контекст, он не имеет этого значения» (с. 44; см. также с. 32, 34, 45, 53, 137 и др.).

В ключевом для книги вопросе — вопросе о критериях видовой парности глаголов — М. Я. Гловинская неожиданно для читателя занимает позиции, значительно «мягче» позиций своих предшественников, которые вопрос о не только формальных, но и логически-смысловых принципах объединения гла-

голов в соотносительные видовые пары считают одним из главных (работы Э. Кошмидера, М. А. Теленковой, М. И. Морозовой, М. А. Шапиро, Л. С. Новиковой и др.). «Поскольку, — замечает автор, — вопрос о том, какие пары глаголов можно признать чисто видовыми, а какие — нет, является дискуссионным, мы ориентировались на общепризнанные видовые пары, т. е. в основном на пары, в которых морфологически производным является глагол НСВ (суффиксальная имперфективация), либо на пары, образованные чередованием гласных. Из числа пар, образованных приставочной перфективацией, учитывались лишь те, смысловое соотношение внутри которых совпадало со смысловым соотношением, обнаруженным на классических парах» (с. 46).

Хотя с точки зрения стремления к объективному познанию семантики видовых различий такой подход не может считаться безупречным, как мы увидим в дальнейшем, он оказывается полезным при попытке определить некоторые особенности структурной организации вида и пути ее истолкования.

В рецензируемой работе отрицается также еще одна из существенных особенностей традиционного подхода — использование понятия маркированности — немаркированности при характеристике смыслового соотношения СВ и НСВ. Согласно автору книги, в оппозициях типа *музыкант* — *музыкантша*, *учитель* — *учительница* (немаркированный — маркированный член) понятие маркированности — немаркированности может быть применено, поскольку в этих примерах «члены оппозиции имеют общую смысловую часть...», «значение лица, деятеля». Что же касается оппозиций по виду, то, замечает М. Я. Гловинская, «непонятно, какая общая смысловая часть может выделяться у ...грамм СВ и НСВ...»; «...понятия маркированности — немаркированности не могут быть применены в данном случае, — считает автор, — из-за отсутствия основы сравнения — общей смысловой части сравниваемых грамм» (с. 19).

Трудно поверить в ветенденциозность подобного заявления, если вспомнить даваемые обычно в литературе определения сущности вида: «вид — категория, выражающая отношение действия к его пределу»; «вид показывает, как распределяется действие во времени»; «видами называются глагольные формы, изображающие действия (состояния) с их качественной стороны» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский) и пр. Общей смысловой частью видовых оппозиций, как следует из таких определений, является значение действия, которое не шире и не уже отменного выше значения деятеля. Кроме того, как известно, принцип определения категориальных значений в парадигме требует общности для членов оппозиции других категориальных признаков; для характеристики вида таковой является в первую очередь общность временного значения. Судя по всему, однако, выдвигая вполне справедливое требование — до-

исследования видовых форм в тексте «располагать парадигматическим описанием каждой видовой формы» (с. 45), М. Я. Гловинская исходит из других представлений о парадигматическом описании, поскольку для этой цели избирает «для форм НСВ... настоящее время как наименее влияющее на вид, а для форм СВ — прошедшее время» (с. 43, ср. с. 45).

Можно сказать и другое: автор, по-видимому, не очень хорошо владеет методикой оппозиционного анализа, не ориентируется в том, в соответствии с какими закономерностями признаки выявляют себя и/или объединяются в грамматической форме, поэтому не отличает — даже там, где это бросается в глаза, — видовые оппозиции от оппозиций, основанных на других признаках. Последнее само по себе уменьшает доверие к его критическим замечаниям по поводу традиционного подхода, каковых довольно немало в книге, и прежде всего, конечно, к утверждению о том, что традиционный признаковый подход «себя исчерпал». Так, при характеристике четвертого «стандартного типа видового противопоставления» (III гл.) приводятся контексты, где глаголы различаются не аспектуальным, а темпоральным признаком: *Поведение аспиранта возмущает/возмутило его научного руководителя; Твой поступок огорчает/огорчил меня; Недоверие матери оскорбляет/оскорбило сына* и т. п. «Общей частью» у членов этих оппозиций, как нетрудно заметить, выступает значение результативности, вследствие чего в таких парных контекстах особенно четко проведено различие временных значений (настоящее — прошедшее). Для автора рецензируемой книги значение СВ в таких случаях остается «неясным», поскольку в примерах, подобных цитированным, как сказано, «глагол СВ обозначает начало состояния, о котором нельзя с полной определенностью сказать, что оно сохраняется до момента речи» (с. 92). Отметим, что переход к образованию чисто видовых соотношений в подобных случаях регламентируется той же закономерностью: необходимо сделать «общей частью» сходство временных значений, что окажется возможным только при различии в формах видовых значений. Отсюда следует, что коррелятом, например, формы *понял*, представляющей результат, существующий (сохраняющийся) в настоящем, будет форма *не пойму*, т. е. форма с отрицанием, толкуемая с помощью перифразы «стараюсь понять, делаю так, чтобы понять» (процессуальная направленность к результату).

При анализе традиционных подходов к виду, основанных, как известно, преимущественно на характеристике действия по отношению к его завершечию (ср. такие признаки, как законченность, предельность и др.), М. Я. Гловинская справедливо замечает, что по отношению к определенным типам глаголов (например, начинательным: *запеть, заспеться*) подобные понятия (законченность, предельность) теряют смысл. Логично, однако, было бы предположить

в этом случае наличие в пределах вида и другого классификационного принципа: характеристики действия-состояния относительно его начала (возникновения). Типологически признак начала отражает факт изменения, сдвига в распределении состояний; начало предполагает состояние, состояние же — результат, или продукт, начала. Оговорив это, далее можно было бы попытаться отыскать аналог предполагаемого типа соотношения среди «стандартных видовых противопоставлений». У М. Я. Гловинской, однако, нет этого, на наш взгляд, достаточно очевидного конструктивного вывода к критике, а в описательной III главе соответствующий ему тип дается уже как готовый — «стандартный» — тип видового противопоставления («быть в состоянии» — «начать быть в состоянии»; с. 91 и сл.), хотя с точки зрения обычных (по большей части критикуемых в работе) теоретических воззрений указанный тип весьма сомнительно признавать «стандартным».

Вопрос о семантике различных типов видового противопоставления в книге разработан наиболее полно (III гл.). Для вычленения грамматических элементов из семантических описаний видовых пар используются толкования, в более или менее единообразной форме раскрывающие объемы смыслов соотносительных глаголов. Однако и при оценке основных теоретических воззрений на вид, и в конкретном «лексикографическом», описании материала автором не учтен момент связанности в семантике глагольной формы видового признака с выражением характера отношения субъекта к действию. Последнее, как отмечается в литературе, влияет на формирование и особенности формального образования видовых пар, а также на функциональное соотношение аспектуально-темпоральных признаков в глагольной форме.

В книге М. Я. Гловинской субъектные признаки как фактор описания используются явно недостаточно. Автор не идет далее уже в какой-то мере установившейся практики лексико-семантического описания. Между тем, если с указанной точки зрения посмотреть на подход А. Вежбицкой [3], которому в книге уделяется немало внимания (в связи с тем, что он отвечает внутренним устремлениям автора), то этот подход не будет таким исчерпывающим и полным, как это выйдет в оценке М. Я. Гловинской. Истолкование глагольных значений А. Вежбицкой (как и затем М. Я. Гловинской) осуществляется исключительно с позиции наблюдателя, поэтому исходным элементом описания, соответствующим инварианту СВ, считается элемент «начало»: *Он уснул* = «Он начал спать» (с. 30). Та же фраза и глагольная форма в ней, однако, может быть истолкована и с позиции деятеля: *Он уснул* = «Он кончил засыпать». Последнее толкование соответствует традиционному взгляду на семантику глагольных форм СВ. Уже этот факт позволяет предположить, что подход А. Вежбицкой и следующей за ней М. Я. Гловинской

столь же односторонен, как и отвергаемые в начале книги концепции, исходящие из позиций деятеля (а не наблюдателя, как А. Вежбицка и М. Я. Гловинская).

Конкретное описание материала М. Я. Гловинская строит, исходя примерно из тех же позиций и принципов, что и А. Вежбицка. В толкованиях как форм инфинитива, так и личных форм абсолютно преобладают элементы «начать» — «начинать»: *«Наступила (настала) трудная пора»* = „начала иметь место трудная пора“ (с. 77); *«Закашиться»* = „начать быть кислым“ — *«закаситься»* = „начать быть кислым“ (с. 78); *«Взодить»* = „идя, начинать находиться внутри чего-либо“ — *«войти»* = „идя, начать находиться внутри чего-либо“ (с. 80); *«Выходить»* = „идя, начинать находиться вне чего-либо“ — *«выйти»* = идя, начать находиться вне чего-либо“ (там же). Отметим, что в последних двух толкованиях глаголов СВ, как и во всех им подобных других, дееспричастие излишне: форма СВ не содержит указаний относительно того, продолжает ли субъект двигаться дальше. Представление о нем (субъекте) как деятеле, связанное с формой НСВ, в форме СВ трансформируется в неопределенное субъектное представление. Таким образом, толкования, призванные служить средством получения неаприорных суждений о семантике видовых форм, на деле оказываются отнюдь не лишенными недостатков.

Метаязык, используемый автором рецензируемой книги, не всегда точен и в других отношениях. Так, толкование выражения *Х возглавил Y* с помощью перифразы *«Х начал возглавлять Y (быть главой Y-а)...»* и — далее — выделение в качестве общего лексического элемента видовой пары *«возглавлять Y — возглавить значения (быть главой)»* (с. 49) представляется не совсем корректным. На наш взгляд, в случае толкования *возглавить* как «начать быть главой» характеризуется не само действие («руководить»), а только позиция субъекта относительно действия, т. е. не собственное, а «пресуппозиционное» (приписываемое вторично) значение. Подобная операция возможна далеко не всегда, поэтому, например, *«воспылать»* нельзя семантически трансформировать в «начать быть пламенем», как и *«пылать»* — в «быть пламенем». С другой стороны, предложенное М. Я. Гловинской толкование неприменимо во фразе *Х на какое-то время возглавил Y*: нельзя интерпретировать ее смысл как «Х на какое-то время начал быть главой Y».

Добавим, что, помимо указанного, факт изменения (преобразования) субъектных признаков (оттенков) при переходе от одной видовой формы к другой важно учитывать и при толковании семантики глаголов в таких случаях, как *«Тучи застилают/застлали небо»* (с. 95); *«Волосы выбиваются/выбились из-под шапки»* (там же); *«Я послал/послал сына в магазин»* (с. 118); *«Кто читал/прочел «Капитанскую дочку»»* (с. 121) и др. Спецификой субъектного значения (характером отношения субъекта к дей-

ствию) определяется своеобразие видовой семантики в глаголах *«ослабеть, затупиться, пожелтеть, сузиться»* и т. п. (ср. с. 9).

В конце III главы книги, после рассмотрения «стандартных» и «нестандартных» типов видового противопоставления, М. Я. Гловинская излагает вывод, отвечающий, как следует из содержания всей книги, идеалу неаприорного «семантического» описания видовых инвариантов. Отмечается, что инвариантом СВ является «особый элемент „начать“», что, таким образом, является всего лишь, как признает и автор (с. 107), подтверждением суждений на этот счет А. Вежбицкой. В толкованиях НСВ, — отмечает М. Я. Гловинская, — выделяется общая часть „существует в каждый из ряда последовательных моментов“ (там же). Этот признак в свою очередь сравнительно легко идентифицируется как соответствующий позиции наблюдателя.

Видовая концепция Вежбицкой — Гловинской, таким образом, на наш взгляд, не оправдывает претензий на новизну и оригинальность и представляет собой в сущности лишь своеобразную субъектную «перелицовку» теорий, отвергнутых в начале рецензируемой книги. В качестве классификационного принципа в рамках этой концепции берется отношение не к концу (позиция деятеля), а к началу действия-состояния (позиция наблюдателя), что принципиально не изменяет традиционного подхода, а представляет только одну из его еще недостаточно мотивированных модификаций.

IV — заключительная — глава и по достигнутым результатам, и по манере изложения существенным образом отличается в лучшую сторону от предшествующих трех. Характеристика выделенных здесь разновидностей общефактического значения, а затем и описание условий, способствующих или препятствующих их реализации, насыщены множеством интересных замечаний, наблюдений и предложений. Представляется, в частности, верным замечание, касающееся того, что значение двунаправленности действия (*«Я открывал окно»*) нецелесообразно отделять от общефактического значения, а также толкование фразы *«Я видел ущелье, в котором геологи с сентября по ноябрь искали алмазы»* в качестве производной от фразы с глаголом в общефактическом, а не «актуально-длительном» значении. На наш взгляд, предлагаемый для характеристики таких примеров термин «процессно-фактическое значение» (с. 127) имеет все права на существование и вполне может быть введен в научный обиход аспектологов.

Семантической основой общефактического значения М. Я. Гловинской признается «идея дискретности действия (т. е. действия с указанным началом или концом)» (с. 134). Не возражая против подобного подхода, позволим себе добавить, что в общефактическом значении важен не только момент прекращения действия (у М. Я. Гловинской — дискретность), но и ретроспективная его оценка (интерпретация).

Все разделы этой главы одинаково равноценны. Автор, разумеется, исчерпывает далеко не все объяснительные возможности в изложении тех или иных вопросов, однако то, что ему удастся в этой главе, заслуживает всяческого внимания аспектологов.

Главное достоинство рецензируемой книги заключается в том, что она не оставляет читателя равнодушным. Монография М. Я. Гловинской не только и не столько будит мысль, сколько побуждает читателя к полемике: острая постановка вопросов, принятые исходные установки, а также (по ходу изложения) отдельные нововведения в теорию и практику аспектологического описания —

все это вызывает интерес вне зависимости от того, принимает или не принимает читающий суждения автора.

Луценко Н. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кондаков Н. И.* Введение в логику. М., 1967, с. 119.
2. *Аксаков К. С.* Опыт русской грамматики. Ч. I. М., 1860, с. 82.
3. *Wierzbicka A.* On the semantics of the verbal aspect in Polish.— In: To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague — Paris, 1967.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В Братиславе (ЧССР) 7—8-го ноября 1983 г. проходило совещание по вопросам преподавания русского языка и литературы в школах Чехословакии. Организаторами совещания, проводившегося под лозунгом «Русский язык — язык мира и дружбы», были чешское и словацкое Министерства просвещения, Научно-исследовательские институты педагогики в Праге и в Братиславе, Центральные институты усовершенствования учителей в Праге и в Братиславе, Ассоциация русистов Словакии и Чешская ассоциация русистов. Совещание открыл и вел заседание в первый день министр просвещения Чешской Социалистической Республики М. Вондрушка.

В работе совещания русистов ЧССР, собравшего более 300 преподавателей русского языка и работников народного образования, приняли участие секретарь ЦК КПЧ Й. Гавлин, член Президиума и секретарь ЦК КПС Л. Пезлар, заведующий отделом ЦК КПС И. Литвай.

Перед конференцией учителей, состоявшейся в 1984 г., важно было иметь ясное представление о состоянии, проблемах и перспективах преподавания русского языка в школах ЧССР, подвести итоги более чем десятилетнего периода борьбы за повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. Это нашло свое воплощение в новой концепции чехословацкой учебно-воспитательной системы, в новых учебных программах и учебниках по всем предметам для всех типов школ Чехословакии.

В своем докладе зам. министра просвещения ССР М. Влацигова отметила, что министерства просвещения братских республик в теснейшем сотрудничестве приняли целый ряд действенных мер, направленных на дальнейшее повышение качества и эффективности обучения русскому языку в школах ЧССР.

Первый этап реализации новой концепции преподавания русского языка способствовал утверждению целого ряда положительных моментов: повысились качество и действенность учебно-воспитательного процесса, еще теснее стала связь обучения с жизнью, значительно возрос интерес к учебному предмету, прочнее стали знания учащейся молодежи. Одновременно раскрылись новые возможности использования имею-

щихся резервов, улучшения качества новых программ, учебников и методических пособий, повышения уровня подготовки будущих учителей русского языка в вузах страны. В деле повышения квалификации учителей, организации школьных и внешкольных форм работы и углубления знаний по русскому языку высокую оценку заслуживает многогранная деятельность сотрудников пражского и братиславского филиалов Института русского языка им. А. С. Пушкина, в Москве, деятельность Союза чехословацко-советской дружбы.

В своей приветственной речи секретарь ЦК КПЧ Й. Гавлин подчеркнул, что преподаватели русского языка принимают активное участие в деле подготовки подрастающего поколения к жизни, трудовой деятельности в социалистическом обществе. Он отметил также исключительное значение русского языка — языка мира и взаимопонимания народов, помогающего воспитывать подлинных патриотов и интернационалистов. Государственная и общественная жизнь СССР, мощные экономические и духовные ресурсы Страны Советов, равно как и международная экономическая интеграция стран-участниц СЭВ, ускорение научно-технического прогресса, развитие литературы, культуры и искусства, последовательная борьба за мир, определяют одновременно место и значение русского языка и его роль в современном мире.

Работу второго дня совещания вел министр просвещения Словацкой Социалистической Республики Ю. Буша. О подготовке студентов-русистов в высших учебных заведениях к решению насущных задач в области преподавания русского языка в основных и средних школах Чехословакии информировал декан Педагогического факультета в г. Нитре М. Сотак. Сотрудница Научно-исследовательского института специальных школ в Праге Я. Каширкова рассказала о проблематике обучения русскому языку в техникумах и профессионально-технических училищах, подчеркнув при этом необходимость уделять большее внимание работе с текстами по специальности и усвоению соответствующей научно-технической профессиональной терминологии. Вопросам более последовательного применения принципа активной коммуникативности в преподавании русского языка в средних учебных заведениях страны посвятила свое выступление сотрудница На-

учно-исследовательского института педагогики в Праге Я. Ладманова. О роли и значении русской классической и советской литературы в обучении русскому языку и о необходимости обеспечения более высокого качества работы при переходе подрастающих поколений из основных школ в средние и далее в вузы говорила методист Красового педагогического института усовершенствования учителей в Банска-Бистрице Е. Колларова.

Вопросам состояния преподавания русского языка в основных и средних школах, обмена опытом работы, роли высококвалифицированной личности самого учителя, рационального применения технических средств обучения, разнообразных форм внеклассной и внешкольной работы преподавателя русского языка посвящали свои выступления Е. Ковачикова (Братислава), Ст. Бoudникова (Прага), М. Благова (Братислава), А. Руснакова (Спишска Нова Вес), М. Жипайова (Кошице), Л. Коскова (Оломоуц) и Э. Янчинова (Братислава).

В выступлениях И. Райноха и

А. Варкарь, сотрудников Центральных институтов усовершенствования учителей в Праге и Братиславе были изложены итоги экспериментальной проверки новых программ и учебников по русскому языку, подготовки учителей к работе по новой концепции. Ретроспективный и перспективный взгляд на деятельность Чехословацкой ассоциации русистов составил основное содержание доклада председателя чехословацкого объединения русистов Й. Влчека. Итоги совещания русистов ЧССР подвел директор Научно-исследовательского института педагогики в Праге Вл. Чара.

Чехословацких русистов ждет ответственная работа по претворению в жизнь планов ускоренного использования достижений науки и исследований в практической деятельности, творческого применения рекомендации V конгресса МАПРЯЛ (Прага, август 1982 г.), а также совещания русистов ЧССР (Братислава, ноябрь 1983 г.), направленных на повышение качества преподавания русского языка.

Павук М. (Братислава)

25—26 января 1983 г. на кафедре математической лингвистики филологического факультета Ленинградского университета состоялся межвузовский симпозиум по проблемам автоматизации научных исследований в области филологии. Кроме представителей высших учебных заведений из разных республик страны, в работе симпозиума приняли участие представители академических учреждений Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина, а также сотрудники библиотек и других научно-исследовательских и культурных учреждений.

Работа симпозиума велась по четырем направлениям: а) общие методологические проблемы автоматизации филологических исследований; б) автоматизация исследований в области исторической лингвистики; в) автоматизация исследований в области лингвистической географии; г) проблемы автоматизации экспериментальных исследований (фонетика, лексикография, стилистика).

Общие методологические проблемы автоматизации филологических исследований обсуждались в докладе А. С. Герда (Ленинград) «Спорные вопросы автоматизации филологических исследований», где дан анализ основных проблем и трудностей в автоматизации НИР в области филологии, носящих, главным образом, организационный и психологический характер. Наиболее актуальной задачей в этой области является проектирование и, главное, практическое отраслевое внедрение целостных автоматизированных словарно-справочных систем вопросно-ответного типа, в перспективе ориентированных на работу в диалоговом режиме. Вопросы инвентаризации лексик рассматривались в докладах

Р. П. Рогожниковой (Ленинград) и Л. В. Чернышовой (Ленинград) «Использование ЭВМ в словарной картотеке» и В. П. Григорьевой, Е. Л. Гинзбурга, Б. В. Сухотиной (Москва) «Лингвистические задачи, связанные с формированием машинного фонда русского языка». На заседании, посвященном автоматизации исследовательских работ в различных областях исторической лингвистики, были представлены доклады, раскрывающие специфику приемов и методов машинной организации экспериментов на материале различных национальных языков. В докладе М. Н. Реммеля (Таллин) «Об опытах формализации исторической лингвистики» сделан обзор работ по формальному описанию исторических законов развития эстонского языка, ведущихся в Институте языка и литературы АН ЭССР, и показано, что применение таких методов описания позволяет не только проверить уже установленные закономерности, но и получить новые, подчас неожиданные результаты.

Необходимо отметить активизацию интереса исследователей к использованию ЭВМ в освоении фондов древнерусских текстов и текстов позднейших периодов. Так, в докладе В. Я. Дерягина (Москва) «Автоматизация работ по исторической лексикологии и лексикографии» были показаны возможности обобщения и систематизации информации для удовлетворения информационных потребностей лексикологов, а также определен круг практических проблем, решение которых необходимо для организации крупномасштабных работ в этой области. О проблемах создания автоматизированного банка данных древнерусских текстов говорилось в докладе С. А. Авериной, Г. Г. Гри-

горьева, Л. В. Зубовой, Е. Л. Кузнецовой, Т. В. Рождественской.

На заседании, посвященном автоматизации научных исследований в области лингвистической географии, были заслушаны и обсуждены доклады, отражающие различные методы подготовки лингвистических данных к картированию, составления лингвистических карт, обработки материалов диалектологических экспедиций и данных, представленных в лингвистических атласах, с помощью ЭВМ. М. А. Бородин (Ленинград) в докладе «О необходимости применения точных методов в лингвистической географии» очертил круг проблем, для решения которых настоятельно необходимо использование вычислительной техники, провела сравнение советских и зарубежных исследований в этой области.

В совместном докладе М. М. Пешак (Киев) и П. Н. Лизанца (Ужгород) «Проблемы составления диалектологических карт» освещался опыт использования ЭВМ для классификации, систематизации и нанесения на карту диалектологических данных при подготовке к изданию Атласа украинских говоров Закарпатья. Е. Л. Кузнецова (Ленинград) в докладе «Применение ЭВМ в лингвистической географии» описала алгоритм сопоставления лингвистических карт, проверенный на материале Лингвистического атласа Франции Ж. Жильерона и Лингвостатистического атласа Гасконии Ж. Сеги. Н. Н. Пшеничнова (Москва) в докладе «О структурной классификации русских говоров вероятностно-статистическим методом» рассказала о возможности использования метода таксономического анализа, применяемого в биологии, для классификации русских говоров с помощью ЭВМ. В докладе С. Е. Никитиной «О возможностях использования автоматических словарей в исследовании языка фольклора» речь шла о трудностях, с которыми сталкивается исследователь фольклора вследствие того, что большое количество текстов разбросано по разным учреждениям и поэтому малодоступно, и о необходимости организации банка фольклорных данных, автоматического словаря тезаурусного типа с регистрацией семантических связей слов.

Выступая в прениях, П. Н. Лизанец отметил трудности, с которыми приходится сталкиваться диалектологам и лингвогеографам при попытках использования вычислительной техники: слабая техническая база, разобщенность исследований, проводимых различными учреждениями и, вследствие этого, неизбежное дублирование работы.

Проблемам автоматизации экспериментально-фонетических исследований были

посвящены доклады Л. В. Бондарко, В. Д. Буторова (Ленинград) «Цифровая обработка речевого сигнала и проблемы автоматизации экспериментально-фонетических исследований» и А. С. Асиновского, С. И. Богданова (Ленинград) «О возможности автоматической обработки лингвистических данных на базе ЭВМ с использованием словаря Д. Уорта». В докладе Л. В. Бондарко и В. Д. Буторова обсуждались вопросы автоматического получения (измерения) фонетических данных, их обработки и анализа в системах автоматического распознавания (понимания) речи.

Проблемы использования ЭВМ в исследованиях по стилистике были рассмотрены в докладе Г. Я. Мартыненко (Ленинград) «Автоматическая классификация как средство описания стилевых тенденций в синхронии и диахронии». Автор высказал идею о целесообразности использования ЭВМ на разных этапах статистической классификации текстов по стилистически релевантным признакам, а также привел результат автоматического классифицирования беллетристики конца XIX — начала XX вв.

Основные направления применения ЭВМ при решении семантических проблем в области лексикографии рассматривались Б. Ю. Городецким (Москва), в докладе которого были сформулированы возможности ЭВМ в области лексической семантики и обсуждены различные пути стимулирования семантических описаний с помощью ЭВМ (отбор и формирование словника, дистрибутивный анализ текстов, построение дефиниций, проверка дефиниций, формирование словарных статей).

Доклад Л. З. Сова (Ленинград) «Имитация одного из процессов исследования текста с помощью ЭВМ» был посвящен проблемам распознавания значений русских предлогов и фиксации смысловых связей в предложных словосочетаниях путем указания на те трансформации, которые могут быть образованы от исходных словосочетаний.

В докладах, представленных на симпозиуме, а также в процессе дискуссии, в которой приняли активное участие В. М. Андриченко (Москва), Л. В. Бондарко (Ленинград), О. В. Творогов (Ленинград), С. С. Волков (Ленинград), П. Н. Лизанец (Ужгород), неоднократно подчеркивалось, что автоматизация филологических НИР нуждается в расширении ее масштабов и объединении усилий специалистов, работающих в различных учреждениях; необходимо также облегчить доступ к результатам выполненных НИР для самых широких кругов филологов.

Марусенко М. А., Роменская В. Ф.
(Ленинград)

По инициативе Института русского языка АН СССР, при поддержке Бюро Отделения литературы и языка АН СССР и помощи Минвуза РСФСР в октябре 1983 г. на базе Северо-Осетинского государственного университета (г. Орджоникидзе) состоялось Всесоюзное координационное совещание «Стили языка и стили речи как явление функционально-стилевой дифференциации».

По актуальным вопросам стилистики выступили сотрудники научно-исследовательских учреждений, преподаватели университетов, педагогических институтов и других учебных заведений почти всех союзных республик.

Оживленную дискуссию вызвали различные аспекты стилевой дифференциации языка: содержание понятий «стиль», «стили языка и стили речи»; взаимоотношения и характер взаимодействия стилей языка и стилей речи; содержание понятий «стилистическая норма» и «стилистическое значение»; композиционно-стилевое своеобразие различных типов текста; закономерности стилистического употребления единиц языка в функциональных разновидностях текста; стилистическое использование средств общения в условиях двуязычия; методический профиль стилистики как учебной дисциплины.

Стиль рассматривали как важнейшую категорию стилистики, соотнося слово «стиль» с понятием о том или ином способе употребления языка. Стиль как манеру организации языковых единиц в «речевом произведении» неизменно связывали с текстом, с характером выделения и обособления одного текста от другого. Текст дает объективное представление о типизированных формах речевой деятельности, в ходе которой объективируются стилистические закономерности употребления языковых единиц.

Отмечалось, что слово «стиль» применяется весьма свободно, нередко бывает так, что стилистически однотипные тексты относят к разным речевым явлениям и обозначают их различно и, наоборот, разнотипные тексты квалифицируются как однородные в той иерархии стилистических понятий, содержание которых не обладает должной определенностью. В научной литературе, в учебных пособиях такие термины, как «функциональный стиль», «стиль языка», «стиль речи», понимаются различно; существует недоговоренность и известный субъективизм при оценке речевого материала, когда обращаются к осмыслению содержательной емкости распространенных в научной и учебной литературе терминов: функциональный стиль языка, функциональный стиль речи, корпус функциональных стилей языка, система речевых стилей и др.

В докладе «Стили языка, стили речи и текст» Б. Н. Головина (Горький) развивался тезис о том, что не следует допускать подмены понятий «речь» — «текст», поскольку речь — это сфера реализации языка, организуемая по его законам и в соответствии с коммуникатив-

ной заданностью выражаемой информации. Нельзя забывать о том, что речь является лишь частью текста и что ей как сфере организации единиц языка свойственны стилистические качества, которые находят своеобразное выражение в форме, в характере значений и функциональной ориентации.

В докладе «О соотношении понятий „стили языка“ и „стили речи“» М. Н. Кожин (Пермь) подчеркивалось, что стилистическое принадлежит к языку и речи. Стилистическая окрашенность единиц языка непосредственно связана с системой языка, стилистическая отягощенность языковых единиц в различных типах речи лишена системности, поскольку в речи имеет место стилистическая систематизация особого рода, определяемая характером употребления языка. Следовательно, функциональные стили как разновидности языка обнаруживаются в речи, в актах употребления они подвергаются дифференциации и конкретизации.

А. К. Панфилов (Москва) в докладе «Еще раз о так называемых „языково-речевых стилях“» развивал положение, согласно которому функциональные стили не могут быть фактом языка и речи, их не следует рассматривать в ряду языково-речевых стилей, более того, они находятся в сложных связях и отношениях со стилями речи. Функциональный стиль языка следует рассматривать как особую подсистему литературного языка, обладающую специфическими межстилевыми средствами. Речевой стиль — это система установившихся способов употребления литературного языка и нелитературных средств общения. Речевые стили можно называть жанрово-ситуативными; в любом функциональном стиле языка есть свой набор жанрово-ситуативных стилей (или стилей речи): стиль передовицы, репортажа, информационной заметки, фельетона в публицистических текстах. Стили речи (жанрово-ситуативные стили) — сфера объективирования функционального стиля.

Недоразумения, неопределенность при стилистической квалификации языкового материала — следствие той ситуации, которая имеет место в научных исследованиях в связи с тем, что нет терминологически упорядоченного справочника по вопросам лингвостилистики. Именно поэтому важно и нужно определить, как полагает Е. Ф. Петрищева (Москва; доклад «Взаимосвязь и соотношение некоторых категорий лингвостилистики»), когда споры о стилях отражают различный подход к явлениям языка, а когда они носят терминологический и схоластический характер. Следует проявить осторожность при употреблении слова «стиль», учитывая при этом своеобразие стиливых явлений, среди которых могут быть «участки», определяемые обстоятельствами общения, а также те языковые компоненты «участков» речи, воздействие которых¹ сказывается на характере стилистического «впечатления», стилистического профиля текста. Различия между типами (видами, разновидностями) речи и типами (жанрами)² речевых произведений

предопределяют своеобразие структуры стилей.

Уделялось должное внимание содержанию таких понятий, как «стилистическое значение, экспрессивность, эмоциональность». По мнению Л. М. Васильева (Уфа), эти понятия следует рассматривать на уровне семантических категорий языка; при этом стилистическое значение — это отношение или отнесенность слова к определенному стилю, что тем или иным образом выражено в характере его стилистической окраски. Экспрессивно-эмоциональные компоненты значения слова связаны с образно-чувственным мышлением, поэтому стилистическое значение и экспрессивно-эмоциональные компоненты значения следует рассматривать как своеобразные типы языковых значений.

Характеристика употребления единиц языка касается различных сторон литературной нормы, особенно ее стилистового аспекта, связанного с понятием «стилистической нормы». По мнению Л. К. Граудиной (Москва), при интерпретации стилистической нормы нельзя не учитывать факторы эволюционного плана, т. е. надо принимать в расчет такие критерии, как соответствие факта употребления системе языка, традиционность литературной нормы, показания речевого узуса (доклад «К проблеме эволюции стилистической нормы»). Кроме того, для объективных суждений о профиле стилистической нормы важны наблюдения над фактами нарушения нормативно-стилистического узуса, обусловленные расширением состава нейтральной лексики, активизацией книжной лексики. Учет этих процессов, отмечает в своем докладе «Стилистическая дифференциация лексики: норма и нарушение стилистики словопотребления» В. Ф. Иванов (Ленинград), позволит дать объективное представление о стилистической дифференциации словарного состава и о соотносительности его пластов с функциональными стилями языка.

Для успешной разработки стилистической проблематики необходимо основательное изучение стилистических возможностей средств общения; в частности, стилистической роли способов словообразования (И. С. Улуханов, Москва), структурных особенностей предложений (И. И. Меньшиков, Днепропетровск) и др.

Известно, что язык художественных произведений — это особая область стилистических исследований. Стилистические аспекты лексики и фразеологии в структуре художественной речи — важный предмет стилистики художественной речи: роль авторских сложений (К. Л. Ряшенцев, Орджоникидзе), новообразований и др. Приобретают первостепенную важность и такие аспекты стилистики художественной речи, как изобразительность синтаксиса (Е. А. Иванчикова, Москва), экспрессивные возможности разговорной речи (например, явления функционально-стилевой имитации разговорной речи) (Т. Г. Винокур, Москва) и др.

В выступлениях участников совещания подчеркивалась важность дальнейшего повышения уровня научно-исследовательской работы в области стилистики как научной дисциплины, повышения уровня преподавания стилистики как учебной дисциплины.

В рекомендациях Всесоюзного координационного совещания признано необходимым обратиться в Минвуз СССР и Минвуз РСФСР с предложением о необходимости включения стилистики в качестве полноценной дисциплины в учебные планы университетов, а также выделения лабораторных занятий по стилистике для студентов педагогических институтов. Кроме того, указывалось на то, что учебно-педагогические издательства и научно-методические журналы не используют в должной мере возможности для публикации учебных пособий, методических разработок, которые необходимы студентам и преподавателям средней школы.

Были высказаны предложения о целесообразности публикации обзоров, тематических сборников по стилистике в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР и Институте русского языка АН СССР как головном научном учреждении по русистике.

Выражено пожелание о необходимости расширения творческих контактов между языковедами, литературоведами, преподавателями высшей школы в плане дальнейшего развертывания координации по различным аспектам стилистики как научной и учебной дисциплины.

Кожин А. Н. (Москва)

C O N T E N T S

Articles: D e n i s o v P. N. (Moscow). «The dictionary of V. I. Lenin's language» as a new type of dictionary; B o n d a r k o A. V. (Leningrad). On the correlation of linguistic system and environment; K r a u s I. (Prague). Linguistic situation in the countries of developed socialism and problems of speech culture; **Discussions:** B o g o l' u b o v M. N. (Leningrad). Khwarezmian Calendar glosses in the «Chronology» of Bīrūnī; A d r a d o s F. (Madrid). The Indo-European, the Slavonic, the Bulgarian (typological notes); B a s k a k o v N. A. (Moscow). Parts of speech and their functional forms in the Turkic languages; S p i v a k D. L. (Leningrad). Linguistics of altered states of consciousness: problems and perspectives; S a g i r o v A. K. (Moscow), D z i d z a r i a O. P. (Sukhumi). On the problem of Indo-Aryan (Proto-Indian) lexical loans in the North-Caucasian languages; A d m o n i V. G. (Leningrad). Grammar and text; **Materials and notes:** M i x a j l o v s k a j a N. G. (Moscow). Lexical elements from languages of the peoples of the USSR in the explanatory dictionaries of Russian; B o n d a r č u k N. S., K u z n e c o v a R. D. (Kalinin). «The dictionary of the Russian language of the XI—XVII centuries» and its importance for the study of the history of the Russian language; N g u y e n Q u a n g H o n g (Socialist Republic of Vietnam). The general principle and different conceptions of the definition of fundamental language units; L a š k a r b e k o v B. B. (Dushanbe). Evolution of the system of Vakhnian verb (three stages of linguistic development); V o r k a č e v S. G. (Krasnodar). On some modal operators (the meaning of indifference in Spanish); **Reviews; Scientific life.**

S O M M A I R E

Articles: D e n i s o v P. N. (Moscou). Le dictionnaire de la langue de V. I. Lénine en tant que type nouveau de dictionnaire; B o n d a r k o A. V. (Léningrad). Rapports entre le système et l'ambiance (interprétation linguistique); K r a u s I. (Prague). Situation linguistique dans les pays du socialisme développé et problèmes de culture de la langue; **Discussions:** B o g o l' u b o v M. N. (Léningrad). Gloses khwarezmiennes dans le calendrier de «Chronologie» de Bīrūnī; A d r a d o s F. (Madrid). L'indoeuropéen, le slave, le bulgare; B a s k a k o v N. A. (Moscou). Parties du discours et leurs formes fonctionnelles dans les langues turques; S p i v a k D. L. (Léningrad). Étude linguistique de l'inconscience artificielle: problèmes et perspectives; S a g i r o v A. K. (Moscou), D z i d z a r i a O. P. (Sukhumi). Sur le problème des emprunts lexiques indo-aryens (proto-indiens) dans les langues caucasiennes septentrionales; A d m o n i V. G. (Léningrad). Grammaire et texte; **Matériel et notices:** M i x a j l o v s k a j a N. G. (Moscou). Eléments lexicaux des langues des peuples de l'URSS dans les dictionnaires raisonnés du russe contemporain; B o n d a r č u k N. S., K u z n e c o v a R. D. (Kalinin). «Dictionnaire de la langue russe des siècles XI—XVII» et son importance pour l'étude de l'histoire de la langue russe; N g u y e n Q u a n g H o n g (République Socialiste de Vietnam). Principe général et conceptions différentes de la définition des unités fondamentales de la langue; L a š k a r b e k o v B. B. (Duchanbe). L'évolution du système du verbe vakhnian (trois étapes du développement linguistique); V o r k a č e v S. G. (Krasnodar). Contribution à l'étude des opérateurs (modaux la signification de l'indifférence en espagnol); **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.10.84	Подписано к печати 08.01.85	Т-02701	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 12,6	Усл. кр.-отт. 74,3 тыс.	Уч.-изд. л. 15,2
	Тираж 5818 экз.	Зак. 710	Бум. л. 4,5

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Неприятные рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, которая является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.